



# ЮНОСТЬ

3

1964

3

МАРТ  
1964

*Наша партия всегда стояла за партийность в литературе и в искусстве. Она приветствует всех — и старых, и молодых деятелей литературы и искусства, партийных и непартийных, но твердо стоящих на позициях коммунистической идейности в вопросах художественного творчества. Они — опора партии, ее верные солдаты.*

**Н. С. ХРУЩЕВ**

Из речи на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года.

# ЮНОСТЬ

ГОД ИЗДАНИЯ ДЕСЯТЫЙ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

# Оглядываясь на прожитый год...

**В** нашей стране литература и искусство стали подлинно всенародным делом. Хороший роман, талантливое полотно, вдохновенная скульптура, яркий спектакль или фильм сразу же оказываются в центре общественного внимания. Поэтические вечера у нас можно устраивать не только в клубах и театрах, но и в грандиозных спортивных залах — при этом с гарантией, что ни одно из кресел не будет пустовать. У нас самые высокие тиражи книг и всегда тесно в музеях и картинных галереях. По пути на работу и с работы — в автобусах, в трамвае, в вагонах метро и пригородных электричках — в тесноте и в толкотне сидят люди, уткнувшись в книгу, и порою проезжают свои остановки, увлеченные стихами или повестями.

Коммунистическая партия и Советское правительство повседневно заботятся о приумножении духовных ценностей, столь необходимых нашему народу, строящему коммунизм. Встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, происшедшая год назад и являющаяся продолжением хороших традиций, установившихся в последнее десятилетие, — лучшее тому доказательство. Она, эта встреча, стала знаменательной вехой в истории советской культуры, вновь и вновь привлекая внимание к главным, основополагающим принципам нашей литературы и искусства — принципам их партийности и народности.

Сейчас, год спустя, каждый мастер советской культуры, каждый романист, поэт, драматург, каждый живописец, скульптор, музыкант не может не спросить себя:

— А что я сделала за этот год? Чем ответила Коммунистической партии на ее призыв создавать произведения высокой идейности и покоряющей художественной силы?

Оглядываясь на прожитый год, мы можем, не вдаваясь в преувеличение, сказать, что для литературы и искусства он был годом творческого взлета. Появилось немало новых талантливых вещей и в литературе, и в кино, и в музыке, и во всех областях художественного творчества.

Выразителем был этот рост и в молодой литературе. Страна узнала новые имена молодых писателей, сразу же привлекая к себе внимание. Среди них можно назвать Анатолия Апаньева — автора романа «Тапки идут ромбом», Владимира Орлова, написавшего роман «Соленый арбуз», Ярослава Голованова, дебютировавшего с повестью «Кузнецы грома»,

молодого казачьего писателя Алексея Балакаева, выступившего с лирической повестью «Три рисунка», таджика Юсуфа Акиброва, повесть которого «Когда остановилась мельница» была тепло встречена на IV Всесоюзном совещании молодых писателей и после этого впервые была напечатана на русском языке, так же как и повесть молодого латышского рыбака Эгона Лява «Капитан Нуаль». Читатели узнали москвича Андрея Марголина с его повестью о строителях, украинца Константина Басенко, краснодарца Юрия Абдашева и многих, многих других. Это люди очень разных дарований, друг на друга не похожие: у каждого из них свой почерк, каждый рассказывает о своих героях, о волнующих его проблемах. Но всех их объединяет стремление показать в своих произведениях наших современников, активных строителей коммунистического общества, людей, наделенных чертами, которых предвещающие общественные формации не знали. И в этом — общее у молодых писателей, вступивших на литературную дорогу за последний год.

Среди молодых литераторов, чьи имена впервые появились в литературных журналах и на обложках книг, можно встретить людей самых разных профессий. Об одном из них, поэте Владиславе Белкине, хочется сказать немного подробнее. Его стихи впервые появились в журнале «Юность» № 6 за 1963 год. Они сразу заинтересовали читателей своей свежестью, острым духом современности. Это настоящий советский парень середины шестидесятых годов. Человек с высшим образованием, он своими руками строит в самом молодом в стране городе Дзигворске школу-интернат, в которой сам собирается стать преподавателем литературы. А пока он каменщик. Он кладет стены и пишет стихи. Хорошие, сердечные стихи. О себе Владислав Белкин рассказывает так:

Кем я был?  
Сынполюсом.  
Ел картошку «в музидир»,  
Я к союзникам рвался.  
А паятел от Шекспира.  
Я в рабочей рубашке  
Выходил на перрон.  
Я в эпоху врубался  
Топором и пером...

И сколько таких молодых литераторов, «врубавшихся в эпоху топором и пером», узнали читатели за этот год, прошедший со дня добрых собеседований в Кремле!

Характерно, что силы, пришедшие в искусство из самой гущи нашей жизни, отражают в своем творчестве расщеп личности во всех ее индивидуальных чертах. Да-да! Идя путем социалистического реализма, продолженными деятелями культуры старших поколений, молодые прозаики, поэты, очеркисты, публицисты входят в литературу со своим неповторимым звонким голосом, со своей творческой индивидуальностью. Читатели «Юности» могут судить об этом, сравнивая хотя бы суровый и мужественный роман Юрия Пиляра «Люди остаются людьми» с романтической, можно даже сказать, лирической, книгой Владимира Ордова «Соленый арбуз», рассказывающей о жизни тех советских юношей и девушек, что идут в тайгу и в тундру во всеоружии советской техники, или с короткой, стремительной повестью Ярослава Голованова «Кузнецы грома», где автор впервые открыл перед читателями мир, в котором живут и трудятся строители космических кораблей.

Сравните эти три такие разные книги. Разные подерки. Разные голоса. Разные проблемы. Разное видение жизни. Но это — наше, советское, социалистическое видение жизни. Это — наше, коммунистическое мировоззрение. Это рассказы о людях в наступлении, о становлении их характера.

Минувший год был годом плодотворной работы и для большого отряда поэтов, в том числе печатающихся в нашем журнале. Роберт Рождественский опубликовал в 1963 году на страницах «Юности» поэму «Письмо в тридцатый век», поэму, представляющую страстный разговор с потомками о нашем героическом времени, философско-поэтическое раздумье о путях века. Андрей Вознесенский начал в журнале «Знамя» поэму «Ложному» и много новых стихотворений. С интересными стихами выступили Евгений Винокуров, Фазиль Искандер, Рымма Казакова, Виталий Коржилов и другие. Белла Ахмадулина опубликовала в 1964 году, в первом номере «Юности», поэму «Моя родословная», а Евгений Евтушенко выступила с большим циклом стихов в «Юности» и журнале «Москва»; сейчас он заканчивает для нашего журнала поэму о строителях Братска, о новом «покорении Сибири» советскими людьми.

Партия осудила дженатовство, возникающее из логики за буржуазной модой, из неверного представления о возможности мирного сосуществования буржуазной и коммунистической идеологий, формализм и абстракционизм с социалистическим реализмом. Социалистический реализм открывает широкий простор для истинного новаторства, источник которого — жизнь народа, строящего коммунизм.

Несомненно, что каждое молодое поколение несет с собой нечто новое и вносит это новое в жизнь, литературу и искусство. В этом, если угодно, один из важных законов развития жизни, развития литературы.

В постоянном изменении, совершенствовании — творческая сила человека, будущее человечества. Дерево, которое перестает расти, давать новые побеги, сохнет, чахнет, гибнет.

«Нашему народу нужно боевое революционное искусство. Советская литература и искусство призваны воссоздать в ярких художественных образах великое и героическое время строительства коммунизма, правдиво отобразить утверждение и победу новых, ком-

мунистических отношений в нашей жизни. Художник должен уметь увидеть положительное, радоваться этому положительному, составляющему существо нашей действительности, поддерживать его и в то же время, разумеется, не проходить мимо отрицательных явлений, мимо всего того, что мешает рождению нового в жизни».

Эта двудецидная формула, провозглашенная Н. С. Хрущевым, дошла до сердца молодых литераторов и вызвала ответный отзыв. Да, всей душой они радуются нашим историческим успехам. Они стремятся в полную меру своего таланта воссоздать наше великое, героическое время. Но они понимают — и правильно понимают, — что по-настоящему становление нового можно показать лишь в его борьбе со старым, с остатками проклятого прошлого. Без разгрома старого нельзя построить новое, ибо это старое тащит нас назад, как тащат нас назад еще сохранившиеся в сознании некоторых людей пережитки культа личности, разоблаченного партия.

Повысилась ответственность молодых писателей перед народом, равно как сильно выросла и требованность наших молодых читателей. Об этом, в частности, свидетельствуют те конференции и творческие беседы, которые провела редакция «Юности» со своими читателями в Ленинграде, Москве и других городах страны, готовясь к годовщине исторической встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства.

Мы, конечно, понимаем, что успехи молодых писателей в минувшем году — это только первые шаги на пути к решению больших задач, выдвинутых руководителями партии и правительства перед художественной интеллигенцией. Наша героическая действительность еще в очень малой степени отражена в литературе. Юноши и девушки еще ждут от писателей Корчагиных наших дней. Но уже можно не сомневаться, что не за горами время, когда молодежь получит долгожданные книги, в которых будут жить, любить, бороться такие же замечательные ребята, как Павел Корчагин, такие же чистые и героические натуры, как молодотвардейцы.

Вдохновенного пера наших молодых писателей ждут такие чудесные парни, как архитектор Володя Корнилов, чьи письма были опубликованы в № 8 «Юности» за 1963 год. Человек большого сердца, убежденный в правоте нашего великого дела, веселый, добрый, самоотверженный, он мог бы стать таким же властелином дум нашей молодежи, каким до сих пор является Павел Корчагин, если бы стал талантливым писателем, который так же проникновенно написал бы о Володе, как писал в свое время Николай Островский о своем современнике и о своем времени.

Разумеется, год не такой уж большой отрезок времени для создания новых романов, повестей, поэм. Многие литераторы, взявшиеся за воплощение широких и глубоких тем современности, еще продолжают работать над начатыми книгами. И можно не сомневаться, что в недалеком будущем читатели получат новые яркие, увлекательные произведения, повествующие о жизни и борьбе народа за светлое будущее, произведения, где будут действовать такие герои, которые действительно смогут стать примером для поколений нашей советской молодежи.





# К а й с ы н К у л и е в

## Мои предки

Горец, кинжал не носил я  
бесценный,  
Сабан старинной не брал я в бон.  
Но не судите меня за измену,  
Предки мои,  
Предки мои!  
Я не пою, а пишу на бумаге,  
Мерю пальто городского сукна,  
Но без терпенья, без вашей отваги  
Грош мне цена,  
Грош мне цена!  
Я на своих опираюсь предтечей.  
Так, зажимая рану свою,  
Вы опирались друг другу на плечи  
В смертном бою,  
В смертном бою!  
Я удивляюсь величию и силе  
Песен, звучавших в минувшие дни,  
Предок мой, прадед мой, нас  
породили

Горы одни,  
Горы одни!  
Вспыхнет весенняя молния где-то.  
Сплю я, и кажется мне иногда:  
Вместе мы скачем, и с наших  
бешметов  
Льется вода,  
Льется вода!  
Видел я много невиданных вами  
Стран и народов, неведомых вам,  
Но, возвратясь,  
Припадал я губами  
К отчим камням,  
К отчим камням!  
Горец, кинжал не носил я  
бесценный,  
Сабан старинной не брал я в бон.  
Но не судите меня за измену,  
Предки мои,  
Предки мои!



Кто может выгоде в утуду  
Кричать о том, что ворон бел,  
Тот не поэт  
и не был сроду  
Поэтом, как бы он ни пел.  
И тот, кто говорит друг друга  
Что плох хороший человек,

Пусть даже не подходит близко  
К святой поэзии повея.  
За правду голову сложить  
Дано не каждому,  
но все же  
Героем может он не быть,  
Но быть лжецом поэт не может.



Ты помнишь лето? Лес, трава  
кругом,  
И пятна крови нашей или вражеской.  
С тех пор мне росы на лугу лесном  
В закатном блеске алой кровью  
кажутся.  
Мне и зима запомнилась навек,  
Осевший снег в начале марта  
месяца.  
С тех пор, когда я вижу талый снег,  
Мне пятна крови на снегу мерещатся.  
Мы были крепки, каждый, как скала.  
Мы кладь несли, не чувствуя  
усталости,

И та беда, что где-то нас ждала,  
Являла облик смерти, а не старости.  
Не виделась нам старость впереди.  
А нынче, еду ль, за столом сижу ли я,  
Все чаще руку подношу к груди,  
Каким-то чудом не задетой пулею.  
Все чаще, наяву или во сне,  
Те мальчики, не ставшие мужчинами,  
В бинтах сырых являются ко мне,  
И лица их не тронуты морщинами.  
Мне видится огонь, и облака,  
И пулеметчики, и пулеметчицы,  
И степь, где скачет конь без седока,  
И повод по земле за ним волочится.



Чужой бедою жить не все умеют,  
Голодных сытые не разумеют.  
Тобою, жизнью, балован я и питан,  
И впредь со мною делай что угодно,

Корми, как хочешь, но не делай  
сытым,  
Глухим, не понимающим голодных.  
Перевел Н. ГРЕБНЕВ



## Вступление в Сибирь

А я живой оленьей крови  
Из теплой раны не пила;  
В хантейском чуме не жила,  
И не ронял мне бор кедровый  
На белый снег своих стволов.  
Дышу обскими я ветрами,  
Туманно грежу осетрами  
Я, ленинградский рыболов,  
Я, ленинградский воробей,  
От золотых высотных шпильей,  
Мелькая золотом поскрылий,  
Лечу над Родиной моей...  
О сколько снега и тепла  
Я приняла уже на крылья!

В Сургуте-городе жила,  
На буровую приходила,  
Где нефть искали — и нашли,  
Где вышка в облаках и громе,  
Как будто на ракетодроме,  
Но здесь полеты — в глубь земли!  
На буровой, на буровой  
Качают кедры головой,  
И вахты, как на корабле,  
Сменяются в морозной мгле...  
И пусть остался Ленинград  
В моей судьбе моей святыней,  
Сибирь — душа моя отныне,  
Рассвет, и полдень, и закат.



## Художникам города Тобольска

Земли сибирская краса  
Сама художника находит:  
Зеленым светят небеса,  
Лилловый дым из труб восходит,  
И режут землю тягачи...

Так вот откуда краски взяты!  
Такие синие грачи,  
Такие красные закаты!

А за тобольскою стеной  
В церковных сводах поседелых  
Художник грешный и земной  
Свинарок пишет белотелых:  
Цветных, оранжевых, босых,  
Мужей их синие рубахи,

Сильны и тяжки руки их,  
Глаза прозрачны, словно птахы  
В просторном небе,— и зоря,  
Как знамя, висится над ними...  
Художник в роли звоняра  
Бунтует красками своими!

Себя в кольчуге Ермака  
Напишет, в кованой и ржавой...  
Да будь твоя дорога славой —  
Я ворожу издалика, —  
Да женщина тебя люби,  
Целуй ступни твои босые...  
О, сколько чуда по России  
В болотной впадине Оби!

✱

Елочку занидевелую,  
Ханта с нартами в пути  
Вырезают фары белые,  
Точно резчик по кости.

А погода вновь илетная.  
Я хожу по Иртышу,  
Как хантейка безоленная,  
И буранами дышу.

Ах, пускай меня возьмет  
Твой летучий вертолет!

Мы же птицы,  
нам — в полет,  
Кареглазый мой пилот...

Обжигает, словно порох,  
Щеку синяя слеза.  
Ты на кругленьких приборах  
Отыщи мои глаза,

Пусть они по небу светятся,  
Как ракеты из ракетницы...

*Handwritten signature*

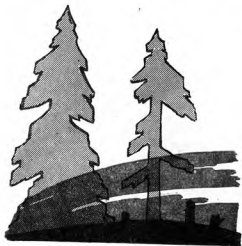
Роман

Юрий ПИЛЯР



Рисунки И. Гринштейна.

# ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ



В первой книге романа, напечатанной в №№ 6, 7 и 8 «Юности» за 1963 год, рассказывалось о том, как семнадцатилетний паренек, вчерашний школьник, ушел в декабре 1941 года добровольцем на фронт и в боях, в суровых буднях войны постигал непростое солдатское дело. Пареньку не повезло: соединение, в котором он служил, попало в окружение, прорваться не удалось; выполняя приказ, он с товарищами пытался «просочиться», но ночью налетел на засаду и, контуженный, был взят в плен.

Тяжелые испытания выпадают на долю героя книги и его товарищей по беде. Голод, зверства фашистских охранников и предателей-полицаяв, сыпной тиф. Потом неудачный побег, гестаповская тюрьма и, как венец испытаний, — Маутхаузен с его газовой камерой, пытками, массовыми убийствами.

Не раз перед героем романа встает вопрос: может ли человек выдержать все это и не сломаться, не пасть до уровня животного? Оказалось, может. Если он любит Родину, если он сохраняет верность интернациональному человеческому братству, если он не отступает от своих убеждений и продолжает борьбу, — может! И лишь тогда он остается человеком.

Первая книга романа завершается эпизодом вооруженного восстания политзаключенных Маутхаузена. Отбив контратаки эсэсовцев, люди ждут подхода союзных войск и желанного возвращения домой.

Двадцатый век. Вроде бы по дорогам.  
Среди пожаров, и мысли привело:  
Легко быть зверем, и легко быть богом.  
Быть человеком — это тяжело.

Евгений ВИНУКОВ

## ЧИСТИЛИЩЕ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Я иду по невысокому зеленому берегу. Сумасшедший ветер бьет мне в лицо и едва не валит с ног. Справа — бурые волны Дуная, слева — пыльная мгла, несущаяся над дорогой. А еще с полчаса назад сияло солнце и в прозрачной, легкой дымке синели Альпы. Теперь их не видно.

Я иду с задания. Кажется, с последнего. Завтра заканчивается наш многодневный марш по ничейной австрийской земле: бывшие узники Маутхаузена, военнопленные солдаты и офицеры, мы возвращаемся к своим.

Заребаю ветер руками. Пригибаюсь чуть не до земли. Не пускает ветер, черт бы его побрал, парусом надувает лиджак, тащит обратно. Дунай совсем потемнел и местами почернел — свинцово-серой, мурый, словно рассерженный. Пригибаюсь еще ниже — резкий треск впереди останавливает меня. Я вижу, как, сломавшись у основания и чуть перекрутившись, рушится дерево. Ломаются, врезаются в землю, сучья. Ветер гонит навстречу мне струи шелковой листвы на уцелевших тонких ветвях. Они точно простерты руки.

Дерево, еще не старый тополь, лежит поперек моего пути — в ветре, в брызгах реки, под внезапно помрачневшим и будто опустившимся небом.

Я переступаю через расщепленный ствол упавшего дерева и, снова подставив лицо ветру и размахивая руками, как пловец, иду дальше.

Мы размещаемся в чистеньком двухэтажном доме неподалеку от ратуши. Осна первого этажа на фасаде закрыты ставнями, во дворе зашторены. На первом этаже была бакалейная лавочка, от нее весь дом пропах корицей. Лавочка сообщается, как тут заведено, с нижними жилыми комнатами и кухней. Их сейчас занимает семья хозяина. Нам предоставлен верхний этаж.

Валерий Захаров сидит у окна, пощипывает струны гитары и шутливо-меланхолически напевает:

Сегодня вместе с вами я, цыгане,  
А завтра нет меня, я ухожу от вас.  
Не вспоминайте меня, цыгане,  
Прощай, мой табор, пою я последний раз.

Напротив, в кресле, — Порогов. Он курит сигарету, уголки его губ время от времени насмешливо подрагивают, словно собирается сказать что-то смешное и все не соберется. Иван Михеевич бродит по комнате, трогает разные ненашенские вещи и покачивает головой. Я лежу, задрал ноги на деревянную спинку широкой кровати: отдыхаю после задания и жду ужина.

— Послушайте, цыгане, — наконец говорит Порогов. — Где бы нам достать несколько пар обмунди-

рования? Хотя бы несколько пар. А то на что похоже: фуражка немецкая, костюм австрийский, башмаки не то французские, не то польские. Пожалуй, еще откажутся от нас таких.

Валерий немедленно подхватывает на известный мотив:

Мундир французский, костюм австрийский,  
А нос-то русский, тра-ля-ля.

— Нет, в самом деле, — говорит Порогов. — Вот вы попробуйте представить себя на месте тех, кто будет нас принимать. Вот представьте: солдат возвращается из неволи, да еще не простой солдат, а офицер, к тому же ведущий за собой других. Если он в своей форме, то с ним надо и обращаться по форме — верно? Тогда он может и доложить, как положено, и командовать своему войску... церемониальный шаг или что там еще потребуется от нас на застращенном параде...

Порогов чуть улыбается, но говорит по своему обыкновению неторопливо, нетронко — с достоинством.

— А что, и впрямь нас, этих-то цыган, не примут? — с лукавой обеспокоенностью говорит вдруг Иван Михеевич. — Идите, скажут, откуда пришли, и без вас хлопот предостаточно. Куда ж нам тогда, бедным?

— Да, куда же нам, братцы! — Валерий, усмехаясь, кладет ладони на струны. — Сплоховали мы, сплоховали! Надо бы еще месяц назад подать заявление Циряйсу или Бахмайеру: мол, ввиду предстоящего возвращения домой просим вернуть наших гимнастерки и сапоги...

— А заодно и личные дела с перечнем наших преступлений против Гитлера, — добавляет Иван Михеевич с озоровато блеснувшими глазами. — Топорик бы теперь тот, с биркой, которым я в сорок втором, находясь в бегах, зарубил полицию. — Он быстро поворачивается к Порогову: — Нет уж, дорогой товарищ Андришо, что до меня, то я еще напялю тирольскую шляпу с пером и короткие кожаные штаны — видал у хозяина? — я непременно реви-зирую их. В таком виде и буду докладывать: майор Копейкин после трехлетнего пребывания в санатории Маутхаузен... для дальнейшего прохождения службы.

У Порогова опять иронически дергаются уголки рта, но он не успевает ответить. Валерий проводит по струнам и вновь томно полуприкрывает глаза.

Довольно мне в разлуке быть.  
Что в новой жизни ждет меня, не знаю,  
О прошлом нечего тужить...

Они, конечно, шутят, они радуются, но и тревожатся немного, я чувствую.

А почему тревожатся? Может быть, все дело в том генерале, который незадолго до нашего ухода из Маутхаузена, уже занятого американцами, произнес перед нами не совсем удачную речь? Генерал

страстно призвал нас вернуться на Родину. Было очевидно, что он ничего не знает о тяжелой борьбе советских людей в фашистских концлагерях — о борьбе, цель которой состояла именно в том, чтобы помочь своему народу победить врага и вернуться домой... Но пусть на Родине пока ничего не знают о нашей борьбе за колечей проволокой. Мы возвращаемся к своим, к себе — вот что главное! И единственное, что может печалить, — это близкая разлука с друзьями. Я предполагаю, что нам скоро придется расстаться...

В отворенную настежь дверь входит, пытаясь, повар Ефрем.

— Товарищи начальники, все готово, — объявляет он. — Стол накрыт, бутылки откупорены. Прошу!

Мы встаем и отправляемся в соседнюю комнату на прощальный товарищеский ужин.

## 2

Такого роскошного стола я еще не видывал. Белая накрахмаленная скатерть, накрахмаленные салфетки, цветы, сверкающие бокалы. И самое основное: разукрасенные аллитивные горки нашего русского салата — с яйцом, с мясом, со сметаной; открытые, с отогнутыми краями банки консервов, белый хлеб, сыр, ветчина; наконец, высокие темные бутылки с холодным терпким, сухим австрийским вином... Замирает дух, леденеет сердце! Ай да Ефрем, ай да гвардии сержант!

Сопровождающий нашу колонну майор Манин, упомолоченный по репатриации, переглядывается с Пороговым. Тот смотрит на Ивана Михеевича, Иван Михеевич — на Валерия, Валерий несколько подозрительно — на Жору Архарова. Затем все безмолвно усаживаются на Ефрема: это же невероятно — соорудить такой стол всего на десятый день после окончания войны!

Ефрем от волнения потеет, на его круглом лице гордость, и радостное смущение, и некоторое беспокойство — целая гамма разнообразных чувств. Он шумно вбирает в себя воздух, обводит царственным взглядом стол и кидается поправлять загнутый уголок скатерти.

— Потрясающе! — говорит Манин.

— Без товарища Архарова не сумел бы, — продолжает нужным скромно заметить Ефрем. — Он обеспечивал провиантом. Скатерть и приборы — хозяйские, цветы тоже. Я только сервировал, ну, и, понятно, готовил.

— Крепко, крепко, — говорит Порогов.

Жора тихонько хихикает, чрезвычайно довольный. Я подозреваю, что, будучи нашим напарником, он вывез из прежних эсэсовских складов Маутхаузена по меньшей мере половину наличных запасов продовольствия да еще, вероятно, прихватил кое-что у американцев.

— У союзничков-то колбасы-комса? — спрашиваю вполголоса у Жору.

— Организируют! — шепчет он. — Молчи!

— Ну так давайте за стол. Товарищ Манин, Митрофан Алексеевич, девушки, Саша, пожалуйста! — приглашает Порогов.

Садимся. Очень торжественно. Девушки от меня справа, за ними Валерий и Иван Михеевич. Слева рядом со мной Жора, потом Быковский. Напротив, по другую сторону стола, — товарищи из лагерного лазарета: доктор Григорьевский, художник Логвинов; дальше — Алексей Костылин, полковник Шаншеев и другие руководители и активисты маутхаузенского

подполья. Очень торжественно и как-то по-хорошему строго — светло и строго. Все умолкает. Порогов поднимается с бокалом в руке.

— Выпьемте, други, прежде всего за Родину. За страну, вырастившую и воспитавшую нас, за страну, с именем которой мы вступили в бой в сорок первом, во имя которой боролись в лагерях а продолжение всех этих черных лет фашистской неволи... За Родину!

Во возмолванном молчании сдвигаются бокалы. Бокалы ставятся на стол уже пустые. Еще минуты две молчания. Затем снова булькает из горлышек вино. Поднимается полковник Шаншеев и предлагает помянуть погибших. Пьем за светлую память наших товарищей, убитых пулями и осколками, задушенных в газовых камерах, повешенных, растерзанных фашистскими овчарками. Шаншеев садится последним — высокий, изможденный старый солдат.

...Какой-то провал во времени. Легкий звон вокруг или он во мне? Постукивают ножи и вилки. Мир заметно сужается, теплеет.

— За счастливое возвращение домой. За жизнь, ребята! — восклицает Валерий и протягивает руку с полным золотистым бокалом на середину стола.

— За мирную жизнь! — говорит Иван Михеевич, чокаясь с Валерием.

И я чокаюсь с Валерием и Иваном Михеевичем, и с Жорой, и с девушками поочередно.

— Ты закусывай, закусувай, ешь! — заботливо настаивает меня Жора.

«Не останавливайся, не останавливайся!» — отчетливо слышится мне его голос издалека.

Я поднимаю голову и смотрю на лица товарищей. Неужели это те лица, те самые, что недавно были темными лицами обреченных на смерть людей?

Передо мной встает лицо Валерия — накануне того, как расстреляли Самойлова: я вижу лишь черные впадины глаз и окаменевшие скулы — сейчас он улыбается, Валерий... И Иван Михеевич улыбается, а как разрезе сверкали его глаза в то морозное февральское утро, когда стало известно о казни генерала Карбышева!.. Алексей Костылин улыбается, Шаншеев улыбается, улыбаются ожившиеся девушки.

За мирную жизнь, думаю я. А что знаю я об этой жизни? Я знаю о мирной человеческой жизни ровно столько, сколько знал в семнадцать лет, до того, как ушел на войну... Но, может быть, это и хорошо и так еще интересней?

В руках у Валерия опять гитара. У него синие-пресиние, с веселыми искорками глаза... Да, вот что я теперь знаю: чем бы человек ни казался в этой обыкновенной мирной жизни: храбрцом или, наоборот, трусом, великодушным, добрым или жадным, — он в действительности таков, каким будет в минуту опасности.

Валерий поет, и голос у него сейчас совсем другой — звонкий и задорный, и глаза задорные, и в них еще что-то есть, чего раньше не было; он смотрит на девушек и поет:

На переднем Стенька Разин,  
Обнявшись, сидит с нянкой,  
Свадьбу новую справляет,  
Сам веселый и хмельной.

Иван Михеевич стремительно поворачивается, его лицо вспыхивает молодым светом, он подбочивается и таким петушком наступает на Валерия:

Что ты, что ты, что ты, что ты.  
Я солдат двадцатой роты!  
Тридцать первого полка!  
Памцадрина ламцаца!

И уже весь стол подхватывает и гремит:

Соловей, соловей, пташечка.  
Капяречка жалобно поет.  
Эх, раз поет, два поет, третий раз подумает.  
Капяречка жалобно поет.

И вновь заводит Валерий про Стеньку Разина: задорно, с тем непонятным и непривычным, что полагается у него, когда он смотрит на девушек, и чего прежде не было.

Я тоже гляжу на девушек. Для меня они — это в сущности совершенно новый мир. Возле них — чувствую — я как-то теряюсь, исчезаю куда-то, и тем сильнее этот неведомый мир тянет меня к себе.

...Одну из них зовут Надей, другую — Олей. Надя чернышкая, она очень нравится мне; я немного знаком с ней, она возглавляет группу девушек, идущих в нашей колонне. И как раз потому, что она мне очень нравится, я ощущаю дурацкую скованность и никак не могу заговорить с ней. Я решаю вначале чуть-чуть поухаживать за Олей. Ну, почему бы теперь мне тоже не поухаживать?

Порогов рассказывает анекдот. Что-то смешное про ветер и солнце. А потом предлагает выпить за хорошее отношение к женщинам — так получается из анекдота. Все хохочут, и я, хотя, откровенно, я не совсем уловил, в чем его соль.

— За хорошие отношения! — говорю я Оле, поднимая бокал.

Она, улыбаясь, загадочно взглядывает на меня и берется за тоненькую ножку своего бокала. Я выпиваю залпом, Оля — маленькими глотками.

— А что, если нам пойти погулять? — отважнись, спрашиваю я.

Она, помедлив, кивает. Когда Валерий с гитарой перебирается к окну, мы с Олей выходим из комнаты.

### 3

Звезды крупные, белые, таинственно мерцающие. Темные купы деревьев, темные острокоричневые дома, тупые улочки. Прострелотал кузнечик и смолк, будто напуганный. Воздух неподвижный, теплый; пахнет скверно.

Мы о чем-то разговариваем — о незначительном, так, чтобы не молчать. И чувствуем: мы во власти чего-то глубокого, радостного, что в нас и чему я не знаю названия. Может, это и есть ощущение полной свободы!

Какие-то шорохи, невнятные вздохи, какой-то шепот. Силуэты повозок. Сонное бормотание людей, устроившихся на ночь на открытом воздухе. Великая бездомность народов, как кто-то назвал войну, но ведь войны уже нет!

Постукивают по тротуару шаги. Это мои шаги, они подлиннее и пореже. А Олины — постукивают отделиннее, чаще и короче. Мы куда-то идем, я — один мир, она — другой. Мы идем рядом. Нам непривычно, чуть неловко, но нам и хорошо, потому что мы знаем: не должно быть двух таких миров, а должно быть один. Мы хотим, чтобы был один мир, затем и идем. Правда, вслух говорить об этом неудобно, но мы понимаем все без слов.

Улочка обрывается. Тут светлее. Какое-то поле. Мы садимся на теплую землю посреди шуршащих жестких стеблей. Со стороны Дуная веет сыроватой свежестью. Огромный звездный шатер над нами.

Не должно быть двух миров. Не должно. Мир один, и это только война с ее кошмарами и голодом развредила его. Больше не должно быть голода и кошмаров. И этой противополоственной развешенности.

Глубокая ночь. Кругом туман. Он заволок городок, поле, дорогу, а звезды стали резче и ярче. Туман вокруг, а в центре его — мы двое. Кажется, мы заблудились в тумане, но это не так. Мы сами не хотим выходить из тумана.

Я гляжу на лицо Оли. Глажу и не нагляжусь. Ничего подобного я не видел — не умел смотреть, не понимал, и поэтому не видел. Лицо говорит, дышит, улыбается, спорит, оно ласкает, обижается, любит — и все в одно и то же время, и все тогда, когда уста сомкнуты, и даже тогда еще явственнее, чем когда оно говорит словами.

Ее лицо живет. Я не знаю, красиво ли оно, — мне сейчас оно кажется прекрасным. Ее глаза большие и чуть отсвечивающие в полумраке; ее лоб — я прикасаюсь к нему и осторожно глажу его; и нос, и губы, и шея — все прекрасно, и все неотделимо от того жгучего чувства близости, которое я только что открыл для себя. Как же прекрасна эта обыкновенная человеческая жизнь!

И я опять обнимаю Олю. И вновь ощущаю то же. Этому, наверно, нет и не будет конца. Она смеется и мягко отталкивает меня ладонями.

— Пошли, пора!

— А куда спешить?

— Так ведь утро скоро, утро.

Чудачка, думаю я. Теперь все иначе: мы свободны, и времени для нас нет.

— Пусть утро. Нет, не утро. — Я вдруг вспоминаю про часы, которые мне подарил Быковский: ребята нашли в роще неподалеку от Маутхаузена брошенный «мерседес» и в нем портфель, набитый часами. Я достаю из кармана — маленькие, золотые, в форме луковки. Они тикают, я заводил их.

— Вот посмотри, — говорю я, уверенный, что до утра еще далеко.

Мы пытаемся разглядеть в темноте крохотный циферблат. Безуспешно.

— Утром посмотришь, — говорю я и кладу в ладонь.

Олиные часы.

— Это мне? — не верит она.

— Конечно. Ты посмотришь, какая это прелесть. Оля вздыхает.

— Ты сможешь продать их, когда вернешься. Дома понадобятся деньги.

Смешная она: о чем заболитесь!

— Зачем мне деньги? Осенью я пойду в институт, буду получать стипендию.

— Купишь костюм.

— У меня есть костюм.

— Ну, часы, мужские.

— А часы я себе еще достану, если захочу. Бер! Она наконец смягчается.

— Если только ты еще достанешь... А то у меня, правда, ничего, ничего нет. Когда немцы угоняли нас, все пальцы, разбивали. Как мы теперь жить будем, — не знаю.

— Все наладится, Оля, — успокаиваю я ее. — Теперь мы будем еще лучше жить. Больше не будет войн, не будет фашизма. Красивой и умной будет жизнь, Оля, вот увидишь, и справедливой. А мы к тому же такие счастливые!

Она доверчиво прижимается к моему плечу, и мы молчим.

Звезды куда-то исчезают. Серая пелена тумана разрезается. Прочерчиваются контуры домов.

— Рассвет...

— Тикают, — радуется Оля. — Пошли!

Я надеваю пиджак, и мы выходим на дорогу. Мир, кажется, несколько изменился, стал более спокойным, что ли. Над Дунаем неподвижно повисла плотная белая полоса.

у ближайшего перекрестка прощаемся. Девушки занимают старый дом под массивной крышей — он наискосок от нас. Я долго не могу выпустить из своей руки шершавую ладонь Оли.

После завтрака мы с Пороговым сидим на подоконнике. Лицо его строго и немного задумчиво. Через час мы выступаем. Доведется ли нам еще когда-нибудь так запросто посидеть и поговорить?

— Тебе ко многому надо будет заново привыкать... Вот, может статься, встретишься ты в будущем с кем-нибудь из лагерных товарищей. Новая обстановка, новые обязанности, семья, женщины там, детишки. И тебя, возможно, колыхнет, что встреча получится совсем не такой, как ты ожидал... как, впрочем, бывает и с другими встречами, в особенности когда их очень ждешь... Порогов смотрит мимо меня, куда-то в стену. — Кстати, насчет женщин. Не думаю, что это просто. Даже то, что называется мимолетной связью, не проходит даром — портит душу. Не надо так. Все это совсем не просто, как кажется. Но это между прочим.

Это, по-видимому, не между прочим, а главное, что он хотел сказать мне. И я благодарен ему, не за совет — в подобных вопросах голым умом, вероятно, ничего не решается, — а благодарен Порогову за его отцовски бережные отношения ко мне.

Опять смотрит мимо, теперь в окно.

— Значит, не хочешь со мной?

— Спасибо, но я думаю, что найду родных, я горю...

Он предлагал мне стать его приемным сыном, и хотя моего родного отца давно нет в живых, я надеюсь, что жила мама.

#### 4

**В**се в солнце: поля, перелески, зелень земли и сияющая необъятность неба. Голубой Дунай позади, затерялся где-то за холмами, и Альпы позади — я никогда не забуду их, — и Маутхаузен, и трудные годы — годы моей юности, отданные войне.

Мы шагаем в головной колонне. Шагает Порогов, Валерий, Иван Михеевич, полковник Шаншеев. Идут в пешем строю, как простые солдаты. Идут герои, для меня они всегда будут героями — организаторы и стратеги подпольной войны в концлагере. Идут коммунисты.

А мы идем за ними. Нас больше трех тысяч — бывших политзаключенных Маутхаузена. Свыше тридцати тысяч наших соотечественников осталось там, убитых и превращенных в пепел. Но сегодня они тоже идут с нами, незримо, ставшие частью нас самих. Это боль и горе, мужество и отчаяние первых лет войны идут по австрийской земле на восток. Мы возвращаемся из вражеского окружения на нашу советскую землю.

Только солнце. Оно блистает на листьях придорожных лип, в разогретой траве, в каплях пота на наших лицах. Солнце и солнце, и хорошо, что сегодня много солнца!

Я шагаю тоже в головной колонне. В предыдущие дни я ехал на легкой машине, выполнял специальные задания уполномоченного по репатриации майора Манина. Вместе с шофером Леной мы внезапно появлялись в отдаленных местечках и живописных виллах в стороне от шоссе: проверяли, не задерживает ли кто-нибудь там наших людей. Я шел обычно первым, правая рука на пистолете в кармане пиджака (нашу колонну дважды обстреляли), Леня —

за мной, шагах в двадцати, в одних трусах, носалапый, с автоматом на шее... Теперь пистолет лежит у меня в заднем кармане брюк, все то же, подаренный моим командром Маноло. Я не отдал его американцам, когда 7 мая, наведя на нас оружие с танка, они потребовали, чтобы мы разоружились; я очень хотел бы привести его домой как память о боях с эсэсовцами в Маутхаузене...

Только солнце. Пожалуй, оно начинает припекать слишком сильно. Воздух накаляется, ни один лист не дрогнет на разломивших липах. Я снимаю фуражку и вытираю пот с лица.

— Дожде будет, — говорит Быковский. — Косточки чувствуют, да и трава очень пахнет, перед дождем.

Насчет травы верно. Вообще я замечаю, что после концлагеря у нас обострилось обоняние. Я не подозревал, например, что можно на расстоянии ощутить горьковато-сладкий запах коры лип, пресный запах воды, в реке, грустный теплый аромат клочка свежего сена.

— По-моему, впереди река, — говорю я.

— Впереди гроза, — вещает Жора.

— Да, будет гроза, — соглашается Быковский. — Пйрт.

— Не будет грозы. А речка — вон она! — Я показываю на голубую полосу воды, изогнувшуюся подковой в яркой зелени луга; эта подкова — примета счастья...

Мы переходим через каменный горбатый мостик и медленно взбираемся в гору.

— Только не упрячься бы сразу в казарму, — вслух размышляет Жора. — Хотелось бы еще погулять. Вы знаете, что мы сейчас проходим по суворовским местам — Энс, Перг, Марбах? Потом я хотел бы съездить в Вену.

Лицо Жоры оживляется. Он мечтает когда-нибудь найти и поблагодарить двух венков из Красного Креста, которые 20 июня 1943 года пытались передать нам, военнопленным, политрукам, в невольничий вагон корзинку с хлебом и кофе.

— А я согласен на казарму, — тоже оживляется, говорит Быковский. — Старый служака. Дай-то бог!

Порогов идет размеренным, тяжеловатым шагом. Вероятно, устал. Конечно, устал, это видно и по напряженной спине и по сутулым плечам. И по тому, что умолк — больше не разговаривает и не шутит. Он мог бы приспокойно катить в машине вместе с майором Маниным, но не захотел.

На Порогове старый темный костюм, еще лагерный. На спине след от красной полосы, счищенной бензином. На голове вылинявшая фуражка-тельмачка... Зря он все же отказался от нового костюма, который я раздобыл ему на вещевом складе. Он хочет переодеться только в свою армейскую форму — его, кадрового офицера, нетрудно понять.

Почувствовал мой взгляд, Порогов оборачивается.

— Жарко?

— Нормально, — отвечаю я.

— Не ври. Жарко. И нечем дышать, это перед грозой.

Они все правы: Быковский, Жора, Порогов. Небо над головой чисто, но на горизонте уже собирается предгрозовая муть.

Печет солнце. Остро пахнет травой. Начинает дождик жидкий... И все-таки радость, главное, радость: сейчас будет встреча с советским командованием, и скоро, теперь уже очень скоро я обниму маму, сестер, поцелую родную русскую землю!

Ряды безмолвно подравниваются. Головы — выше. И волнение — я вижу закусанные губы, возбужденно подблескивающие глаза.

На перекрестке дорог столб с фанерными стрелками-указателями. На одном из указателей русская надпись: «Цветлы. 1 км».

Это тот город, куда мы идем, а вернее сказать, пришли: за поворотом сквозь сияющую зелень листвы проглядывают первые дома, и над ними в дрожащем мареве — высокие стены какой-то старинной кирхи или монастыря.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

1

**Н**аверно, я тоже волнуясь... Рядом с Пороговым идет майор Манин, но ведь он около часа тому назад проехал мимо нас к городу? Когда он возвратился? Как я не заметил? Майор Манин идет не рядом, а сбоку и на полшага вперед.

По обе стороны колонны — аккуратные фасады домов, подстриженные деревья, узчатые чугунные ограды — как мы переступили черту города, я тоже почему-то не заметил. Я сейчас вообще плохо замечаю, что вокруг, зато отчетливо слышу стук своего сердца. Я стараюсь держаться прямо, глядеть только перед собой, как на параде... Может быть, это глупо?

Нет, не глупо. Мы вступили в советскую зону оккупации. Это же, по сути, самая торжественная минута в моей жизни за последние годы: я вернулся! Даже не верится. Неужели вернулся? Но почему все совершается как-то слишком просто?

Может, потому, что я чересчур долго ждал этой минуты, и мне теперь лишь кажется, что просто? Ведь я ждал этого непрерывно с тех пор, как 6 июля 1942 года замкнулось немецкое кольцо, и я почувствовал, что отрезан от Родины. Все дальнейшее по смыслу своему было ожиданием, борьбой за возвращение и ожиданием его. И вот теперь это наконец совершается, уже свершилось...

Так почему же нет музыки? Почему нет цветов и поздравлений? Где праздничные лица моих прежних командиров? Где родные?

Дуренок, говорю я себе. Успокойся. Откуда взяться здесь твоим родным и твоим прежним командирам? Здесь Австрия, ты возвращаешься из плена... Я встряхиваю головой. Я хочу все трезво оценивать и понимать, но сердце мешает. Дурное сердце! Мало ли чего хочется ему, сердцу! Я встряхиваю головой и вижу еще более напряженную спину Порогова; жалко, не вижу его лица — что на нем? И вижу я вижу впереди большой сквер, побелевшие на солнце верхушки тополей, а выше — синюю стену тучи, громадную синюю тучу с белесыми пятнами внутри и неясными розоватыми всполохами света.

Ну и дьявол с ней, с тучей, думаю. А Порогова просто устал. И никакой торжественной встречи не будет — я неожиданно понимаю это. Сейчас Порогова доложит, и нас разведут по казармам. И все. И так даже лучше...

Мы входим в тенистую аллею. Мы минуем аллею, спускаемся немного вниз, и вот наших шагов больше не слышно. Мы идем по травяному полю след за майором. Маниным, идем в конец поля — это футбольное поле: я вижу покосившиеся штанги ворот, — мы останавливаемся там, где должна проходить черта штрафной площадки.

Вероятно, мы на городском стадионе. Кругом деревья. Скамейки поломаны, доски свалены в кучу. Зачем?

И я слышу за спиной громкую команду:

— Нале...аю!

Давно я не слышал такой команды: «аю» — отдельно, отрывисто, как положено. Хорошо!

Поворачиваюсь, как положено. Я в первой шеренге. Я вижу немолодого старшину — подтянутого, бравого, с красной звездочкой на пилотке.

— Ра-авняйся!

Ищу глазами грудь четвертого человека. Очень хорошо!

— Смирн-а!

Замираю. Скваживаю взгляд на старшину. Четким строевым шагом подходит он к чернявому капитану и что-то докладывает — что, я не слышу: по-прежнему мешает сердце.

Капитан кивает. Старшина поворачивается к нам. Сейчас, наверно, пригласят Порогова. Сейчас, думаю я...

И я вижу вдруг на углу поля, там, откуда подается мяч на угловой, — я вижу автоматчика. Нашего солдата в выгоревшей гимнастерке, нашего советского солдата, беленного безусого парня с автоматом. Зачем?!

И я вижу второго автоматчика на противоположном углу поля. Зачем?! И еще одного солдата с автоматом наготове. Зачем? Зачем?!

— У кого огнестрельное или холодное оружие — сдать! — командует старшина.

Что-то больно обрывается в груди, холодеет, но я не хочу этому верить. Это понятно, логично, твердо у себя. Война закончилась.

Я выхожу из строя и кладу на землю свой пистолет. Мне подарил его испанец Маноло, мой камерад, он подарил мне его за неделю до нашего востанствия. Я кладу его на землю, свой пистолет. Война закончилась. Это ничего, говорю я себе.

И я чувствую вдруг, что солнца больше нет. Его заслоняет туча. По верхушкам тополей пробегает короткая дрожь.

Я возвращаюсь на свое место в строй. Поворачиваюсь кругом через левое плечо. Как положено. Это ничего: оружие сдали, — теперь автоматчики уйдут.

Над головой глухо погромыхивает: начинается гроза. Порогова возвращается в строй, Валерий — в строй, полковник Шаншеев — в строй. На их лица я не гляжу — стыдно.

— Поживей! — кричит старшина.

А почему он кричит? Что он здесь — старший? А где майор Манин? Я смотрю налево и направо — майора Манина нет. Где же майор Манин?

Косо сверкает молния. Грохочет. И сразу темнеет. Дышит холодом.

— Живей, говорю! — кричит старшина.

Где же Манин? Где майор Манин? Почему не уходит автоматчики? Почему с нами так?

За что?

Снова сверкает. И вновь грохочет. Первые крупные капли дождя падают на сухую траву, на наши головы в чужих фуражках и полосатых концлагерных шапках, на наши плечи, на наши спины, тысячу раз битые палками эсэсовцев и надсмотрщиков...

И это ничего, что дождь. Это даже хорошо. Капли дождя на лицо — это даже приятно. И ничего незаметно, ничего незаметно, потому что капля дождя и человеческая слеза — попробуй, различить их!

Дождь припускает. Часовые автоматчики пожевывают. Старшина кричит:

— Берите доски, лопаты! Стройте себе жилье! Что стоите?

Да, что же мы стоим? Что я стою?





Порогов, ссутулившись, первым трогается с места. За ним полковник Шаншеев, Иван Михеевич, Валерий... Потом бросаются все в беспорядке.

Бушует дождь. Ослепительно вспыхивает и раскаляется небо, черное небо над почерневшей мокрой землей.

2

**—** Это нужно. Пойми, в среду пленных, таких, как ты и я, могли затесаться власовцы и полицы. Тут, мой дорогой, необходимость, суровая, но необходимость. И откровенно, я предвидел что-то в этом роде.— Порогов приостанавливается и испытующе смотрит на меня.

Над головой опять солнце. После вчерашнего дождя земля еще не просохла, от влажных стволов, от сырой травы, на которые падает рассеянный солнечный свет, в старом парке стоит голубоватый дым.

Лицо Порогова бледновато, под глазами мешки...

А верит ли он сам в то, что говорит? — думаю я. Или сам себя старается убедить, что есть такая необходимость? Хорошо, кабы верил, ему было бы легче.

— Да,— говорю я.— Необходимость. Я понимаю.

А мы выдержим и этой — Порогов пытается улыбнуться.— Уже выдержали. Теперь будет проще. Теперь будем отчитываться каждый за себя, а потом и за наши общие дела в Маутхаузене.

Он, очевидно, рад, что я понимаю. Пусть так думает. Я рад за него, если он так думает.

— За себя мы отчитаемся,— говорю я.— А за нашу подпольную работу в Маутгаузе — тем более. Пока мы все вместе, сделать это несложно.

Я тоже пробую улыбнуться. И улыбаюсь — довольно натурально, по-моему. Походясь со мной еще немного по дымящемуся, в солнечных зайчиках парку, Порогов отправляется в свой шалаш. Я бреду к речке, обтекающей парк с юга, и сажусь на замшелый серый камень.

На противоположном берегу высится старинный монастырь. Там расположился особый отдел. Чернявый капитан, принимавший нас вчера, — его начальник... У крепостной монастырской стены стоят часовые. Один из них смотрит прямо на меня: ему, вероятно, приказано следить за парком, где находимся мы, со стороны речки. Солдат смотрит на меня настороженными сощуренными глазами, на его гимнастерке поблескивает медаль. Я снимаю отсыревшие ботинки, кладу их рядом с собой на камень.

Необходимо, думаю я. Хорошенькая необходимость!

Я гляжу на часовых и на крутой, поросший низкорослым откосом противоположного берега. Ведь это сущий пустяк — уйти отсюда! Каждый из нас, имевший за своими плечами в плену хотя один побег, сумеет незаметно уйти из этого парка. И, возможно, кто-нибудь, не поборов обиды, смелодушничает и уйдет, а потом расскажет пленным в западной зоне, как встретили нас здесь. Вот что глупо! И вредно! Как наше командование не понимает этого!

Смотри, смотри, думаю я про часового с медалью. Неси свою службу как положено, солдат. По совести говоря, я очень завидую тебе: ты в форме, с медалью, при оружии. Мне же просто не повезло, солдат, мой дорогой незнакомый товарищ, а ведь я в душе такой, как и ты. И не беспокоясь за меня: я не уйду. И никто из моих концлагерных друзей не уйдет — ты не волнуйся!..

Позади меня шуршат осторожные шаги. Затем я вижу сплывающее в воде улыбающееся лицо своего земляка Афоня.

— Что, друг, загорает? — спрашивает он.

— Загораем. Состав — компания.

Он уснащается на бережок, подобрав под себя ноги. Когда-то мы мечтали вместе ехать домой. Это было очень давно, в какой-то иной жизни.

— И долго будем так... загорать? Ничего не знаешь?

— Нет.

— А не посадят нас случаем? Болтали ведь, что за плен сажает. Оно похоже на то и выходит.

Улыбка исчезает с лица Афоня. И белые брови, сдвигаясь, сосредоточенно топорщатся.

— Нас не за что сажать, — говорю я.

— Вроде бы и не за что. А с другой стороны — следует. По приказу-то каждый должен был до последней капли крови. Вот я и задумываюсь... — Афоня понижает голос. — Застрелиться надо было как-то, хотя особой возможности и не представлялось. Да и жалко самого-то себя стрелять. За что?

Голубые глаза Афоня, глаза-звездочки, меркнут.

— Чепуха это, выбрось из головы, — говорю я. — Война ввела свои поправки в прежние представления о плене. Любой фронтоник понимает: и с ним могло случиться то же. Плен — несчастье, а не преступление, по крайней мере для большинства таких, как мы. Подлецы и изменники в счет, конечно, не идут, да их и немного среди пленников.

Я сам несколько удивлялся своей уверенности. Я хочу так думать, хочу верить, что и все так думаю. Простой здравый смысл, больше того — сама печальная действительность войны на моей стороне. Афоня горестно вздыхает.

— Пошто же нас сюда загнали?

— Это временно, — говорю я. — Надо проверить, не затесались ли к нам полиция и виласовцы.

— Дак ведь сказываешь — их немного. Для чего же над остальными, которых большинство, надругаться?

— Чтобы не ускользнули подлецы, — отвечаю я с прежней похвальной уверенностью.

— Зачем это говорю? — спрашиваю я себя. — Ведь неправильно оскорбить сто человек ради того, чтобы вызвать одного негодяя. Их обязательно нужно выпалывать, предавать и всяких негодяев, но каким-то другим способом. А так — и бесчеловечно, и опять же нерасчетливо, и глупо.

— Словом, земляк, что у нас было, то и есть... Афоня усмехается. — Лес рубят — щепки летят. Это мы уже слышали в тридцать седьмом... а ты говоришь, война внесла поправки! — Он сплевывает в воду и поднимается. — Ладно, сиди, а я пошел.

Часовой у монастыря больше не смотрит на меня: надоело или понял, что я неопасен... А вдруг и правда посадят! Соберут всех вместе, погрузят в эшелоны и отправят в лагерь куда-нибудь на Север или в Сибирь!

Нет, лучше не думать об этом. Не хочу думать. Не хочу мучиться. Хватит мучиться! Я обуяюсь и спрыгнуваю с камня на берег.

...В полуразваленном сарайчике в грудехлама я случайно нахожу старый, но еще вполне пригодный велосипед. Я гоняю на нем по всем дорожкам и аллеям парка, потом, положив длинную доску на откос футбольного поля, съезжаю вниз, я все круче срезаю углы, набираю все большую скорость, пока, сделав особенно резкий поворот и зацепившись за край доски, не лечу вверх тормашками. Я разбиваю лицо в кровь, но мне не больно. Наплеватель мне на кровь!

Вечером Афоня ведет меня к своим друзьям в дальний шалаш. Ребята где-то раздобыли спирта. Мне наливают почти полный стакан. Я пью, как и все, не дыше, и запиваю спирт водой.

Наплеватель, что обжигает горло и перехватывает дух. Наплеватель мне на все!

Я возвращаюсь домой. Мне смешно. Я иду и отталкиваюсь от земли. Это ужасно весело. Черное звездное небо вдруг опрокидывается вправо, и тогда я отталкиваюсь левой рукой. Потом меня стремят влево, и я отталкиваюсь правой. Но я не только отталкиваюсь, я еще горланю превосходную песенку, которую сочинили в наше отсутствие, когда мы сидели в плену:

И пока за туманами видеть мог паренек,  
На окошке, на дежгетем, все горел огонек.

Я не знаю, что это: своего рода защитная психологическая реакция, или обида и затаенный протест, в которых больно самому себя признать, или легкомыслие мое, а может быть, все, вместе взятое, но меня, кажется, вдруг перестают волновать и мысли о том, что нас ждет, и даже то, что с нами было. Я просто хочу жить, дышать чистым воздухом, гулять, хочу обыкновенных земных радостей. Для меня сейчас нет прошлого и нет будущего — только настоящее. Я понимаю, что скатываюсь с каких-то высоких человеческих позиций, однако и это мало волнует меня. Мы, пленные, — шлак, который выгребают из потухшей толпы войны,

а то, что мы боролись с врагом в лагерях,—ну так что же: мы оставались и тем советскими людьми и не могли вести себя иначе, и ничего особенного тут нет...

Уже середина июня. Стоят великопленные, в солнече, в тополином пухе, яркие длинные дни. После первой сортировки нас, бывших концлагерников, переводят за город, в палаточный лагерь. Формируется офицерская рота и несколько рот рядового и сержантского состава. Проводятся переделки, иногда строевые занятия. Командиры у нас выборные, свои. Никто больше не стережет нас.

И все-таки настроение подавленное. Кто же мы такие? Военнослужащие? Но почему нам не выдают форму? Почему мы выбираем командиров, когда в армии они должны назначаться? А главное—зачем держат нас здесь? С какой целью? Что за неопределенность?

Я отмахиваюсь от этих вопросов, но они назойливо лезут в голову. И я опять отмахиваюсь от них.

...Валерий Захаров, упираясь грудью в край стола, пишет. По поручению бывшего подпольного комитета он составляет отчет о деятельности нашей организации в Маутхаузене. Он пишет быстро, видно, что рука еле поспевает за мыслью. Голова немного набок, ворот полосатой рубашки растегнут... Что ж, пусть пишет. Не буду ему мешать.

Выбираюсь из палатки. На небе жаркое солнце. Недалеке другая палатка, почище и попросторнее; там размещаются наши офицеры... Пойти туда? Наверно, опять играют в подкидного или простого дурака. Нет, к офицерам не пойду.

Гляжу дальше. За дорогой, напротив палаточного лагеря, протянулись зеленые баракки. В одном из них санчасти, в другом живут настоящие военнослужащие, в третьем, полупустом, нечто вроде клуба или красного уголка. Я прочитал все газеты и журналы скопом, в один присест, а свежих еще нет.

Но деваться больше некуда: идти на речку под палящим солнцем не хочется, а я плетусь к клубу.

Еще издали вижу Порфирия. Он сидит на завалинке барака в тени и курит. Он один из самых старых моих товарищей по плену: мы познакомились в конце марта или в начале апреля 1943 года... Как бывшего оперуполномоченного, Порфирия теперь пригласили сотрудничать в особом отделе. Он живет в частной квартире в Цветле, у него свободный доступ в монастырь, ему даже разрешено носить личное оружие.

Мы здороваемся, и я подсаживаюсь к нему в тень. Порфирий заметно пополнел, порозовел, даже морщины на лбу и возле глаз чуточку разгладились. Он весь будто помолодел и обновился: и взгляд веселее и голос звучней.

— Ну как там Жора?—спрашиваю я.

— Да пока без изменений,—ответает Порфирий. Жора Архаров сразу по приходе в Цветле подал рапорт, что он разведчик генерального штаба и просит доложить о нем в соответствующие инстанции. Его временно поместили в монастырь.

— Кто-нибудь еще из наших ребят встречал?

— Из нашей группы?—Порфирий поводит длинной струей дыма.—Затеев и Савостин здесь, ты знаешь, Ермолаев Петр в госпитале... Лешка Толкачев, мне говорил, был повешен не то в Линце, не то в Штайере незадолго до конца. Слыхал?

Да, я слышал о гибели Толкачева. Его повесили за то, что он обзавел гадами эссовцев, тащивших на виселицу заключенного-поляка, пойманного при попытке к бегству. Лешку повесили на той же перекладине, что и поляка.

— Да, вот какое дело,—помолчал, говорит Порфи-

рий.—Тебе Мишка на глаза не попадался? Ну, черныш такой—помнишь? Работал в мастерских в нашем цехе...

— Помню. А что?

— Он власовец, я нищу его...

— Он не власовец. Он был в рабочей команде пленных на аэродроме под Парижем, он рассказывал мне.

— И мне рассказывал. Они под новый год будто бы разоружили пулеметчика и пытались бежать... Так где этот Мишка?—Порфирий мельком зорко всматривается во мне.

— Я не видел его здесь, не знаю. Но он не власовец, ты ошибаешься.

— Власовец или не власовец,—это, друг, нам виднее.—Порфирий показывает в устьех стальные коронки на передних зубах.

— Не власовец,—утверждаю я.—Мишка—свой парень. То, что они разоружили часового-пулеметчика и хотели бежать,—это же патристический поступок! И в Маутхаузене он вел себя хорошо, ты сам помнишь.

Порфирий неожиданно грустно улыбается. — А ты помнишь, как на восемнадцатом блоке уверял, что после концлагеря нас повезут отдохнуть в Крым и награждать орденами?

Он задвевает за самое больное.

— На твоём месте я не стал бы сейчас напоминать об этом,—говорю я.

— Может быть, может быть.—Порфирий снова мельком всматривается во мне.—А ты не нравишься мне, прости, прочим.

— Почему же?

— Да так.—И Порфирий коротко смеется.—Не нравишься, не нравишься. Вроде чем-то недоволен. Вот и Мишку пытаешься взять под защиту.—Порфирий дружески хлопывает меня по плечу и еще раз полусухо-полусерьёзно повторяет:—Не нравишься.

Он заплевывает окурок, тщательно растирает его подшовой и встает.

Чужой, думаю я. Стал чужим... Да, пожалуй, и все мы, лагерные друзья, стали теперь немного чужими: замкнулись в себе, как-то потускнели—даже Валерий и Иван Михеевич, даже Порогов. Неужели пришел конец нашему братству?

#### 4

**М**не грустно, так грустно, как не было еще никогда.

Неправда, что меня больше не волнует будущее и безразличным становится прошлое. Мне очень больно за Валерия и Ивана Михеевича, моих первых командиров в антифашистском подполье, за Порогова, за Жору Архарова, за Быковского. Мне больно за всех честных военнопленных, оскорбленных и униженных недоверием.

И опять я с тревогой думаю о том, что же нас ждет: ссылка, тюрьма или бесславное возвращение домой на правах отбывших свой срок заключенных?

Я хотел бы жить только настоящим, но ведь настоящее—это всегда стык прошлого и будущего. В человеке неизбежно живет прошлое и предчувствие будущего, потому что будущее во многом вырастает из прошлого, а за прошлое—войну и плен—я, кажется, не могу ни в чем серьезно упрекнуть себя. Почему же меня должна ждать ссылка или тюрьма?

Я размышляю об этом, идя по душной, жаркой улице Цветля после невеселой встречи в госпитальном садике с одним из лагерных товарищей, идущим, глядя себе под ноги, и вдруг слышу девичий голос, окликающий меня.

В открытом окне второго этажа Оля.

— Не узнаешь?.. Заходи, я встречу тебя в подъезде.

Значит, и их, гражданских, еще не отправили домой. А их почему?

Оля берет меня под руку и ведет наверх. В комнате стол, два стула, шифоньер, две железных кровати — голова к голове.

— Ты, я гляжу, не очень рад?

— А что ты тут в городе делаешь?

— Я работаю в госпитале, вольнонаемная.

На ней хорошее платье, хорошие туфли, у нее красивая прическа. В пепельнице на столе — торчок смятой недокуренной палирасы.

— Ты куришь?

— Нет, это не я... Оля, смешавшись, вытряхивает пепельницу в мусорную корзину. — Это заходил один знакомый. Я сегодня дежурю вне очереди, заболела санитарка, он приходил сказать, чтобы я подменила ее. Ты садись. Есть хочешь?

— Нет, спасибо.

Я сажусь на подоконник.

— Может, выпьешь? — спрашивает она. — Ты мне совсем не рад? Совсем?

— На знаю... Я больше ничего не знаю, Оля.

— Сойди с подоконника. Сядь на стул. У меня есть австрийское вино, какое мы пили тогда. Я налью тебе.

Платье плотно облегает ее тело. Шея и руки покрыты словно золотистой пылью. У нее крепкие ноги, загорелые и стройные. Я смотрю на нее, пока она достает из шифоньера бутылку и стакан.

Это — настоящее. Не стык прошлого и будущего, а просто настоящее. Без мурдствований.

— Достань еще стакан.

Она достает, и я наполняю оба стакана.

— Выпьем за тебя, Оля.

— За нас!

Вино тепловатое и капельку горчит. Ничего. После спирта оно как детский фруктовый напиток. Оно немного ожог во рту.

Оля придвигает ко мне тарелку с ломтиками шпига.

Я гляжу на ее обнаженные, пополнвшие за последний месяц руки и думаю: «Слаб человек. В чем-то слаб. В чем-то непобедим, а вот в этой обыкновенной жизни, видимо, слаб».

И я кладу на ее руки свои и притягиваю ее к себе...

— Ты не опоздаешь на дежурство? — спрашиваю я ее через полчаса.

— Нет, я вступаю в восемь, а сейчас еще нет семи... Она вынимает из-под подушки золотые часы-кишочку. — Без четверти семь. Видишь?

— Тикают?

Оля смеется негромким счастливым смехом.

— Ты знаешь, — говорит она, — я еще тогда обратила на тебя внимание, когда ты молчаливый сидел за столом. Недя говорила, что ты был адъютантом Порогова и ты смелый и самый молодой. Я хотела прийти к тебе, когда вас загнали на стадион, но меня не пропустили. А потом я думала, что вас увезли в Россию. Я буду тебя всегда любить. Ты это помни.

— Спасибо, Оля.

— Что же с вами будет? Неужели опять лагеря? — Не знаю. Но я тебя тоже не забуду. Ты первая у меня. Ты это тоже помни.

Оля утыкает лицо в измятую подушку и плачет.

**Ж**елтые стандартные дома, громадный плац, кирпичное здание так называемого пищеблока, и все это обнесено забором из колючей проволоки. Часовой только у ворот, вышек нет, но на прилегающих к забору улицах прохаживаются патрули. Так выглядит местоположение нашего запасного полка в городе Вилер-Нейштадт.

По-прежнему непонятно: кто мы? Снова выборные командиры — от отделенного до ротного, — пестрота одежды, снова неопределенность. Правда, командир запасного полка, молодой кадровый лейтенант, из всех сил старается придать нашему бытию видимость бытия воинской части, однако это ему плохо удается.

Странно подумать, но на дворе уже август. Солнце, неяркое и незнойное, обычное августовское солнце, заливает желтоватый плац. На нем в разных концах сидят кучки людей. Люди сидят спокойно, не шумят, не разговаривают, лишь изредка кто-нибудь громко зевнет, а потом виновато поглядит по сторонам и полезет в карман за махоркой. Сейчас у нас политзанятия. Тема: присвоение верховному главнокомандующему высшего военного звания — генералиссимуса Советского Союза.

Я назначен заместителем командира роты по политчасти и в этом качестве стою с газетой перед одной из кучек и читаю вслух большую статью о полководческом гении главнокомандующего, благодаря которому мы победили интервентов в гражданскую войну и теперь наголову разбили фашистских аггрессоров...

— Все ли понятно? — закончив, спрашиваю я.

— Все! — отвечает мне.

— Какие вопросы?

— Когда домой?

— Когда поступит приказ, — говорю я. — Вопросы прошу по теме.

— А увольнительные нам будут давать?

— Увольнительными распоряжается командир полка. Еще раз прошу: по теме.

Молчат.

Из каптерки вылезает долговзвзый старшина, тоже пленный, — он командир роты. Старшина смотрит на свои круглые карманные часы, потом на меня — время, отведенное на политзанятия, истекает, — я киваю ему, и он командует:

— Разойдись!

Теперь по распоряжению дня свободное время. Его и так хоть отбавляй, и неизвестно, как его убить.

— Ну, как беседа? — солидно интересуется старшина.

— Как обычно, — говорю я.

— Плохо, значит. Обленился народ. Ему лишь бы пилоса да елоса, а поднимать свой уровень не хотят. — Он оглядывается и снижает голос: — Когда в увольнительную?

— Это уж как лейтенант.

— Просишь сегодня, а завтра я.

— Люди тоже просят.

— Люди людьми, а мы все-таки командование, соображать надо! — И старшина дергает себя за длинный нос...

Командира полка, лейтенанта, я нахожу в штабной комнате. Он разговаривает по телефону. За столом

у двери сидят ефрейторы и шпешет. За спиной его массивный несгораемый шкаф. В окно виден часовой у ворот.

— Слушайся. Есть! — говорит лейтенант в трубку и опускает ее на рычаг. — Вы ко мне!

— Так точно. Разрешите обратиться, товарищ командир полка!

Он, мой ровесник, очень любит, чтобы соблюдались уставные правила обращения.

— Да! — У него свежее, с легким румянцем лицо, новенький китель, новенькие необятные погоны, очень чистый подворотничок.

Я беру руки по швам: шалки на голове у меня нет.

— Товарищ командир полка, прошу предоставить мне увольнительную в город, до вечернего построения.

— Гаврилов, глянь на список, — приказывает лейтенант ефрейтору. — Ничего? Ответок нет?

— Он по форме «А». Разрешено.

— Я про очередность спрашиваю, а не про то, разрешено или нет, — это я без тебя знаю.

— Он еще не был в увольнительной. Первый раз.

— Разве вы не ходили в город? — удивляется лейтенант. — Тогда я бесспорно выпущу. Только, знаете, чтобы без глупостей насчет женщин. Ясно?

Он мог бы и не предупреждать: до того ли сейчас; на душе, по правде говоря, еще хуже, чем было в Цетеле.

— Ясно, — отвечаю я.

У выхода меня поджидают трое знакомых ребят: просят купить курева. Они здесь последние из мунштукеров. наших офицеров, в том числе Порогова и Ивана Михеевича, отправили куда-то в Чехословакию, рядовых и сержантов распределили по разным запасным полкам.

## 2

У нас чрезвычайное происшествие. Даже два. Нынешней ночью группа пленных связала часовой и ушла за ворота в неизвестном направлении. К штыку винтовки беглецы прикололи записку: «На колючую проволоку мы насмотрелись. Больше не хотим». Утром весь полк выстроили на плацу, и потрясенный лейтенант предал проклятию изменников. Потом за ним прикатила машина с угрюмым сержантом. Лейтенант вернулся лишь к обеду, заметно осунувшийся.

А час тому назад — новая неприятность: скоропостижно скончался старичок-генерал из белорусских, решивший было вернуться на Родину. Я помню, как его привезли к нам. Он поначалу весь будто светился, всем позимал руку своей мягкой, пухлой рукой и всех уверял, что это его высшая мечта — взглянуть на новую Россию, а там хоть и помереть. Писарь-ефрейтор сказал мне по секрету, что генерал был каким-то военным ученым и что, пожалуй, не следовало сажать его в изолятор.

Сейчас старичок лежит в коридоре на деревянном диване. Белые руки сложены на груди, на ногах мягкие высокие башмаки. Возле него врач. Лейтенант в отчаянии.

— Это все изолятор. Ведь говорил, говорил — не послушали меня... А может, у него глубокий обморок?

— Он мертв, — довольно равнодушно констатирует врач.

— Голову мне теперь отвинтят за него, — плачущим голосом продолжает лейтенант. — Ведь кабы не

предупреждал, так предупреждал, и не раз — старый, слабый человек, и нельзя было так с ним!

— Товарищ начальник, вас к телефону, — притокрывает дверь, зовет ефрейтор.

Лейтенант, спотыкаясь, бредет в штабную комнату. В коридоре, кроме меня, врача и мертвеца, — удрученный старшина, командир роты. Ему отказано в увольнительной.

— Вот и живи — лишь бы пилось да елось. И командуй, — бормочет он. — На кой это мне сдалось?

Врач, тоже из военнопленных, позевывает. Возвращается лейтенант. Губы его дрожат.

— Помогите, ребята, — говорит он нам. — Заверните генерала во что-нибудь... Гаврилов! — кричит он в комнату. — Дай твою плащ-палатку.

Мы со старшиной завертываем тело генерала в плащ-палатку и тащим к воротам. Там уже поуркивает крытый грузовик. Укладываем мертвеца в кузов, ефрейтор влезает в шоферскую кабину, и грузовик трогается.

Старшина жалостно глядит на лейтенанта.

— Товарищ комполка... может, пустите? И вдруг я вижу, как яростный огонек загорается в глазах лейтенанта.

— Прощайте, изменники Родины! Кругом, марш! — кричит он.

Старшина столбенеет.

— Круго-ом! — кричит лейтенант.

Старшина круто поворачивается, приставляет каблук, потом с левой ноги четко и прямо шагает прочь.

Губы лейтенанта белые и трясутся.

— А ты? — Он вперев в меня ошалевший взгляд. У меня от волнения ком в горле и раздельно стучит сердце.

— А ты что стоишь? — кричит лейтенант, мой ровесник, и не нюхавший, по-видимому, пороха.

— Я стою и гляжу на него.

— Что стоишь? — кричит он. — Не слышал команды?

А я стою.

— Так. — Он трясущимися пальцами достает папиросы, закуривает, усмехается. — Не нравятся обращение? Можете жаловаться — все равно теперь из-за вас вылетит в трубу.

Мальчишка, думаю я. Разве ты знаешь, что такое — вылететь в трубу?

— Разрешите идти? — спрашиваю я.

— Нет! Отправляйтесь к штабу.

Я стою возле штаба, наверно, не меньше часа. Лейтенант, запершись, сидит в комнате. Наконец он приказывает мне войти.

— Садитесь.

Он закрывает на ключ несгораемый шкаф и опускается за свой стол.

— Курите?

Он принимает мунштук папиросы, щелкает зажигалкой, перекидывает папиросу в уголок рта, не спуская с меня взгляда исподлобья.

— Я еще раз поинтересовался вашей анкеткой...

Что, не хватило духа покончить с собой?

— Когда?

— Когда в плен брали, конечно. Струсил?

Я не отвечаю.

— Ладно. Тогда скажите вот что... В чем я неправ? Почему вы все смотрите на меня как на своего личного врага? У нас частный разговор, без свидетелей, так что можете не стесняться.

Я с облегчением вздыхаю. Я ожидал, что лейтенант прикажет посадить меня в изолятор.

— Вы неправы в том, что считаете нас изменниками Родины, — говорю я. — Мы не изменники Роди-

ны. Известно ли вам, что у старшины, которого вы оскорбили, два фронтowych ранения и две попытки к бегству из плена?

Лейтенант поспешно затягивается.

— Я лично не считал всех вас изменниками, у меня это горячка сорвалась, я объяснюсь со старшиной, пусть так. Но вы же не маленькие, служили в армии и должны понимать, что я тоже подчиняюсь распоряжениям и выполняю определенные инструкции. Скажу больше — только это между нами, — насчет вас, бывших пленных, есть специальный приказ, подписанный маршалом Берия... Как же могу я по своей воле снять колючую проволоку или давать всем увольнительные, особенно теперь, после этого возмутительного ночного побега?

«А может, он не такой уж плохой? Может, какие-то инструкции плохие?» — думаю я.

— Скажите, а вы читали сами этот приказ?

— А для чего это вам? — Он снова исподлобья взглядевает на меня и отворачивается к окну. — Идите, готовьтесь в дорогу. Отправляю вас, так и быть, вне очереди, с первой ротой. Возможно, быстрее попадете в Россию.

### 3

Позади — вечерняя Вена, потом уголок Югославии — разукрашенный флагами город Суботица, — потом Будапешт, потом горы и пестрые равнины Румынии. Но Будапешт ярче всего: поезд вырывается на зеленую измененность, и вдруг — выскок многоэтажная коробка дома, похожего на небоскреб, а вокруг него ровный луг; а дальше руины, широкая гладь Дуная под мостом и опять руины, как порванные каменные кружева...

И снова, теперь на румынской земле, — ограда из колючей проволоки, и часовой у ворот, и прежняя неопределенность. Есть и новое: наше скопище больше не менуется запасным полком; народу здесь наберется на целую дивизию, но что это за народ! Гражданские обоного пола и всех возрастов, бывшие военнопленные, цыгане, даже пленные немцы. По какому признаку нас объединили, непонятно. Официальное название — «Сборный пункт по репатриации, город Фокишаны» — мало что разъясняет нам.

Меня берут работать в штаб — составлять списки. Чувство тревоги и одиночества не покидает меня, но за работой все-таки легче.

Однажды к нам привозят подразделение казаков, служивших у Власова. Они в своей форме, с лампаками и чубами. В штабе возникает дискуссия, как обращаться к ним: «товарищи» или «граждане». По инструкции всех репатриантов, советских граждан, полагаемых называть товарищами. Но ведь это... настоящие власовцы и, значит, предатели! Однако других инструкций нет, и решено впредь до особого указания называть и этих казаков товарищами.

В полдень один из наших начальников, рослый щеголеватый старшина (нами, репатриантами, командуют почему-то главным образом старшины), приводит для регистрации первую группу казаков. В комнату, где я тружусь над списками, заходит двое: коренастый, с бурым лицом человек лет тридцати и пожилой, усатый. Старшина усаживается на подоконник. Я показываю коренастому, который вошел первым, на табурет у стола. Он не желает садиться. Как угодно.

— Ваша фамилия?

Он откашливается. Я некоторое время жду и повторяю вопрос. Коренастый молчит.

— Вы не слышите?

Он не отвечает.

— Вы что, товарищ, оглохли? — спрашивает старшина. — У вас с ушами не в порядке? — И пальцем постукивает себя по уху. — Контужен, что ли?

Коренастый не поворачивает головы.

— Что же вы, товарищ?

Бурое лицо обращается к старшине, светлые глаза сужаются до щелок.

— Знаешь что... Голос у него низкий и хриплый. — Волк тебе товарищ, а не я. — Он мгновенно подтягивается и, полуобернувшись к усатому, гаркает: — Господин есаул, какие будут ваши дальнейшие распоряжения!

Усатый тоже сощуривается и что-то бурчит себе под нос. Старшина, оцепеневший было от неожиданности, соскакивает с подоконника, берет усатого есаула за плечо и выталкивает за дверь. Быстро возвращается, закуливает и, глотая дым, тихо говорит коренастому:

— Волк, значит...

Тет слова, как изваяние, нем и неподвижен.

— Волк, — повторяет старшина с побелевшим лицом, хакает табурет и обрушивает его на спину из-за...

Что только нам, пленным, не довелось повидать в немецких лагерях: там били человека на каждом шагу, били безжалостно и с наслаждением, избивание людей делалось бытом, и, притерпевшись, я уже не очень страдал, видя, как бьют. Но то враги, недюди, а здесь на моих глазах человек в советской форме, советский старшина избивает — пусть преступника, пусть врага. Такое я вижу впервые.

...Казак, сгорбившись, сидит у угла; он не проронил ни звука, не застонел. Сидит на полу, подтянув к лицу колени, дышит хрипло, глаз не подымает. Рядом с ним валяются обломки табурета. Старшина ходит по комнате и утирает платком мокрое, в багровых пятнах лицо.

— Гадья... Давать вас надо было танками, а не везти в Россию. Волка нашел, суцья морда!

Я, сам полуневольник, молчу. Я понимаю чувства старшины и искренно не сочувствую коренастому: вот такие-то материалы предавали больше всего и из-за них нашего брата, пленягу; они ловили сбегавших из лагерей, они служили в карательных отрядах, вешали и расстреливали партизан.

И все-таки мне не по себе. Расстрелять такого, если он это заслужил, по приговору суда можно, а ломать о спину табурет нельзя. Я абсолютно убежден: нельзя!

Старшина поворачивается ко мне.

— Ничего, выдюжит... Вынеси стол на улицу и пиши там. Я подошло к тебе серванта. Ежели спросит меня, скажешь — заболел. Я через них, гадов, в госпиталь, наверно, угожу. В сумасшедший дом.

Он поднимает казака и выводит его из комнаты. В окно вижу, как, обхватив его под руки и немного согнувшись — левая рука казака лежит на плече старшины, — он ведет его к санчасти.

У крыльца, на земле, понурившись, сидят другие казаки. Когда, вынеся стол, я прошу их подойти по одному, первым встает усатый есаул.

Полчас спустя сервант приводит новую группу. Незадолго до ужина я заканчиваю регистрацию, отдаю листы старшему писарю и иду на кухню.

Кормят нас терпимо, хотя и похуже, чем в Цветле или в Винер-Нейштаде. На кормежку не обижаемся... Обижаться можно лишь на свою судьбу, но какой от этого прок?

На небе висит луна. Искрится изморозь на крышах бараков и утрамбованной земле. Тишина. Луна неправдоподобно большая, сияющая, низкая, такая она бывает только на юге. Тишина бездонная; редкие гудки маневровых паровозов на станции лишь подчеркивают ее. Земля и светлые крыши бараков будто посыпаны толченым стеклом.

Мы делаем обход зоны, где размещается спецконтингент, и смежного участка с хозяйственными строениями — пекарней и кухней. В бараках власовцев ни шороха, ни огонька — спят. Военнопленные немцы, в основном эсэсовцы, тоже спят.

Милованов закурирует.

— Чудно все-таки, — вполголоса говорит он.

— Да, чудно, — отвечаю я.

Все чудно: и то, что уже конец октября, а мы по-прежнему в Фокшанах, и то, что в двадцати шагах от нас спят бывшие эсэсовцы и власовцы, и особенно, вероятно, то, что мы, недавние политзаключенные Маутхаузена, члены подпольной антифашистской организации, несем здесь полицейскую службу.

Да, полицейскую! Мы полицейские: я, Милованов и еще человек пятнадцать «чистых» пленных. Не знаю, было ли на то распоряжение свыше или это идея нашего начальника пункта, но в один прекрасный день нам выдали хорошие сапоги, шинели, ушанки и объявили, что отныне мы полицейские. В штабе даже состоялось специальное обсуждение, как должны обращаться к нам репатрианты и как должны мы называть друг друга: «господин полицейский» или «товарищ полицейский». Шеголеваты старшина, например, утверждал, что «товарищ полицейский» — это бессмыслица: полицейский, мол, не может быть никому товарищем. Я и Милованов наотрез отказались именовать «господами». Тогда было найдено компромиссное решение: для немцев и власовцев мы «господа», для прочих — «граждане полицейские».

Я все же подозреваю, что затея с производством нас в полицейские — сумасбродство начальника пункта: если бы было распоряжение свыше, то, конечно, была бы и инструкция о форме обращения к нам...

Милованов смотрит на часы.

— Без пяти два. Пора к пекарне.

Мы затворяем за собой калитку «власовской» зоны и идем по застывшей земле к приземистому, с массивной трубой зданию, похожему на крематорий.

— Да, чудно, — повторяет Милованов. — Думали ли, гадали... Скоро полгода, как освободились, и все за проволокой. И до дома не ближе. Меня еще госпиталь подвело: не провалялся бы там столько и, может, сидел бы сейчас дома и пил чай... Ты когда-нибудь пил зеленый чай?

Я никогда не пил зеленого чая и не знаю, что это такое.

— Он по виду, как и обыкновенный, но вкус немного другой, — поясняет Милованов. — Казахи заправляют его молоком и подсаживают.

— Неужно, наверно.

— Очень вкусно и полезно, надо только привыкнуть. — Глаза Милованова мерцают в лунном свете, лицо синева, как у утопленника. Он подносит ко рту сигарку, и я вижу его изуродованную руку: на ней нет двух пальцев, оторвало на фронте.

Привыкнуть, думаю я. Сколько же можно привыкать? В лагерях пленных привыкал, в Маутхаузене привыкал, но больше, кажется, не могу. К колесному чаю все-таки, вероятно, можно привыкнуть, к руке,

напоминающей клешню, — тоже, но к вечной неволе — нет... Проклятая война, что же она сделала с нами?

— Ты, Коля, учился до войны?

— Я как раз окончил десятилетку. А ты?

— Я тоже десятилетку и должен был пойти в институт. Сейчас был бы, наверно, корреспондентом ТАСС или писал бы критические статьи на новые романы. Я, знаешь, мечтал возродить традиции Виссариона Белинского... Гордые были мечты, высоко я мыслил заносило, и хорошие это были мечты, человеческие. Хотел служить правде, коммунизму, своему народу... Гады проклятые!

— Кто? — тревожно спрашивает Милованов.

— Да кто первый забламутил нашу жизнь. Вот! — Я указываю на черные фигуры немцев-пекарей, выходящих из приземистого здания. — И заведение-то, как крематорий.

— Верно, — шепчет Милованов и кричит немцам: — Хальт!

Это тоже наша обязанность: следить, чтобы не выносили из пекарни хлеб.

Обыскивать людей противно, но надо. И хотя эсэсовцы не совсем люди, тем не менее противно.

— Хлеб несете? — по-немецки спрашиваю я, приближаясь к ним.

— О нет! — отвечает передний длинный немец в фуражке-финке; такую фуражку носил зимой начальник охраны каменоломни Шпац. — Нет, господа полицейские, мы не нуждаемся в хлебе, нам достаточно.

— Ihr habt genug was zu essen und was zu rauchen, nicht? У вас хватает еды и курева, не правда ли? — говорю я.

— Jawohl, Herr Polizist (Так точно, господин полицейский) — несколько удивленно, но и довольно говорит длинный немец.

Удивляется, стерва, моему хорошему произношению, а доволен тем, что, как кажется ему, я не буду обыскивать: замечание мое звучит почти по-приятельски, скрытой издевки он не улавливает.

Он прикладывает пальцы к козырьку и, наклонившись вперед, шагает дальше. Остальные пекари-немцы трогаются за ним.

— Момент! — говорю я.

— До завидания, — полуобернувшись, кивает мне длинный. — Мы много работали, давай, давай. Очень устал.

— Хальт! — снова командует Милованов.

Немцы приостанавливаются, недовольно гудят что-то.

— Доставьте хлеб! — приказываю я длинному.

Он, по-моему, старший пекарь... Знаем мы этих пекарей! В лагерях все называют себя поварами или пекарями.

— Но, господин полицейский... — произносит длинный; в его голосе проскальзывают тревога и раздражение.

Конечно, прихватил с собой буханку, я уверен. Для маленького гешефта, без этого они не могут.

— Никаких «нон!» — отвечаю ему привычной, столько раз слышанной формулой. — Или, может быть, у вас нет хлеба?

Длинный умоляет. Я вижу его враждебно поблескивающие глаза.

— Расстегните шинель.

Он не шевелится.

— Schnell (Быстро)!

Он не подчиняется. Я подхожу и нащупываю под его шинелью твердый предмет... Знаем мы эти штучки: втапнул в себя живот и засунул буханку за пояс. Дать бы ему по морде, эсэсовской втап!

— Reus damit (Вынимай)!

Он начинает медленно расстегивать пуговицы. Пальцы его дрожат.

— Los! — кричу я и ловлю себя на страшно: ведь я невольно или со злости подражаю тем, кто так кричал на нас в Маутхаузене. До чего же я докатился! Но остановиться уже не могу. — Los, fempro! — Будьте вы все трижды прокляты, вы, придумавшие войны и лагеря...

— Stillestanden!

Длинный немец в распахнутой шинели, держа буханку в руке, вытягивается и щелкает каблучками.

— Mützen ab! — ору я, чувствуя, что у меня вот-вот брызнут слезы.

Он стаскивает с головы фуражку-финку. Я отбiraю у него хлеб. «По морде его, по морде!» — шепчет во мне злой голос, но я стараюсь не слышать этого голоса.

— Im Gleichschritt... marsch!

Эсэсовцы-пекари в ногу шагают прочь, к своей зоне.

— Папиросу, закурить, — прошу я.

Милованов лезет искалеченной рукой в карман, очень спеша.

Луна заходит. Колочный забор подмигивает электрическими огоньками. Вскрикивает, как от боли, маневровый паровоз. И снова глубокая тишина — тишина отчаяния.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

**Н**ас двенадцать в этом вагоне. Двери закрыты снаружи, но колочный проволоки на окнах нет. Нар тоже нет, и они не нужны: мы свободно помещаемся на полу.

Я, старый путешественник, занимаю место у окна. Вместе со мной Милованов. В противоположном углу по нашей стороне — летчик Ампилогин со своими друзьями. В другом конце вагона — четверо беззубых ребят и три немолодых казаха.

Пока поезд стоит на станции, дожидаясь отправки, все льнут к окнам. На улице солнце, теплынь. Похоже, что на эту благодатную землю в середине ноября вернулось лето. Впрочем, не совсем лето: в пристанционном саду преобладает охра и багрянец, кое-где сад сквозит, но трава сочно-зеленая, как в июне.

На платформе под нами прохаживаются офицеры. Они в начищенных сапогах, со всеми регалиями, очень веселые. Половину нашего эшелона занимают демобилизованные, половину — репатрианты. Возможно, такое соседство кого-то и шокирует, но только не этих офицеров. Судя по орденским колодкам и нашивкам за ранения, они хорошо знают войну. Они смеются, рожаясь солнцу и тому, что едут домой, и разговаривают с нами. Наш часовой стеснительно жмется к кондукторской площадке — хотя чего бы ему жаться! В воинском эшелоне часовой — фигура нормальная.

Я слежу за дежурным по станции, который то и дело заглядывает в окошко диспетчерской, и вдруг вижу странную пару, выходящую из калитки пристанционного сада. Седовласый старик, в посконной, ниже колен рубашке, и юная девушка, очень юная, лет шестнадцати, с прекрасным смуглым личиком, с

большими, диковатыми, черными глазами. Она босая, в светлой расшитой короточке и длинном нарядном сарафане. Старик направляется к нашим офицерам, девушка — следом; подол ее сарафана колыхнется, а прямой стан неподвижен, тоненький и горделивый. И голова с черной, ниспадающей на плечи волной волос горделива.

Офицеры останавливаются и замирают. Старик кланяется им. Девушка наивно уставляется на них своими прекрасными непонимающими глазами.

— Ко-опите, — произносит, низко кланяясь, старик. — Сто рубли, сто. Ко-опите...

— Что купить? — слегка испуганно спрашивает молодой красивый капитан. Я вижу его загорелые скулы и голубые глаза, в них ярость и восхищение.

— Дочке ко-опите, любить. — И старик похлопывает девушку по спине.

Она доверчиво и диковато переводит взгляд на красивого капитана.

— Что за бред? — бормочет майор с эмблемами артиллериста.

— Сто, только сто-о, — объясняет старик. — Хороший dochka. Один раз любить — сто, ко-опите...

И низко кланяется, свесившая седину на лицо.

Скулы капитана наливаются кулаком.

— Фу, черт! Что, с ума сошел? Слушай, папаша, ты в своем уме?

За вагоном кто-то жирно хохочет. Майор-артиллерист сердито поворачивается.

А девушка все стоит, доверчивая и покорная. У меня, чувствуя, снимаются сердца.

Капитан торопливо лезет в карман, вынимает две красные бумажки, сует старику.

— На, отец, и иди, иди! Что ты, о чертенец, старик? Придумал что! Дочь у тебя красавица, посмотри, какая!

И сам глядит на нее смущенно и восторженно.

— До чего же дуевей людей! — качает головой майор.

Старик держит деньги в вытянутых руках, явно недоумевая.

— Не понимаешь? — спрашивает капитан. — Мы советские, понимаешь? Мы против этого. — Скулы его снова загораются. — Ты иди, иди! — Он легонько подталкивает старика, показывая на калитку. — Да береги дочку, смотри, какая она у тебя красавица! — Он ненатурально смеется и, должно быть, борясь с собой и что-то в себе преодолевая, вновь поднимает восторженно-испуганные глаза на девушку.

— Не хороший? — бормочет старик. Он действительно ничего не понимает.

— Купи хлеб, кукурузу, мамалыгу, что там еще у вас? Разумешь? — коверкая язык, точно от этого он становится понятнее румуну, продолжает капитан и опять ненатурально смеется.

А девушка, уминая, вдруг все понимает. Радостно кивнув, она, как королева, переступая маленькими босыми ногами, колыха подолом, с настороженным тоненьким прямым станом, идет обратно к калитке. Старик, низко поклонившись офицерам, — за ней. У калитки девушка оборачивается и дарит капитану улыбку. Такой улыбки нельзя забыть. Проживи хоть три жизни — не забудешь.

— Вторилась? А? Признавайся, — посмеиваясь уже, спрашивает майор-артиллерист капитана.

На то слово напал столбик — не может оторвать глаз от опустевшей калитки.

— Так-то, друг, а еще говорит, не бывает с первого взгляда... Но, однако, положенище. Ужас! Черт знает, до чего можно довести человека! Ну, да ладно. Закуси лучше.

Майор достаёт пачку «Казбека», первый берет папирсы и оглядывается на нас.

— Что, чудо, ребята?

— Чудо.

— Вот до чего довели простой народ бояре и немецко-фашистские захватчики, — назидательно заключает майор.

Пожилый офицер, тоже капитан, третий их товарищ, не проронивший до сих пор ни слова, сумрачно вздыхает и отворачивается от нашего окна.

— По вагонам! — доносится в голову состава.

## 2

**Н**ас двенадцать. И мы очень разные. Разных возрастов, разного жизненного опыта, разные даже по своей национальной принадлежности. Мы принимали разное участие в войне, по-разному вели себя в плену и теперь соответственно отнесены к разным категориям репатрируемых. У нас, видимо, нет ничего общего, кроме того, что мы едем в одном вагоне и неясно представляем себе свое будущее.

Отстукивая колеса, покачивается пол. Четыре разных группы по углам вагона покачиваются, сидя на полу. Я и Милованов — бывшие концлагерники, Ампилогин с двумя товарищами — «чистые» пленные, молодой казах Мухтар Мухтарович со своими земляками — не совсем «чистые»: они работали в какой-то вспомогательной немецкой команде, и наконец, Павло, Гришка и еще двое — бывшие рядовые власовцы.

Мы сидим в полудреме. Уже часа четыре в пути. Сквозь окошки в вагон сочится сизоватый свет. Солнечное пятно подожгло на моей стене и исчезло — это было с четверть часа назад. Начинает смеркаться.

Милованов, потянувшись, встает. Я слышу его неровные шаги, потом — тугой плеск струи в параше. Он возвращается, пристает на цыпочки у окна, смотрит и вдруг вскрикивает.

И вдруг все вскакивают на ноги и припадают к окнам. Я тоже, я взбираюсь на вещмешок, я вижу, как белеют от напряжения пальцы Милованова, вцепившиеся в край окошка.

И я больше не вижу ни Милованова, ни круглой головы Павло, как-то очутившегося рядом, ни вагона — ничего!

Передо мной в сизых сумерках река, крутой противоположный берег и покосившиеся в сторону реки деревянные дома.

Никто вслух не произносит этого слова, никто вообще ничего не произносит, но я спиною чувствую, кожей затылка своего чувствую какое-то поле напряжения, высокое напряжение сил, безмолваную, неподвижную бурю сил по бокам и позади себя, внутри вагона...

Здравствуй, Россия, здравствуй, мать! Вот мы и снова с тобой, в тебе, твоя сыновья, чистые, не совсем чистые и совсем нечистые. Здравствуй, родное небо, родная земля, родные покосившиеся домики!

Поезд, грохоча, перемахивает через мост, проносится мимо полустанка, и я вижу на запасном пути девушку, почти девочку, с большой, укутанной теплым платком головой и с голыми озябшими коленками. Она стоит с длинным молотком, каким вбивают косяки в шпалы, и смотрит на нас из-под руки.

Здравствуй, сестренка! Тебе, наверно, тяжело забивать косяки, мы видим. Ты пусти нас, мы будем забивать за тебя, мы всё, всё будем, ты только пусти и прости нас, сестренка!

Прости за все: за наше отступление, за плен, за минуты отчаяния, за то, что мы были просто людьми, а не сказочными богатырями...

Поезд врывается в лес. Надсадно свистит паровоз.

Мы опять рассаживаемся по своим углам.

— Павло, — говорю я, — подойди сюда.

Он сопит носом и не отвечает.

— Подойди на минутку, закурить дам.

— У меня е, не пойду.

Я сам подхожу к нему.

— Ты, Павло, рад, что снова увидел Россию?

— А чего мне радоваться? Чого я в ней поте-рял? — Он колупает свое колено и не глядит на меня.

— Бреешься, Павло, — говорит его дружок Гришка.

— А чего я брешу? — внезапно возмущается Павло и скидывает на Гришку упрямые серые глаза. — Чого брешу? Чого радоваться! Из немецкой неволи та на советскую каторгу.

Он усмехается искривившимися полными губами.

— Насчет каторги ты брось, — сдерживаясь, говорю я, — Никакой каторги у нас нет.

— Слушай, дай ты ему по зубам! — заезвевшим от гнева голосом говорит Милованов. — Вот подлоги! Павло, насупившись, поворачивается к нему.

— Все мы сейчас подлоги. И нам и вам — одна честь.

Милованов, покачиваясь, подходит к власовцам.

— Как ты сказал? Одна честь?

— Но, но! — бормочет Павло, с опасной поглядывая почему-то на сапоги Милованова. — Не в поли-циях теперь.

Он так и говорит, — «в полициях», а не «в полицей-ских», желая послышнее уязвить нас.

— Эх, паскуда! — вскрикивает Милованов.

Мелькает его клешия, раздается треск пощечины. Ребята-власовцы вскакивают, упираются спиной в стенку, плечом друг к другу. Кулаки на уровне груди, в глазах — злость.

— Эй! — кричит Ампилогин (он старший вагона). — На губы захотели!

Но я уже чувствую противную мякоть тела под своим кулаком. И в ту же секунду чувствую крепкий удар по челюсти: это меня зацепили справа.

— Р-раз! — приговаривает Милованов.

— Р-раз! — повторяю я.

Стучат затылки по стене. Трещат наши скулы. Ничего, к боли мы привычные!

Чьи-то руки хватают меня сзади и оттаскивают на середину вагона.

— Стыдно! — кричит Ампилогин. — В такие-то минуты!

...Мы с Миловановым сидим на своих вещмешках, натуженно дыша и ползевая. Пусть только еще откроют рот, власовские солдаки!

К нам придвигается Ампилогин.

— На закрутку не одолжишь? — спрашивает он Милованова.

— А ты что востраля? Кто тебя просил?

— Так ведь беспорядок, ребята. Вы же пример должны подавать, мы же знаем, откуда вы...

— В том-то и дело, провокационных разговорчи-ков мы здесь не потеряли. Понял, старшой? — гово-рит Милованов.

— Понял-то понял, но все-таки вы напрасно. Ру-коприкладством ничего не докажешь, можно толь-ко больше озлобить их.

Л етат километры, летят дни. Для нас, сидящих в вагоне, стирается грань между временем и пространством: дни — это километры, километры — дни. Почему бы жизнь человеческую, проведенную на колесах, не измерять километрами?

И еще одно превращение. За неполную неделю пути на наших глазах сменилось три времени года: когда мы выезжали, было лето, через два дня за окнами пронеслись глубокая осень, а теперь уже зима.

Холодно, тряско, и надоело. Все устали. Хочется побыстрее ступить на твердую землю и увидеть неподвижные дома, деревья, вновь ощутить себя неким центром, вокруг которого равномерно распределяется свет или тьма, но обязательно вокруг, а не с одной стороны, как теперь.

Дело в том, что в вагоне осталось одно окошко, и то перегородили колотой. Остальные забиты досками. Так теплее, меньше сквозняков, но вагон делается похожим на тюремную камеру...

Минувшей ночью мы пересекли Волгу. Теперь поезд забирает все дальше



на северо-восток. Говорят, что нас везут на Урал.

Сейчас утро. Мы сидим по своим углам, поживеем и ждем остановки и завтрака.

— Давай, что ли, пусть и нам погадает, — говорит мне Ампилогин, кутаясь в потертую пилотскую кожанку. У него на подбородке черная щетина, глаза запали и смотрят тоскливо.

— Давай. — Я поднимаюсь и иду к пожилому казачу Мухтару Мухтаровичу и прошу его погадать мне.

Пока он совершает молитву, поджав калачиком ноги и сверху вниз оглаживая ладонями лицо, я гляжу на серое небо, бегущее за колющим крестом окна.

Конечно, это лишь забава, способ убить время — гадание, но все же любопытно. Казахи считают Мухтара Мухтаровича саятм, чуть ли не пророком. Он еще в лагере военнопленных якобы предсказал, когда кончится война. Они спокойны: знают, что с ними будет, хотя нам и не говорят. Мухтар Мухтарович тоже всегда спокоен. На его лице нет морщин,

глаза умные, ясные, и он очень чистоплотен, каждый день чистит зубы. Своеобразная личность!

— Пожалуйста, — отвечает мне Мухтар Мухтарович, закончив молиться. Сейчас он особенно умиротворенный, с тихим сиянием на лице.

Я опускаюсь рядом на корточки.

Мухтар Мухтарович расстилает перед собой белую тряпицу, достает небольшой мешочек и вытряхивает из него сухую глянцевою фасоль. Я вижу на ней какие-то крапинки — вообще-то обыкновен-



ная фасоль. Он протягивает раскрытые ладони с длинными пальцами, слегка шевелит ими и делает плавные, как бы перящие движения. Я смотрю во всю, и мне кажется, что фасолины капелюку двигаются и переворачиваются, хотя — я вижу это отчетливо — он не прикасается к ним. Зрительная иллюзия, должно быть.

Мухтар Мухтарович на минуту прикрывает глаза, лицо его напрягается и застывает. Потом, открыв глаза, разводит руки и, вглядываясь в крапинки на фасоли, говорит едва слышно и монотонно:

— Число твоих лет нечетное, число членов семьи четное. Один член семьи приемный...

Я поражен: мне двадцать один год — число нечетное, наша семья состояла из восьми человек — четное; один член нашей семьи приемный — моя сестра Мария. Вот чудо-то! С числами еще могло быть случайное совпадение, но приемный член семьи — невероятно!

— Документы твои хранятся в большом городе... — как сквозь сон вещает Мухтар Мухтарович, и опять я поражаюсь: правда, аттестат отличника и опись

рые мои справки должны храниться в Ленинграде, в институте.

— На левой руке твоей, у плеча, шрам («Верно, верно, ранение»), в твоём мешке есть пестрый костюм и книга («Тоже верно. Откуда, дьявол поберёг, он знает?»).

Мухтар Мухтарович снова закрывает глаза и сосредоточивается. Теперь он скажет главное: что ждёт меня. Он всегда так делает: сперва скажет, что с человеком было, что у него есть, а затем — что будет, я змечал. И удивительно, я чувствую как уходящим бьётся мое сердце.

А Мухтар Мухтарович уже вновь смотрит на фалосины. И опять монотонно, как во сне, журчит его голос:

— Ещё год — и вернешься домой. Будешь большим человеком. Хорошо жить будешь.

Я страшно рад, я потрясен, и я ему верю. Я обязательно вернусь домой, пусть через год. Я обязательно буду хорошо жить, он прав. Он прав, но что же это такое? А может, наука когда-нибудь объяснит это явление?

Благодарить за гадание не полагается. Я возмущаюсь до себ.

Милованов посмеивается. Он единственный, кому еще не гадал Мухтар Мухтарович (Ампилогин тем временем уже сидит на корточках перед «пророком»). И вот ведь что еще интересно: всем власовцам Мухтар Мухтарович предсказал встречу с домом лишь по прошествии семи лет, а «чистыми» пленными — через год, как и мне.

— Чепуха! — заявляет Милованов, но тоже глядит во все глаза на Мухтара Мухтаровича.

— Сходи, Колька, ничего не потеряешь.

— Нет. — А сам не сводит взгляда с тихо сияющего лица казаха.

— Сходи, не мучайся.

— Откуда ты взял, что я мучаюсь? Я жрать хочу... Да он больше и не будет гадать. Теперь разве лишь после вечерней молитвы.

И то правильно. Мухтар Мухтарович гадает только утром и вечером и не больше, чем двумя криду. Казаки говорят, что он очень устает. Действительно, всякий раз после гадания Мухтар Мухтарович ложится на боковую.

Я вижу чуть страдальческую мину на небритом лице Ампилогина. Потом вижу его широкую улыбку, глубокие морщины бегут от самого рта до ушей. Он выпрямляется и идет к нам.

— Год? — спрашивает Милованов.

— Даже поменьше, — отвечает Ампилогин.

В его глазах уже нет тоски... Славный все-таки Мухтар Мухтарович! И если он даже мистифицирует нас — хотя для чего бы ему нас мистифицировать? — он все равно славный. Человеку надо верить в свое будущее.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

1

**Ч**ерный, присыпанный снегом лес, мгlistое небо, разбитая дорога, и на ней — сотни две устало бредущих людей с серыми, несвежими лицами. По обе стороны дороги — другие люди, в полушубках, с винтовками, месят ногами грязный снег, угрюмо молчат. Дорога как бесконечность, небо как грязный снег.

Это этап. Не марш, не переход, даже не «транспорти», как было недавно, а этап. Мы, устало бредущие, не колонна, не строй, а «партия». Наши конвоиры не конвоиры: они называют себя «стрелками».

Все злоебное ново, непривычно и до ужаса тяжело. Правда, еще теплится надежда, что нас разозлят по штрафным батальонам (был такой слух), но с каждым километром пути и этой надежды все меньше: кругом безлюдье, никаких признаков близкого нахождения войск; наоборот, нам дважды попадаются наскрест настоящие арестанты в длинных стеганых тужурках, с быстрими, звероватыми глазами.

Густеют сумерки. Начинают заплетаться от усталости ноги, сохнет во рту. Наконец мы видим недалеко от дороги заочное бревенчатое строение с резной башенкой, и нам приказывают остановиться возле него.

Это строение удивительно! Будто казачья сторожевая изба из времен Ермака Тимофеевича. Шестнадцатый век... Лучше не удивляться!

В избе нары и чад — я не удивляюсь. Окон нет — что же удивляться: изба курная. Давя друг друга, лезем на нары и в темноте, в холодном едком дыму, не снимая вещмешков, укладываемся. Стрелки остаются снаружи.

Не надо удивляться. Ничему не надо удивляться. Так лучше. Хочется только, сжав зубы и закрыв лицо шапкой, зевнуть.

Как волку. Когда в морозную ночь, голодный, он вздевает мохнатую морду к звездному небу и воет, жалется...

Но человек не волк. Человек терпит. Немного разговаривают:

— Четыре куба на лесоповале я дам. Напилю. Тут, земляк, надо усвоить одно, дал норму — большая горбушка, недовыполнил — меньше горбушка. А меньше горбушка — меньше и сделаешь. А меньше сделаешь — еще меньше горбушка. И так пока-тишься день ото дня, пока тебя за ворота не будут вывалиживать за шиворот, как откатчик, пока не дойдешь...

— Тоже доходяги и тут? — спрашивает испуганный голос.

— Обязательно. Это от нас и пошло — «доходяги», — отвечает первый голос, уверенный и грубый. — Так что вкладывай силушку, не жалея, в первый же день. Нормы в лагере — это все, это бог, И жизнь... Понимай это в виду, землячок. Значит, все-таки лагерь. Лагерь!..

Рядом со мной Ампилогин. Милованов с Мухтаром Мухтаровичем оставили в Соликамске, положили в госпиталь. Теперь я здесь один из Мухтаузен. Ампилогин мне ближе других, мы с ним держимся вместе.

— Слышал? — говорю я ему.

— Да, — отвечает он. — А что особенного? Будем проходить проверку и работать. Не понимаю, почему народ паникует. Там ведь хуже было...

Не понимает. Или не желает понимать.

Темнота. Дым постепенно развевается... А чего тут не понимать? Каждый из нас, бывших пленник, знает, что такое человек за проволокой. И Ампилогин, конечно, знает это.

Человек за проволокой, чтобы выжить, должен бороться (против кого здесь бороться?! или стать зверем. Исключения редки. По крайней мере так было до сих пор...

— Нет, мне не напилить столько, — шепчет испуганный голос. — Пропаду, честное слово.

— И пропадешь, — даже будто злорадно говорят уверенный.

— Не напилить мне нормы, не напилить.  
— А я напил. Я спокойнейшему.  
— Что же мне-то делать? Я этим... доходягой-то три раза у немцев был. До сей поры слабый.  
— А слабый—туда тебе и дорога. Хоть ты и земляк мне.

И я чувствую, как что-то холодное, отчаянное входит в мою душу.

— Послушай, ты!—говорю я в сторону уверенного голоса.— Не пугай слабых... Не пугай, зараза, а то придушу!

Настает вдруг абсолютная тишина.

Быть зверем? Я был бы, наверно, ловким зверем...

Но ведь это и есть самое страшное—превратиться в зверя. Я не хочу быть зверем. За что меня ведут в лагерь?

— Это что за комиссар?—опомнившись, спрашивает уверенный голос.

— Брось, не связывайся,—еще тише шепчет испуганный.— Это концлагерник, еще тише.

— Концлагерник!—Уверенный, кажется, поразил.— Как же это ты... как ты-то сюда попал?

— Не пугай!—повторяю я.

— Да я, собственно, не пугаю, я наоборот. А ты что... другое что-нибудь знаешь?

— Знаю,—говорю я.—Никто не пропадет. Мы будем проходить проверку и работать. И вернемся домой, кто не подкачал в плену.

— И впрямь комиссар,—бормочет, неожиданно смягчась, уверенный.

— А когда, не скажете?—спрашивает робкий.

— Через год, а некоторые еще раньше.

И я вновь диалюс себе, как тогда в Цветле, при разговоре с Афоней: говорю то, во что сам почти не верю, лишь хочу верить, очень хочу.

— Год-то многовато,—пробует уже торговаться робкий.

— Давайте спать, товарищи,—предлагает Ампилогин.

— Еще год!—вздыхает робкий.

— Ну, полно. Спать так спать,—говорит уверенный, шепчура в темноте мешком.

Я тоже стаскиваю со спины вещешок и кладу в изголовье.

## 2

Опять шагаем усталые. Опять мглистое небо, и грязный снег, и вороненные стволы винтовок за плечами стрелков.

Лагерь появляется перед глазами внезапно, хотя мы все время и ждали его. Обрывается гать, рдеет лесок... и вот он, наш лагерь. И опять, как вчера, первое чувство—удивление.

Что это? Стойбище алячий или пермяков? Древнее русское городище? Какой это век?

Я вижу тын, нет, не тын, а плотный частокол из неошкуренных бревен, заостренных сверху. И сколоченную из досок вышкушку шатром. И тяжелые, заиндевевшие ворота. И около них дозорного в тулупе—ему бы алебарду в руки, а не винтовку образца 1891/30 годов! И какие-то призмистые амбарчики с висящими пудовыми замками...

Но глазеть некогда. Нас пересчитывают, и мы проходим в открываемые со скрипом ворота.

Нервная, с обледенелыми пенками площадь, обмазанная глиной ветхие жилища с крохотными окнами, и только вдоль бревенчатого частокола, метрах в пяти от него, нечто от настоящего лагеря—колючая проволока.

Она натянута на невысоких столбиках, стальная колючка. Она несколько мирит меня с этим городищем. Дозорные в шатровых вышках обязаны стрелять в каждого, кто переступит проволоку, войдет в запретную зону. Это уже похоже на лагерь.

По команде поворачиваемся. Перед нами трое в полувоенной одежде, очевидно, начальство. Любопытно, любопытно! Я ловлю себя на том, что любопытствую: мне интересно, что это такое, наш лагерь. Странное создание—человек!

Мне бы сейчас совсем о другом думать, другое чувствовать, а я любопытствую... Наш лагерь? Нет, это в самом деле интересно.

Один из полувоенных выступает вперед. У него конопатое лицо с жесткими складками у рта.

— Что ж, с прибытием, значит,—говорит он, обращаясь к нам. Голос прокурный, низкий, но в нем ни злости, ни издевки, в общем, обычно и даже довольно вежливо.

— Ну, так, ребята,—подождав немного, продолжает он.—Давайте, чтобы все было ясно с самого начала. Вы бывшие фронтовики, теперь репатрианты—не заключенные, я подчеркиваю, не заключенные,—я ваш начальник, тоже фронтовик, правда, не репатриант.—Он чуть усмехается твердыми губами.—Наше место называется командировка «Почта-тозая». Пока ваши дела разбирают в соответствующих организациях, вы будете работать. Ждем от вас, как от советских граждан, фронтовиков, сознательного отношения к труду. И дисциплины!—Последнее слово он произносит по складам.—Какие будут вопросы?

Удивительный начальник лагеря! Неужели у нас все такие начальники лагерей?

— Какая норма на повале? Сколько кубиков?—спрашивает вчерашний уверенный голос.

Начальник ищет глазами спрашивающего. Снова чуть усмехается.

— Бывал прежде!

— Приходилось.

— Расчет норм узнаете у технорука.—Начальник кивает на худощавого краснолицего человека с маленькими злыми глазами.—Вот технорук Курганов, он ведает всеми нормами.

— А как с питанием?—огромно спрашивает Ампилогин.

Начальник бросает на него зоркий взгляд.

— До восьмисот граммов хлеба. Три раза горячее... Летчик, что ли?

— Летчик-истребитель.

— Питание удовлетворительное,—говорит начальник уже для всех.—Если вопросов больше не имеется, размещайтесь по баракам и отдыхайте. В двенадцать—обед, ужин—после возвращения из леса бригад. Все.

Хитрый он, думаю я. Уклончиво отвечает... И все-таки начало обнадеживающее. И главное, совсем-совсем не похоже на то, что было прежде...

Мы сидим в бараке вокруг тесового стола и хлебем щи. Они весьма оригинальны, эти щи: в горячей воде плавают несколько скользких лепестков капусты, несколько перловых крупинки, и пахнет рыбой. Хлеб, как глина, чистыста граммов.

— Ешь вода и пей вода, спать не будешь никогда,—острит кто-то на нарах.

За столом, кроме Ампилогина и меня, сидят власовцы Павел и Гришка, щуплый езербайджанец Шамил, похожий на одного моего фронтового товарища, погибшего под Ржевом, лейтенант Володык, умуdivившийся попасть в плен за три месяца до конца войны, обладатель уверенного голоса дебелий ларняга Семен и его робкий земляк Ванятин.

— Так кто же из нас прав? А? — зачиная котелок, вопрошает Семен. — Товарищ комиссар али я? Каков твой взгляд, Ванятин?

Тот вздыхает, задумчиво глядя в пустой котелок: не наелся.

— Что же молчишь? Скусы были щи али нет? На этих щях, братишка, далеко-о уедешь! Не то что нирма — половины не вывезешь. Об чем я тебе и докладывал вчера.

«Попробовал бы ты маутхаузенской брюквы», — мелькает у меня.

— А вообще мы оба вроде правы: будет и проверка и работа — начальник подтвердил, — и домой, конечно, возвратимся... кто с этих щей ножки не протанет. — Семен аскидывает на меня унылые, насмешливые глаза. — Вот объясни, товарищ комиссар... Вот Ванятин, земляк мой, у немцев не служил, в полициях не был. Вот выйдет приказ: отпустить Ванятина домой, ачистую. А Ванятино с и нет. Ванятинто с этих щей, потягав пилу, взял да и помер, не дожидаясь приказа. Как тут быть?

— Брось! — говорю я. — Если Ванятин болен или слаб, никто его на тяжелую работу не пошлет. Мы не у немцев.

— Из немецких лагерей в советские лагеря, — принимается опять за свое Павло. — Разве ж я тогда не правду казав?

— А ты щип! Видел ты немецкие лагеря только с другой стороны забора, — хмуро обрывает его Ампиголин...

Ночь подбирается незаметно. Съез на ужин жидкий овощной супчик и поговорие со здешними «старожилками», вернувшимися с работы, мы ложимся спать. Не знаю, сколько проходит времени — час, может быть, два или три, — и вдруг я ощущаю, сонный еще, что тело мое горит. Словно его обожгли горчичниками, когда горчичники еще не жгут, а только начинают забирать: пощипывают и покалывают.

Запускаю руку за ворот, пальцы хватают что-то мягкое — клоп, конечно! С отращиванием тру руку о шинель, распространяется сухая едкая вонь. А тело горит... Чешусь, ловлю, давило. Сколько же их здесь, этих тварей?

Слышу, как тревожно ворочается во сне Ампиголин, тоже чешется, вздыхает. И другие соседи чешутся, ловят, вздыхают. Вся секция вздыхает, потанывает, ловит и давит клопов.

— Так вони ж зажрут нас! — не выдержав, вопит Павло. — Зьедят до костей!

— Зантите свет, — просит кто-то.

У двери щелкают выключателем, но света нет.

— Семен, а Семен, — канючит в темноте Ванятин. — Семен, может, ты знаешь какое-нито средство против них? А, Семен?

Но Семен не отвечает. Он храпит...

Утром нас ведут на медосмотр, днем составляют списки бригад, а вечером в столовой объявляют, что с завтрашнего дня мы приступаем к работе.

лагерник. Остро льется в легкие разреженный воздух; сейчас лучше не открывать рта и не разговаривать, я знаю. Путь наш не близок, километров пять, и мы идем в ногу — так легче, я знаю. Работа будет тяжелой — и я это знаю, мне она не внове.

Наверно, мне теперь уже ничего не внове. Я иду и чувствую себя попеременно то солдатом, шагающим куда-то на передний край, то узником Маутхаузена, который должен во что бы то ни стало выстоять, то просто рабочим-лесорубом — мне пришлось быть и лесорубом, правда, недолго.

Лесные массивы сменяются заснеженными вырубками, вырубки — молодым частым подростом; крепнет утренний свет, и вот перед нами опять плотный застывший лес...

— Все понятно, комиссар! — спрашивает меня Семен. Он в хорошей телогрейке, в валенках, в прочных рукавицах: он бригадир.

— Понятно, понятно, — говорю я.

Он еще раз оглядывает мое рабочее место, улыбается, весело матерится и бредет по сугробам к Ванятину. Семен не только бригадир, но и инструктор: он должен обучить нас непременному искусству валики леса.

Разгребая деревянной лопатой снег вокруг колы, делаю на положенной высоте надруб и берусь за пилу. Шагаю в двадцати метрах сухощавое красное лицо технорука Курганова. Он стоит на узкой снежной дорожке, алолке, и, вероятно, наблюдает за нами... Пусть наблюдает, мне-то что!

Сдвину шалку на затылок и упершись левым коленом в ствол, отставляю подальше правую ногу, сгибаюсь, прикладывая стальные зубья пилы к дереву и, точно веду ее сперва на себя, делаю первый взмах. А потом осторожно и плавно — от себя, потом ровно, без нажима, чуть расслабляясь — на себя, и вновь — теперь во весь размах — от себя.

Пила поет «Жиг-жиг, жиг-жиг» — мелкие желтоватые опилки осыпают носки сапог. Пахнет скипидаром, чуть-чуть грустно пахнет, кажется.

А было так. На исходе первой недели войны я пришел в глухой северный поселок повидаться с сестрой. Муж сестры, молодой инженер, работавший техноруком лесопункта, сразу повел меня на пожарную вышку, и оттуда, сверху, мы долго смотрели на туманно-зеленый лесной океан. Помню, тогда именно у меня созрело решение пойти, не дожидаясь призыва, на фронт, и я сказал об этом Сергею. Он, ничего не ответив мне, предложил вместе поехать на делянку. В то время на Севере еще только вводилась лучковая пила, и Сергей дня за четыре научил меня владеть ею. Это был прекрасный спорт в дополнение к акробатике и футболу, которыми я увлекался... Позднее, когда мы с сестрой проводили Сергея на войну, мне пришлось на том же лесопункте забавлять ржавые костыли в шпалы узкоколейки, а затем недели две ходить с бригадой вальщиков в лес.

«Жиг-жиг, жиг-жиг», — поет лучковая пила. Носки сапог уже густо запорошены опилками. Я приостанавливаюсь, сую рукавицы за пояс, трогаю пальцами блестящее полотно пилы. Оно теплое. И опилки чуть теплые, и нежные, и очень мягкие на ощупь. И пахнут скипидаром.

«Жиг-жиг, жиг-жиг»... Начинает поламывать поясницу и плечи. «Жиг-жиг, жиг-жиг»... Ощущаю легкую испарину на спине. «Жиг-жиг, жиг-жиг»...

Это уже не спорт. Это — необходимость. Сама жизнь... Неужели Порогову, Шаншееву, Ивану Михеевичу приходится сейчас так же, под такой же

**Ч**уть брезжит рассвет. Звонко хрустит снег под ногами. Застывший в морозном серебре лес, как сказка. Ледяное безмолвие, серо-зеленые, голубоватые, стальные тона. Тишь. И только звонко друстит снег под ногами.

У меня за плечом лучковая пила, на спине за поясом топор, сбоку — котелок. Все пригнано, ничего не болтается и не гремит: я старый солдат, старый

сосной, в снегу, на морозе, таскать  
взад и вперед пилу, таскать до ломо-  
ты в плечах, до испарины, до горяче-  
го пота!

От моей спины, чувствую, валит  
пар, я взмок, но упрямо продол-  
жаю резать, и вот уже накалившее  
стальное полотно, перевалив середи-  
ну, приближается к верхней кромке  
надруба. Теперь лезвие топора в  
прорезанную щель, чтобы не зажи-  
мало пилу, еще несколько взма-  
хов — и, кажется, можно валить.

Однако силы иссякли. Я вытираю  
мокрое лицо. Ничего. Капельку пе-  
редохну и начну валить.

Поднимаю голову. Морозное соли-  
ще, яркий снег, синие тени. Слышу  
свистящий шум, длинный треск, по-  
том гул упавшего дерева. По-мое-  
му, это Семен: его участок леса,  
«ласека», направо от меня.

Раздвигаются кусты, ко мне, весь в  
снегу, подходит технорук Курганов.  
— В чем дело! За чем остано-  
ва! — спрашивает он.

— Сейчас буду валить.

— Валите. Вы же не новичок!

Уже заметил!..

Упираюсь деревянной лопатой в  
ствол, тужусь изо всех сил.

— Раскачивайте, раскачивайте! —  
выделяя «ч», подсказывает Курганов  
и сам хватается повыше моих рук за  
черенок лопаты.

Вдвоем, конечно, легче... Огромный  
бронзовый ствол чуточно колеблет-  
ся, зеленая макушка подрагивает в  
голубом небе, лопата то напрягается  
и давит на плечо, то, уходя за ство-  
лом, ослабевает в руках, и вдруг ма-  
кушка страгмгав несется наискось  
по голубизне, и едва я успеваю от-  
скокить, как раздается четкий треск,  
свист и глухой, тяжелый грохот. В  
воздух взмывается снежная пыль.  
Снежная пыль, оседая, горит на соли-  
ще, мельтешит, посверкивает и с  
шуршанием опадает на зеленые ще-  
тки ветвей. Красота все-таки!

— Спасибо, — говорю я Курганову.  
Он усмехается.

— Наденьте рукавицы и принимай-  
тесь за сучья. Не порубите ногу...  
Где учились пилить?

— На лесопункте. До  
армии еще.

— Рассчитывайте силы.  
День-то весь впереди.  
Костер разводить може-  
те!

— Как-нибудь.

— В этой машине с чет-  
верть куба, не меньше.  
Отличная древесина! —  
неожиданно весело про-  
износит Курганов, глядя  
на поваленное дерево. —  
Десяток таких хлыстов,  
и день прожит не на-  
прасно.



Он вдруг настороженно поворачивает голову, прислушивается и тотчас уходит.

Я срезаю пилой козырек на торце, затем начинаю обрубать сучья.

4

**Г**лухие удары железа о рельс возвещают об обеде.

Натягиваю поверх стеганки шинель, подпоясываюсь, оглядываю свой участок. Сделано, увы, не много: в раскиданных и примятых сугробах лежат три сосны с обрубленными сучьями — три хлыста — и две кучи тлеющей сырой хвои. Надо заготовить еще хотя бы столько, да раскряжевать хлысты — распилить их на бревна, да подкатить к волоку, а полдня уже нет. Хорошо, что нам, пока обучаемся, не устанавливают нормы.

И все же настроение бодрее. Славная, в общем, это штука — работа! Лес, снег, солнце... Настоящий топор. Настоящие сосны, а из них — бревна, а из бревен — доски, бумага, крепление для шхет... Ноздри жадно вбирают запахи горьковатого дыма, смолы, спиртовой дух стынущих на морозе опилок. Все бы ничего, побольше бы только хлеба, да погуще суп, да, пожалуй, убрать бы стрелков, да вывести в бараках клопов — совсем пустяки!..

Едим под тесовым навесом за длинным, сколоченным из неоструганных досок столом. Власовец Гришка кашеварит, Павло помогает ему. Как они, сколочив, влезли на кухню, непонятно.

Нпротив меня Ванятин, рядом с ним Семен. Оба раскрасневшиеся, усталые, но тоже довольные. У Ванятинна на плоском лице цветут васильковые глаза.

— Сколько выдал, Ванятин? — спрашиваю я.

— Два дерева. А вы?

— Три. А ты, Семен?

— Я поболье. Хучь и бегу по делянкам, как пес.

Семен скашивает взгляд на будку кашеваров. — Как ты полагаешь, комиссар, должны нам добавить?

— Должны.

— Тогда попробуем. — Семен, облинув ложку, решительно поднимается.

— Обожди, — просит Ванятин, поспешно заскребывая со дна. — Айн момент!

А глаза его цветут. Может быть, тоже истосковался по настоящей работе на родной земле?

И у других людей доброе настроение, я вижу. Хоть и тяжел труд и жидковата каша.

У дощатой будки — руки в карманах — стоит техноруж. Опять наблюдает. Мы подходим к раздаточному окошку.

— Добавьте им, — кивнув на нас, говорит в окошко Курганов. Он, между прочим, тоже заключенный.

— Так же ж свои! — выглядывая наружу, широко улыбается Павло.

Мы, трое, получаем еще по полчерпака. За нами быстро выстраивается хвост.

— Пошли, что ль, посидим у костра, покурим, — мечтательно предлагает Ванятин.

Идем на мою «пасеку» — она ближе к кухне. Ванятин полпешеем сдвигает тлеющие хвойные лапы, потом, встав на четвереньки, дует на угольки, подкладывает сухих веточек, и огонь жарким веселым зверем набрасывается на сучья.

— Все ж таки ты, Сеня, смурый человек, — присев на поваленную сосну, говорит Ванятин. — И ничего такого ужасного тут нету, харчи, правда, слабоваты,

ничего не скажешь, но так, чтобы протянуть ноги, нет. Неверно это!

Лицо его от огня становится пурпурным, самокрутку он держит большим и указательным пальцами, сомкнув их колечком и отставляя темный мизинец, похожий на припаленный в костре сучок.

Семен не отвечает: видно, думает о своем.

— Пущай год, я согласен, — говорит Ванятин. — Работы я не боюсь. Какись, все время, сколько себя помню, и у нас в деревне, и на действительной, и на фронте, а в особенности в плену — токо тяжелую работу работал. Всю жисть. И с питанием тоже, сам знаешь. В окружении, бываляла, палых лошадей из снега выкапывали и кушали... а я на фронте минометную плиту на горбу таскал, тяжелая плита была, страх! И не пропал. И до сей поры живую. И буду...

Он закашливается, сплевывает под ноги и, умолкнув, отрешенно глядит в огонь.

В эту минуту мне почему-то кажется, что с ним будет плохо. Этого не объяснишь, но я почти наверняка знаю — плохо.

— У вас дома семья, дети? — спрашиваю я.

— А как же! — В глазах Ванятинна мгновенное оживление сменяется грустью, точно дымка дальних дорог обволакивает их. — Девочка-дочка, четыре годика ей было, когда уходил, а теперь ей восемь, в школу, должно, пошла. А сынок махонький, годочка в те поры еще не было, а ныне-то пять, пять уже сравнялся! Вот какая радость! Сыни! Плохо, правда, помню его. — Он опять умолкает, потом, медленно подняв глаза, пылливо глядит на меня. — Болтали, будто нам скоро разрешат переписку. Слыхали? Я уж и гугагой записся.

— Это хорошо, — говорю я. — Надо обязательно написать. Я помогу вам.

— Вот за это спасибо! — Ванятин весь просветляется. — Сам-то я не очень грамотен, а тоже охота, чтобы и с чувствами и, тому подобное.

— Пошли работать, — вдруг мрачно говорит Семен и встает.

И как раз начинают бить в подвешенный рельс.

Ванятин тоже встает, отряхивает сади оттопырившиеся пузиром ватные штаны, а васильковые глаза его снова цветут, но нехорошим, нездешним цветом.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

**О**н гибнет ранним декабрьским утром.

Вековая ель, развернувшись при падении, колом ударила его в грудь. Когда подбежали к нему, он лежал на спине, в уголке его черных губ дрожала кровь, а глаза уже стекленели...

Письмо домой он так и не успел написать. И, наверно, к лучшему. Пусть думают девочка-дочка и подрастающий радость-сын, что погиб их отец на фронте смертью храбрых, защищая Родину.

У меня немеет на морозе левое предплечье, пробитое когда-то немецкой пулей. Рука заметно слабеет, и я боюсь — сорвется топор или бревно с ваги или, еще хуже, — повалится дерево не туда, куда надо, и будет со мной то же, что и с Ванятинным.

В понедельник, до развода, я отправляюсь в медпункт. Вдоль беранной завалинки в темноте вытянулась длинная очередь. Люди толпятся, похлопывают себя по бокам драными варежками, зябко зевают. Мимо, поскрипывая сапогами, проходит плотная фигура начальника командировки.

— Сейчас дело пойдет живее,— произносит кто-то с невеселой усмешкой в голосе.

И верно. Двери медпункта начинают открываться все чаще. Все чаще, тихо матерясь, бредут обратно люди в рваных варежках. Очередь движется, и я уже слышу за стеной проклятия бас начальника, выговаривающего кому-то.

Захожу и я. Обледенелое оконце, керосиновая лампа на небеленой печке, стол, фельдшер в коротком застиранном халате, надетом поверх ватника. Один табурет у стола свободен, на другом сидит начальник.

В углу на скамье человек в мохнатой шапке, согнувшись, вероятно, держит градусник.

— Простуда? Понос?— спрашивает, не поворачивая ко мне головы, фельдшер и лезет в картонную коробку, доставая какие-то порошки.

— Рука,— говорю я.

— Порубил?— Порошки опускаются снова в коробку, толстые пальцы фельдшера тянутся к темной бутылке, видимо, с мергачевой.

— У меня была ранена рука, немеет сейчас на холоде,— объясняю я.

Темные круглые глаза фельдшера останавливаются на мне. Толстые пальцы разгибаются, не дотянувшись до бутылки.

— Не понял.

— Немеет левая рука, раненая,— объясняю я еще раз и встречаюсь со строгим, колючим взглядом начальника.

— Ну? И что же вы хотите?— отрывисто спрашивает он.— Немеет на холоде— потрите, погрейте у костра, а лучше всего— работой. Вальщик?

— Да.

— Стыдно! А еще фронтовик называется... Давайте, не задерживайте других!

— Так слабеет рука, гражданин начальник, а я на повале,— еще не сдаюся я.

— Вот прими, прими,— отчего-то шепотом, торопливо говорит фельдшер, протягивая мне белую таблетку.— Это пирамидон, поможет, прими.

— Да зачем мне ваш пирамидон? У меня нет болей,— говорю я и слышу дребезжащие удары бола о железный диск: сигнал на развод.

В этот момент входит технорук Курганов, холодный, розовый, в твердых, припорошенных снегом валенках.

— Много их еще там?— нетерпеливо спрашивает его начальник.

— Двое, по-моему.— Курганов приоткрывает дверь.— Двое... Вы, кажется, сегодня собирались присутствовать на разводе?— говорит он начальнику, потом смотрит на меня.

А фельдшер все держит в протянутых пальцах таблетку.

— Рука у него, видите ли, немеет,— усмехается начальник,— холода боится!— Он надавливает шапку на колючие глаза и поднимается с табурета.— Давай, фронтовик, давай! Работа не лечит. И советую, топай поскорей, пока в откатники не записали.

Фельдшер наконец прячет таблетку в карман.

— Он из этой бригады, где было... с Ванитиным,— негромко говорит Курганов начальнику.— Пусть осматривает его, а то как бы опять худа не было.

— Либеральничаете, Курганов, либеральничаете,

еще,— вновь усмехается начальник и толкает дверь.— Давайте, кто там, заходите... Заходите же! Но за дверь уже никого нет.

— Вот они все какие больные!— раздраженно произносит начальник и бросает фельдшеру:— Осмотри его руку.

Я остаюсь с фельдшером и с согнутым человеком в мохнатой шапке. Фельдшер берет у него градусник, подносит к лампе, качает головой.

— Иди в барак, ложись и укройся потеплее. Сможешь один дойти!

— Дойду,— шипит человек и, горбясь, плетется к выходу.

Фельдшер сует ему на ходу какие-то порошки.

Потом мы с фельдшером молча глядим друг на друга.

— Так что,— спрашивает он,— электромассаж и парафиновые ванны тебе требуются или просто спать пойдешь?

— Посмотрите руку,— говорю я.

Фельдшер долго мнет мышцы моего плеча с двумя круглыми узловатыми шрамами, зачем-то сгибает руку в локте, трясет за кисть.

— Вообще, объективно не противоречит... возможно, задет нерв, отсюда ослабление двигательной функции при пониженной температуре, то есть на морозе,— бормочет он.— На повале тебе, конечно, работать нельзя, но... Он смотрит на меня своими круглыми глазами.— Сколько классов окончил?

— Десять.

— Понял... Значит, в лес сегодня ты все же иди, а я переговорю с техноруком. Может, он найдет для тебя работу полегче...

Перед темным неподвижным строем стоят начальник, Курганов и Ампилогин. Ампилогин теперь у нас воспитатель: оказывается, есть в лагере и такая должность.

— ...и как фронтовики и сознательные советские граждане,— протяжно звучит высокий голос Ампилогина,— мы должны своим самоотверженным трудом доказать, что достойны этого высокого звания.— И после короткой паузы:— И теперь и в будущем, которое во многом зависит от нас самих, от нашего труда, от того, насколько добросовестно мы будем относиться к своим обязанностям...— Еще короткая пауза.— Товарищи! С сегодняшнего дня мы будем работать по плану. Каждая бригада, каждое звено получит производственное задание в соответствии с существующими нормами выработки. И дело нашей чести— выполнять и перевыполнять эти задания с тем, чтобы обеспечить решение задачи, поставленной перед командировкой в целом...

— Кончай, кончай уж молебень,— ворчит вполголоса Семен, и Ампилогин, будто услышав его и вняв ему, кончает.

Мы пятерыми выходим из ворот и разбираем при свете костров подготовленный загодя рабочий инструмент.

## 2

**К**урганов назначает меня десятником. Это как нельзя кстати: с рукой у меня все хуже, да и сам начинаю сдавать, чувствую. Кроме того, накануне я подался с кашеварами (они смеялись над доходягой-пленным, который просил у них, власящев, «добавочки»), и кашевары, конечно, нашли бы способ мстить мне. Но теперь руки у них коротки.

Я обслуживаю три бригады вальщиков — двенадцать звеньев. Хожу по деланке от бревна к бревну, делая замеры и ставя знаки-точки на своей разграфленной дощечке. К вечеру я должен вычислить общий объем заготовленной древесины и сообщить бригадирам их дневную выработку. Вот, собственно, и весь мой труд, если не считать того, что попутно с замерами и записями я еще обязан следить за чистотой и порядком на «пасаках».

Перехожу от бревна к бревну, иногда останавливаюсь поговорить с кем-нибудь из ребят; со многими знакомлюсь заново: большинство их я знаю только в лицо или по имени.

...Лейтенант Володька, поставив ногу на поваленную густую ель, обрубаёт сучья. На нем длинный лагерный бушлат, похожий на малахай, шапка съехала на глаза, под посиневшим носом повисла светлая капля.

— Убери ногу, порубишь.

— А черт с ней! — говорит он.

— Саморубом запишут.

— Это вроде самострела на фронте? — вяло спрашивает Володька, но ногу убирать и смотрит на меня большими обожженными глазами. Светлая капля срывается с кончика носа.

— Ты что, простудился?

— Нет. А может, простудился, черт его знает!

Доходит парень, думаю я.

— Как твоя фамилия, Володька?

— Моё фамилие — Ионайтес, — отвечает он со слабой улыбкой. — Вот какое у меня интересное фамилие.

— Литовец, что ли?

— Полулатыш-полурусский. Еще какие вопросы?

— Дай-ка твой топор, а ты жги кучи.

Обрубив ветки на его елке, я ухожу. Володька — мой сверстник, может быть, на год постарше. Был разведчиком. Жалко его.

Опять меряю бревна, ставлю точки. Азербайджанец Шамиль сидит у костра, протянув к огню руки. Замерять у него почти нечего.

— Что-то ты мало сделал, Шамиль.

— А-а-а, товарищ командир, сильно азяб. — У него очень смуглое лицо, длинный нос, черные грустные глаза — точь-в-точь, как у моего товарища по отделению Гаджибекова, разорванного прямым попаданием снаряда.

— Это фамилия твоя — Шамиль?

— Нэт. Фамилия — Бебутов. Шамиль — товарищи прозвали.

— Ты у немцев в легионерах не служил?

— Ка-акой служил?! — сердится он. — Бебутов не служил! Баланда в лагере кушал Бебутов!

Он поднимается и, пошатываясь на тонких, выгнутых, как у кавалериста, ногах, бредет к своей пиле, прислоненной к ели...

Между прочим, эти ели могут вогнать нас в гроб: очень уж ветвисты, обрубка сучьев отнимает много времени и сил, а выход готовой древесины по объему невелик. Но выход уж сейчас полоса леса пошла, ее не перескочишь...

Вечером, когда возвращаемся с работы, Семен хвалит меня:

— Молоток, комиссар, быстренько освоил специальность.

— У тебя учился, — посмеиваясь я.

— Это ты, положим, не загибай, не у меня, а все же приятно: свой. Предполагаю, что сухой не будешь.

— В каком это смысле?

— В обывоченном. Не дашь ребятам пропасть.

— Поясни, не понимаю.

— Ну, накинешь десяток — полтора десятка кубов на бригаду, чтобы пленыги могли побольше горбушку схватить. Кумекашь?

Теперь я «кумекую»... Не простой вопрос поставил передо мной Семен. Очень не простой.

— Преклонный десятник нам приписывал?

— А ты как полагаешь, от своей пайки я вас кормил?

— Ладно, — поколебавшись еще, говорю я. — Сегодня я прибавлю на Володьку и Шамиля, ребята доходят, а там посмотрим.

### 3

В одной из комнат канторы сидит странный человек: лицо желтое, распухшее, маленькие треугольные глаза заплаыли, над низким лбом торчат ежик черных с проседью волос; штаны у человека белые, рубашка синяя с воротником алаш.

Перед ним на столе счеты и разграфленная дощечка, такая же, как у десятников, только побольше размером и почище; в руке остро отточенный карандаш, за спиной на стене — коричневый ящик телефона старинного образца.

Этот человек — плановик-статистик. Он отбывает срок за крупное хищение: украл не то сто, не то двести тысяч рублей. В лагере уже пять лет. Мы, десятники, докладываем ему о выработке бригад и сдаем так называемые сортиментные справки.

— Туфты нет? — спрашивает он, просмотрев еще раз мою справку.

— Какой туфты?

— Ну, мошенничество?

— Нет...

— Посиди на лавочке. Хочешь, попей кваску. — Он указывает карандашом на ушат, стоящий в углу. В ушате — хвойная настойка, это от цинги.

Пока он занимается с десятником по подвозке, я, прислонившись к стене, разглядываю свою дощечку: не допустил ли я какого-нибудь промаха с припиской, все ли сделал «чисто»...

Десятник по подвозке, пожилой мужчина в очках, отчитавшись, вежливо откланивается. Плановик подымает меня.

— А ну, давай-ка проверим. В арифметике ты слаб или что иное?

Он снова придвигает к себе мою справку, и тут я соображаю: на дощечке, подчистив ее, я прибавил лишние четыре кубометра, а в сортиментной справке, которую я заготовил еще на работе, до разговора с Семеном, — забыл.

— Туфта, — спокойно заключает плановик, сличив цифры.

И в это время, как на грех, в комнату заходят Курганов и нарядчик, по прозвищу Вышибайло, румяный, средних лет человек в шапке-кубанке и хромовых сапогах.

— Что-то вы сегодня копаветесь, — говорит Курганов плановика.

— Переписывай, — приказывает мне тот, отшвыривая по столу мою справку.

Я, обливаясь холодным потом, не подымая глаз, удивленный благородством вора-плановика, начинаю поспешно переписывать.

— Новичок, путается еще, — поясняет плановик. — Так это и есть ваш новый десятник? — слышу я голос нарядчика.

— Мы с ним еще поговорим, — холодно произносит Курганов и берет дощечку плановика. Краем

глаза я вижу руку Курганова с ревматическими вздутиями на пальцах.

Я чувствую на себе враждебный взгляд нарядчика. Интересно, о чем они собираются со мной поговорить?

— Можно передавать? — спрашивает плановик, когда Курганов опускает дощечку.

В эту минуту я подпихиваюсь под справку, а старую, скомканную, сую в карман.

— Министерская подпись, — усмехается Курганов и говорит плановнику: — Передавайте, начальник уже нервничает.

Я отдаю плановнику новую справку, прячу карандаш и встречаюсь с сумрачным взглядом черных, с желтоватыми белками глаз нарядчика.

— Вот... а теперь потолкуем с ним, — говорит Курганов, садясь на лавку.

— Ты что руки распухлаешь? — спрашивает меня нарядчик.

И я уже догадываюсь: кашевары накалывались ему.

— Они власовцы, — отвечаю я. — Простые пленные вклинаются, а эти морды наедают да еще глумятся. Им не место на кухне.

— А это уж наше дело, — снимая кубанку и пригладив черные блестящие волосы, говорит нарядчик, — наше дело определять, кому где место. Пока я вижу, что ты не совсем на своем месте, а не те ребята, которым ты нанес оскорбление физическим действием. Кто тебе дал право сводить здесь личные счеты?

— Алло, коммутор, — говорит плановик и, повесив трубку, снова крутит ручку телефона.

Курганов молча присматривается ко мне.

«Хороший человек — плановик, — мелькает у меня. — Может, неправда, что он украл сто тысяч!»

— Послушайте, — говорю я нарядчику, — а кто вам дал право «тыкать» меня?

— Коммутор, комм... — произносит в трубку плановик и словно давится на полуслове.

— Если уж заговорили о праве, то сперва ответьте сами, кто вам дал право совать кулаки в бок отлазчикам, то есть, выражаясь по-вашему, наносить им оскорбления физическим действием?

«Ничего, не убьет», — подбодряю я себя.

И я замечаю, как теплеют глаза Курганова — щелочки его сузившихся глаз. И плановик смотрит на меня с затаненной улыбкой.

— Правда, видно, говорят про него, что шибко грамотный, — с нервной усмешкой говорит нарядчик Курганову. — Я вынужден подать на него рапорт.

Клевветник он или просто псих — пусть разбираются.

— Ты звони, — говорит Курганов плановнику, — звони... А вы вот в чем неправы, — опять с холодком



обращается он ко мне. — Администрация командировки, и сожалению, не располагает сведениями, кто из вас, репатриантов, власовец и кто не власовец. Проверка вашего политического лица и вашего поведения в плену — это функция специальных органов. Наша задача — обеспечить вас работой и организовать ваш быт, и мы судим о вас только по тому, как вы относитесь к работе и как ведете себя в быту. Сейчас вы все для нас равны. Поэтому всякое сведение личных счетов, всякое самоуправство с чьей бы то ни было стороны будет решительно пресекаться. Вы поняли меня? И чтобы это было в последний раз! А теперь идите.

Нарядчик провожает меня ненавидящим взглядом.

Я медленно иду в свой барак, расстроенный и удрученный, и вдруг спохватываюсь, что забыл в конторе дощечку. Возвращаюсь — те-

норука и нарядчика уже нет. Плановик, стоя посреди комнаты, протягивает мне дощечку.

— Спасибо, что не выдал, — говорю я.

— Хорошо ты отбил нашего Держиморду, только за это и прощаю туфту. Гляди, будь теперь осторожен с ним!

— А кто он, между прочим? Почему с прической?

— Он через месяц освобождается, бывший судья-взяточник... Я вот что еще хочу тебе посоветовать. Никогда не плутуй по мелочам. Ну что это за глупость — четыре кубика?

— А сколько же надо было — сорок?

— Давай сорок, а еще лучше — четыреста. Только сумей так, чтобы комар носа не подточил.

Я не могу удержаться от улыбки, хоть мне и не весело.

— И ты пропустишь такую туфту?

— Четыреста кубометров — это не туфта, это, если хочешь, искусство или подвиг, — отвечает он на полном серьезе.

— А это правда, что ты похитил сто тысяч?

— Триста тысяч, — поправляет меня плановик, и его заплывшие глазки загораются. — Триста тысяч как один рубль!

В голосе — гордость.

— А за что посажен Курганов?

— Курганов — он, как говорят, из Кировского потока. Секретарем одного из райкомов в Ленинграде был...

— Он хороший человек?

— Зверь, — говорит плановик. — За приписку отдает под суд. Даже за туфту. А вообще ничего мужик. Справедливый.

(Продолжение следует.)



Ирина МИРЧЕНКО

РАССКАЗ  
МОЛОДЫХ

# ВЕСЕЛО- ГРУСТНО

Рисунки В. Гальдяева.

**И**ван Филиппович узнал об этом позже всех. Может, ему уже сообщили новость, но он был всегда рассеян и пропустил ее мимо ушей.

— Ты, Борька, был у меня лучший математик из всех вечерников, — сказал Иван Филиппович, когда они остались в классе вдвоем.

— А Гарин? — спросил Борька.

— И Гарин тоже. Я знаю, у вас все сдували.

— Не все.

— Ну, почти все, — уточнил учитель.

Он поднял седую голову и снизу вверх оглядел стоящего перед ним Борьку.

— А ничего! — сказал он, усмехаясь. — Форма тебе пойдет.

Борька был высок ростом. Он стоял перед учителем, и учитель показалося ему в ту минуту особенно старым. Борьке в глубине души стало его немножко жалко: он останется в школе, не поедет в неведомые края. Он по-прежнему будет объяснять бином Ньютона и тригонометрические функции угла. По-прежнему у него будут засыпать на уроках уставшие за день ребята.

— А заниматься там будет время? — спросил Иван Филиппович.

— Не знаю.

— Во всяком случае, постарайся. Жаль, если не будешь. Можно придумать вот что: я буду присылать тебе задания, а ты по возможности выполняй и отправляй мне на проверку. По-моему, это выход. Ясно?

— Ясно, — ответил Борька.

Женя стояла в коридоре, смотрела в темное окно.

— Пойдем, — сказал Борька.

Она обернулась и посмотрела на Борьку, посмотрела как бы со стороны. Слово и она хотела представить себе его в солдатской форме. Сегодня все на него так смотрели.

На улице было тепло и тихо. Листья шуршали под ногами.

— Давай пешком, — сказала Женя. — Завтра тебе не на завод...

— Хорошо, что не на завод, — ответил Борька. — Очертел мне завод и шлифовальный станок очертел.

— Врешь?!

— Неможно.

— Вот видишь, — сказала Женя, — опять врешь. Договорились же.

— Договорились. Иногда легче, когда немного врешь.

— А кто сказал, что правду говорить легко?

— Ты легко говоришь правду.

— Не всегда, — вздохнула Женя.

— Здорово, что ты у меня есть. Я иногда чуть с ума не схожу от радости.

— Я тебя люблю, — сказала Женя.

Его рука легла ей на плечо и крепко его жгла. Женя опустила голову и закрыла глаза. Он вел ее, и можно было бесконечно идти с закрытыми глазами.

— Если бы я знала, если бы я только знала, что ты уедешь осенью! — сказала вдруг Женя, открыв глаза.

— Ну, знала бы, и что?

— Ни за что бы не уезжала на целый август. Обидно не знаю как. У нас любая пошла бы вместо меня. Отпуск в августе. Любая бы пошла!

— Ну и ладно, не жалею. В самую жару красила бы своих матрешек. Так хоть загорела, вон какая стала.

— Да, а теперь ты уедешь и не будешь видеть, какая я стала. Кому это надо!

— Мне надо. Всегда будь красивой, даже если я далеко.

— Я кажусь тебе красивой? — спросила Женя.

— Не кажешься, — серьезно ответил он. — Ты в самом деле красивая.

— Знаешь, — сказала Женя, — я хочу обойти все места.

Он понял и кивнул, соглашаясь.

Их было немного, этих мест.

Самое первое — подъезд в чужом доме. Тогда у них только начиналось. Зима была холодная, они прятались от ветра в тот подъезд. В самый первый раз, когда они зашли туда, Борька был в невеселом настроении. Он стоял и смотрел на Женю тоскливыми глазами, замерзший и очень хороший. Женя заплакала тогда, сама не зная почему. Потом ей казалось, что она плакала потому, что у Борьки в тот год умерла мать.

Второе место — «катакомбы»... Это уже совсем в другом доме они нечаянно отырыли подвальное

помещение. Там были узкие коридоры, по обе стороны проемы дверей, и переходы, и закоулки — странные и таинственные. Света там не было ни капли. Борька зажигал спички, и они шли, как в пещере. А потом в одном из отсеков долго целовались, не видя друг друга.

И третье место — крыша горного института. Борька знал эту крышу, как свои ладони, потому что когда-то чинил ее. Однажды он хотел показать Женю эту чудесную крышу и все, что с нее видно. Они подошли к пожарной лестнице, но подняться на нее Женя так и не смог: было высоко до первой перекладки. Борька сам подтянулся на руках и побегал по лестнице вверх, на свою любимую крышу. Лестница содрогалась и гудела, сверху сыпались куски снега и льда. Женю было очень одиноко внизу и завидно, что Борька с крыши видел чуть не весь город. Но он скоро спустился и успокоил ее, что вид — так себе, ничего хорошего.

Сегодня они так и пошли по порядку: сначала в подъезд, Женю опять стало грустно, и глаза у Борьки опять были тоскливые и хорошие. Затем в «катакомбы». Там по-прежнему была тьма, и таинственные закоулки привели их к отсеку, где они тогда целовались, не видя друг друга. И лестницу они тоже проведали. Только в этот раз Борю не полез на крышу, они просто постояли возле лестницы.

— Нет, хватит киснуть, — сказал Борька. — Мы с тобой дураки. Вообще все люди дураки, что плачут перед разлукой. Надо смеяться, надо радоваться, что до разлуки долго: день, час, минута!

— Правда, — сказала Женя. — Я не хочу, чтобы ты вспоминал меня кислой!

— Ну, бежим!

Они изо всех сил старались сбить, страхнуть эту грусть.

К дому подошли в первом часу ночи. Сторожиха соседнего магазина дремала на перевернутом ящике.

Во дворе, облепленном одноэтажными домишками, загремел цепью щенок, таякнул спронея, но просыпаться не стал. Он был слишком молод, и его рано посадили на цепь.

— Я не хочу уходить и не отпущу тебя, — сказал Борька.

— Ты думал, я тебя отпущу? — спросила Женя, открывая замок на двери, которая шаталась и скрипела на петлях. — Мама придет в два.

— У нас уйма времени, — подтвердил Борька.

В комнате было темно. В два узких окошка падал со двора свет фонаря и лежал на полу двумя желтыми дорожками.

Женя зажгла настольную лампу и придвинула к дивану маленький столик.

— Иди сюда, — сказала она. — Это мой собственный стол. Мне его купили пятнадцать лет назад.

— Я думал, он журнальный.

— Нет, он просто детский. Жалко, что мы не купили вина. Я бы сейчас хотела открыть бутылку, чтобы она выстрелила в потолок.

— Это не вино, это шампанское стреляет.

— Шампанское тоже вино, дурачок. Ты голодный?

— Нет.

— Нет, ты голодный! Я нарежу сыру, и мы будем есть.

Она стала резать сыр, достала хлеб и масло в набитой масленке.

— Когда-нибудь встретимся опять и пображничаем, да? — спросил Борька. — Я принесу шампан-

ское, и мы выстрелим прямо в потолок и выпьем. За солдат.

— За солдат. Чтобы когда-нибудь солдат совсем не стало.

— Это не скоро, Женя...

— Пусть. Пусть. Когда-нибудь пусть не станет солдат, чтобы когда-нибудь перестали провожать в солдаты.

— Я вспомнил свою бабу. Рассказать?

— Расскажи.

— Дед был на первой мировой войне. Прислал свои погоны — на память. В эту войну солдатами были ее дети. Погиб мой батя и еще двое. Она хранила их погоны. После войны проводила в армию внуков, пятерых. Так она их погоны тоже хранила. Это я последний внук, самый младший. Вчера прощался с ней. Она уже не ходит, я ее вряд ли застану. Она первым делом попросила, чтоб я ей выслал свои погоны. Чудная бабу.

— Это страшно, Борь! — воскликнула Женя. — Не хочу всю жизнь хранить погоны! Борька...

— Ну, дурак я, что рассказываю тебе.

— Не дурак, Борю, Боренька! Думаешь, я об этом сама не думала? Все — подлость, дикость, эти войны, бомбы. Если бы я была твоей матерью, я бы сейчас спрятала тебя, не пустила бы!

— И не спрятала бы и пустила бы, — сказал Борька. — А если бы всех прятали и не пустили! Тогда было бы страшно, а? Просто время такое...

— Всегда было такое время.

— Да, но не может быть, чтобы дальше всегда было такое время. Может, я для того иду, чтобы дальше не было такого. Я верю. Давая верить, что дальше будет по-другому. Давай!

— Да, — сказала Женя и заплакала.

Борька обнял ее за плечи. Он никогда еще не видел ее в таком отчаянии и не знал, как ее успокоить.

— Ну, перестань, малыш... — сказал он. — Ты сама не своя, сама не знаешь, что говоришь...

Какая-то песня вертелась у него на уме, он глядел Женю по голове и вспоминал эту песню. Потом вспомнил и засмеялся.

Девушки плачут.

Девушкам сегодня грустно:

Милый в армию уехал,

Эх, да милый в армию уехал...

Он потихоньку пел ей и смеялся.

— Не дразнись, — сказала Женя, вытирая глаза. —

Стукну тебя сейчас, чтобы не дразнился.

— Стукни, — смеялся Борька. — Ну, стукни! Ты ж меня еще никогда не била.

Он вложил ей в руки хлеб с сыром и сказал:

— Ешь, малыш, ведь ты голодная, это от голода.

Она положила голову Борьке на плечо и закрыла глаза.

— Таой образ, — сказала она.

— Что?

— Передо мной...

— Глупенькая, — засмеялся Борька и крепко ее обнял.

— Я опять хочу плакать, — сказала Женя.

— Плачь.

— Не могу.

— Значит, не надо, — сказал он, целуя ее мокрые глаза. — Я тебя люблю.

— А я умираю.

— Не смей.



— Целуй меня все время, до самого уха, — жалобно сказала Женя.

Борька целовал ее долго и крепко и сам задохнулся. Он хотел бы быть смелее. Ему казалось, что тогда Женя навсегда останется с ним, по крайней мере так думают. Если бы ему не ехать завтра, он был бы смелее. Но он подумал, что завтра не будет рядом, Жене будет тяжело и горько. Нельзя, чтобы ей было тяжело, ей и так будет тяжело завтра.

— Малыш, — сказал он, отстраняясь. — Открой глаза, малыш. Я дурак?

Женя кивнула.

— Или трус? — спросил он, глядя ей в глаза.

— Все равно, — ответила Женя. — Никто ничего не знает. Я к тебе приеду.

— А если это будет Дальний Восток?

— Приеду.

— Скоро приедешь? — спросил Борька.

Он хотел верить, что она приедет.

— Очень скоро, — ответила Женя. — Ты не успеешь оглянуться, как я приеду.

— Я хочу, чтобы ты уже приехала.

— Ладно.

— Может, там будут сопки и океан.

— Это здорово!

— А если пески и верблюды?

— Никогда не видела живого верблюда!

— А может, будут леса и болота.

— Чудесно!

— Здорово, правда? Мне ничего не известно, а кто-то уже знает, где я буду.

— И кем ты будешь.

— Да, и кем. Может, сапером, а может, ракетчиком или еще кем-нибудь. Адамыч был пожарником...

— В армии?

— В армии тоже есть пожарники.

— Странно.

— Ага. Ты меня не провожай завтра, а, малыш?

— Ладно, — согласилась Женя.

— Меня Адамыч проводит, а потом зайдет к тебе на работу. И скажет. Ладно?

— Ладно.

— Меня с гармошкой будут провожать, — смущенно сказал Борька.

— Только смотри не пей... — попросила Женя, — а то все подумают, что ты трусишь.

— Хорошо. А я вправду малость трушу.

— Я знаю, но пусть только я знаю, ладно? А больше никто.

— Только ты, малыш... Съешь ты свой сыр.

Женя задумчиво откусила и положила хлеб на стол.

— Я скоро косу отрежу, — сказала она. — Надоело мне возиться.

— Как это? — спросил Борька. — Значит, когда я приеду, ты будешь другая? Без косы?

— Не отрезать? — спросила Женя.

— А тебе здорово надоело с ней?

— Очень.

— Я сам отрежу, — сказал Борька решительно. — Чтобы я знал, какую я тебя оставляю. Неси ножницы.

— Это были тяжелые, острые портновские ножницы.

— Ого! — сказал Борька, взяв их.

— Это еще дедушкины, — объяснила Женя и покорно повернулась к Борьке спиной.

Она всегда завидовала девочкам с модными прическами. Ей казалось, будь она даже не с модной прической, а просто острижена под мальчика, она бы совсем по-другому вел себя в жизни. Когда за спиной коса, просто невозможно быть никем, как тихой девочкой с опущенными глазами. В глубине души Женя презирала тихих девочек с вечно опущенными глазами.

— Может, распустишь? — спросил Борька, щелкая ножницами, как заправский парикмахер.

— Режь так.

Он начал резать, но у него не получалось. Старые портновские ножницы были хороши, но коса была толстая и плотная, и они только комкали ее и грубо кромсали.

У Борьки дрожали руки. Он совсем не думал, что это так сложно — отрезать косу.

В зеркале Женя видела его лицо. Оно покраснело, и светлый чубчик прилип ко лбу. Жене вдруг показалось, что Борька очень жесток: он резал живые волосы, а они не поддавались, и он торопился изо всех сил, будто делал это тайком.

Потом они положили косу на диван и сели возле нее.

— Я думал, она закричит, — сказал Борька. — Что теперь с ней делать?

— Посыпать нафталином и спрятать в шкаф, — бодро ответила Женя.

Она подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Густые темные волосы едва касались плеч. Лицо казалось тоньше, и Женя смотрела на него, как на чужое.

— Порядок, — сказал Борька и астал рядом с Женей, положив ей руку на плечо.

— Уходи, Борь, — сказала Женя. — Сейчас мама придет, уходи.

— Да я ведь не боюсь.

— Нет, все равно лучше уходи. Пусть кричит только на меня.

— Тебе так будет легче? — спросил Борька, уткнувшись лицом в Женин затылок.

— Конечно, легче.

Она проводила его до двери и поцеловала. Она была спокойна, может быть, потому, что было два часа ночи и она устала, а может быть, она уже начала привыкать к мысли, что Борька — солдат.

Она зашла за ним дверь и немного походила по комнате, разглядывая себя в зеркале — то в одном, то в другом. Она казалась себе очень новой и, главное, сильной и решительной. Она была счастлива, что у них с Борькой не флирт, не легкое увлечение. Ведь если бы флирт, им бы не было так тяжело, значит, это — настоящее...

И еще она была счастлива, что Борька успел уйти до прихода матери и за отрезанную косу влетит ей одной, Борька этого не услышит. Она увергла его, она его защитила.

Борька стоял на углу возле трамвайной остановки. Пустынная улица была тиха, и только где-то далеко слышался гул случайного ночного трамвая. Неприятный ветер шелестел, шуршал сухими листьями.

Пришел трамвай, вышли из вагона три женщины. Оказывается, это кондукторы разъезжались со смены.

Женина мать прошла мимо Борьки, не узнав его. Ему вдруг расхотелось подходить к ней, он сам не понимал, для чего ему с ней говорить.

Но тут что-то у него сработало, какая-то невидимая пружинка противоречия — Борька называл эту пружинку «назло себе».

Он перешел дорогу и догнал женщину.

— Тетя Катя, — сказал он, — здравствуйте!

Он стоял перед ней и широко улыбался, заложив руки в карманы.

— Ты что? — спросила она, разглядывая его улыбающуюся физиономию,



— Тетя Катя, я хотел с вами поговорить.

— Расписались, что ли? — устало спросила она.

— Нет еще, тетя Катя.

Она недоверчиво смотрела на Борьку. Ей не особенно нравился этот парень. Вел он себя по отношению к ней слишком независимо.

— Я Жене косу отрезал, — сказал Борька.

Женщина молча смотрела на него и не знала, что сказать. Она никак не могла сообразить, почему это он встретил ее на улице в два часа ночи и говорит об отрезанной косе. Уходил бы, дурачок, раз вино-ват.

— Не ругайте ее, а? — попросил Борька. — Она там сидит сейчас и боится. Может, она сама уже пожалела.

— А ты почему не пожалел? — спросила мать угрожающе.

Борька ковырял землю носком ботинка, сухие листья отлетали в разные стороны, и он был счастлив, что мать ругает его первого, и думал про себя: «Ну, еще! Мне не больно, расходуй свои запасы, трать их на меня, ну!»

А ей не хотелось ругать его. Впервые она почувствовала какую-то симпатию к этому парню.

— Ну, я пошел, тетя Катя, — сказал он. — Счастлива. Женя очень хорошая, — прибавил он. — Мы с ней обязательно поженимся, ладно?

— Иди, воробей, — сказала она, усмехаясь.

Она пошла к дому, устало волоча ноги. Кондуктор трамвая — это не легко, совсем не легко, особенно когда в последнюю смену. Борька это понял.

— Тетя Катя! — крикнул он вдруг вслед женщине.

— Чего? — тихо спросила она. — Людей побудить, не ори.

— Я забыл сказать, — сказал Борька потише, — я завтра в армию иду. До свидания, тетя Катя!

Он помахал рукой и бодрой походкой направился к трамваю, потом вспомнил, что уже третий час, трамвая больше не будет, засмеялся и вышел на дорогу.

Он пошел по самой середине шоссе, засунув руки в карманы, в тишине улиц четко звучали его шаги.



## Лариса Васильева

✱

Я открыла весну и плачущую осень,  
и в глазах твоих добрую силу  
открыла,  
и бездонного неба тревожную  
просинь;  
я открыла все то, что не раз уже  
было,  
что другие давно до меня  
открывали,  
что другие потом в суете забывали,  
что веками земля щедро людям  
дарила,  
я опять все нашла,  
я опять все открыла.

### Ожидание

Я распахнула настежь ставни.  
К стеклу прохладному прильнув  
и к солнцу руки протянув,  
стою, подобна Ярославне.

Простые женские печали:  
ждать, волноваться, не забыть...

Вас разве могут заслонить  
века громоздкие? Едва ли.

От сердца к сердцу человека  
вы переходите легко...  
Ах, как уходят далеко  
мужчины атомного века!

### Танки

*Николаю Алексеевичу  
Кучеренко, моему отцу*

Какие-то строгие тайны  
из дома отца увели.  
А вскоре по улицам танки  
гудящей гурьбой поползли.  
Я прятала руки под ватник  
и следом за танками шла,  
не зная, что ожил тот ватман  
с его заводского стола,  
что ожил тот ватман, который  
похитил отцовские сны.  
По длинным людским коридорам  
шли новые танки страны.  
Мальчишеские крики привет  
неслись от ворот до ворот,  
и женщина шла без жакета,  
кричала: — Победа идет!  
И, сжавши руками упрямо  
тугие перила крыльца,  
о чем-то заплакала мама,  
привыкшая жить без отца.

Я помню тот день потому лишь,  
что вечером этого дня  
среди старых, бревенчатых улиц  
отец мой окликнул меня.  
Мне даже теперь это снится,  
как в тот незапамятный год  
отцу разрешил отлучиться  
домой оборонный завод,  
как следом за ним я бежала,  
как в комнату нашу вошла,  
а мама подушки взбивала,  
а мама лепешки пекла,  
смеялась то громко, то робко,  
о том говорила, о сем.  
Но стыла в тарелке похлебка:  
отец мой уснул за столом.  
А мать улыбалась все шире  
и куталась в старую шаль...  
Шли танки «Т-34»  
в тревожную, трудную даль.



# КСАНА МУРАТОВА —

## ФРОНТОВАЯ Артистка

Рисунки И. Блиоха.

### ГЛАВА XVIII

#### ДОБРЫЙ ВЕЧЕР

Сцену наспех построили на лужайке, у чьего-то вишневого сада, отгороженного невысоким плетнем. Гроздьи цветущей вишни протискивались сквозь щели, лежали на светлых неструганых досках сцены.

Бойцы расселись и разлеглись на траве. Желтые одуванчики высовывались из-под их разбросанных ног, из-под винтовок, отдыхавших рядом с бойцами.

Шел концерт. Ксана недавно разучила «Товарища» Горького и накануне вечером репетировала со Скворцовым. Но репетиция шла плохо, в нескольких местах Ксана сбивалась, словно текст был с уступами, через которые она не могла перешагнуть, и теперь она с тревогой ждала своего выступления.

Ксана чувствовала себя уставшей от длинных переходов, оттого что мало спала.

Армия быстро двигалась вперед, полянки отступали. Трупы следовала за передовыми частями. Шли и шли пешком, днем делали короткие привалы, что-бы поспеть. В дороге редко удавалось присесть на подкову: берегли заморенных лошадей. Вечером сваливались от усталости в избух, в клуных, на сеновалах, а с солнцем снова шли.

Но не только усталость, какое-то внутреннее беспокойство ютилось в душе Ксаны. Много разных событий произошло в последнее время, надо было их обдумать, посмотреть в них, наедине с собой не спеша разобраться.

Ксану приняла в партию; до сих пор она ощущала новизну этого события, ей казалось, что теперь надо жить уже как-то по-другому, или, вернее, к тому, как она жила раньше, надо добавить еще что-то. Но что именно, она не знала и чувствовала себя виноватой в том, что, может быть, не делает всего, что должна делать.

Мучило ее и письмо Миры, в нем была невысказанная смутная тревога. Ксана знала Миру, ее умение сдержанно сказать о самом трудном... При одном воспоминании об этом письме Ксана болезненно морщилась и отгоняла всякие мысли о Мире, обо всем, что их связывало, и особенно о Николае. О нем она совсем не могла думать.

А недавний торопливый отъезд Зойки... Ее ссора со своей коммуной... Во всем этом было что-то непонятное Ксане, и хотя оно никак ее не касалось, но тень этой чужой жизни нависала где-то рядом, и обойти ее было невозможно.

Все эти такие разные события тесно обступили Ксану; она чувствовала, что жизнь вокруг гораздо сложнее, чем представлялось ей раньше, не вся она на виду, многое таится глубоко, под спудром.

С этими беспокойными мыслями стояла сейчас Ксана возле сцены, чуть опираясь на нее, в своем старом синеньком платьице, которое ей очень шло, и ждала выхода.

Кулис, где можно было спрятаться. побыть одной,

здесь не было, она стояла на виду, лицом к лицу со зрителями, которые с любопытством оглядывали ее. Народу набралось много, за бойцами разместились крестьяне, прибежавшие посмотреть представление.

Маруся и Скворцов играли сцену из пьесы «Борьба за волю». Их слушали внимательно, но реагировали совсем не так и не так, как ожидали артисты.

А когда пришел Ксанин черед и она поднималась на сцену, ей живо вспомнилась зимняя история — злополучное чтение стихов Фруга перед конниками. Ее сразу обдало жаром — именно так она себя чувствовала тогда, несобранная, неуверенная, с расплывающимися мыслями. Чтоб успокоить сердце — оно сильно билось, — Ксана постояла, оглядела зрителей. Мельком она увидела в стороне Алешу Крушенко и его командира Желтовского. Они, видимо, только что спешились, потные, в пыльной одежде, на запястьях хлысты. Дальше, у двора, топтались их привязанные кони.

Ксана медлила. А снизу уже что-то шептал Скворцов, и Надя Ласская с книжкой в руках стояла совсем близко, чтобы посуфлировать, если будет необходимо.

Ксана подошла к краю сцены, подняла глаза: с голубого-голубого неба свисало огромное, до самого горизонта, белое растрепанное перо. С него сыпались пушинки куда-то вниз, за край земли, их золотило дневное солнце.

И неожиданно для самой себя, по какой-то странной ассоциации, Ксана обратилась к зрителям:

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Еще до фронта ей попалась тоненькая синяя книжка с парусом на обложке, «В. Маяковский». Имя ей тогда было неизвестно. Но стихи сразу полюбились. Сейчас внезапно она вспомнила их и прочла, повинуясь голосу души, которая сама отбирала стихи в свою копию, их не надо было учить, они запомнились и сами просились дерить их людям.

Ксана прочла и постояла, не уходя со сцены. Ей хлопала. Она видела, как, улыбаясь, били в ладоши Алеша и Желтовский. На артистов она не глядела.

И уже полная того огня, который загорался в ней во время ее лучших выступлений, Ксана стала читать «Товарища». Ей представлялось, будто от нее отлетают искры и осыпают зрителей, и вот она уже видит блеск и игру в глазах людей, которые до сих пор сидели развалившись, с обычными, усталыми лицами. Как изменились они! Как подались вперед! Вот это она любила!

То, что вчера так скучно и неинтересно шло на репетиции, вдруг стало значительным, огромным, увлекло всех вокруг, и они слушали, улыбаясь, с широко раскрытыми глазами. И сама Ксана уже не читала, а пела, ей казалось, что она поет, хотя это было все-таки чтение. Ей самой было радостно до слез, они наполняли глаза, и сквозь их блестящую призму мир казался волшебным и счастливым. Это она любила!

Она сбегала со сцены, еще вся светясь. Хмурый старик Романов смотрел ей вслед, как всегда, исподлобья, но улыбка раздвигала его губы. А Красной, голос которого был окрашен только в один цвет иронии, стоял и серьезно качал головой вверх — вниз, вверх — вниз.

Не зная, куда деться от глаз зрителей, Ксана обошла их стороной и стала позади.

Она заметила, что Алеша и Желтовский тотчас же двинулись, чтобы подойти к ней.

Ксана пошла им навстречу.

Кто-то, высокий, в распахнутой черной кожухе и такой же черной кепке, улыбуясь ей издала. Она не сразу узнала Шуру Бермана. Он показался ей похудевшим и более высоким, чем раньше. Ксана покивала ему головой, подумала, что обязательно должна рассказать ему, как ее принимали в партию, но Алеша и Желтовский уже подошли.

— Приходите к нам сейчас обедать, — пожимая ей руку, сказал Желтовский и, чуть играя своими красивыми глазами, добавил шепотом: — Алеша совсем заскучал без вас. И Надю возьмите.

Ксана прищурила глаза: мол, согласна.

Каждый раз, когда Ксана и Надя, а иногда с ними и Скворцов встречались с Желтовским и Алешей Крушенко и проводили вместе два-три часа, вечер превращался в маленький праздник.

Милый, умный, в беседе полный шутилого лукавства, Желтовский тянулся к артистам, любил пофилософствовать, послушать стихи, песни, сам недурно пел. Ему уже было тридцать пять, к молодому своему помощнику Алеше он относился с тем вниманием и любопытством, с которым умные отцы присматриваются к юному поколению.

Ксана пришла к Желтовскому в еще не потухшем, взволнованном состоянии, которое осталось после выступления. С ней пришли и Надя и Маруся со Скворцовым.

Обедали. Мужчины выпили по чарке. Потом сидели, курили. Ксана читала стихи. Алеша всегда просил ее читать. Сегодня она была, что называется, в ударе. Алеша стоял в неосвещенном углу и смотрел на нее большими строгими глазами.

Маруся пела. Это не было похоже на песни Нади, разудалые, лихие, хватающие за душу. Голос у нее был небольшой, она скорей проговаривала слова речитативом, вкладывая в них излишнюю многозначность. Бледная, худая, с крупными чертами лица, она производила впечатление человека измученного, несчастливом. Когда она пела «Буйный ветер играет с терновником», казалось, что в этой песенке заключена какая-то ее собственная драма.

Надя смотрела в окно, задумчиво и серьезно слушала.

Ксана было уютно и хорошо. Немного отступили мушкетеры ее заботы, о них сейчас не думалось. Ей все нравилось в Желтовском, в Алеше, их милое внимание, какие-то особые нити, которые тянулись от каждого из них к ней, Ксана.

Вошел вестовой. Желтовского вызывали к начальнику дивизии. Вечер кончился. Продолжалась обычная походная жизнь. Все стали собираться домой.

Процаясь, Желтовский близко подошел к Ксана и тихонько сказал:

— Алеша любит вас, Ксана.

Ксана отстранилась.

— Зачем вы это говорите, Григорий Иванович? — И торопливо добавила: — Я тоже люблю Алешу. И вас люблю.

Лукавые искры заблестели в глазах Желтовского. — Умница! — Он поцеловал ей руку и, наклонив в дверях голову, легко выбежал из хаты. Через секунду раздался громкий топот пущенного вскачь коня и так же быстро замер вдали.

Алеша провожал артистов. Ксана шла и молчала. Сегодня ей было так хорошо, такая радость наполняла ее на сцене и потом весь день жила в ней!

И этот добрый вечер с добрыми людьми окутал ее покоем, теплом. Но что-то произошло, и с новой силой вернулось беспокойство. «Развлекаешься! Играешь!» — с укором сказала она себе. — Радуетесь, что кому-то нравиться. Не хочешь думать о том, что тебя ждет...»

Она отошла в сторону, к краю дороги. Надя и Скворцовы, оживленно разговаривая, ушли вперед.

Алеша перешел к Ксане и зашагал рядом. Они говорили мало, изредка перебивались словами. Совсем стемнело.

— Устали? — спросил Алеша.

— Нет. Просто очень много всего. — Она хотела что-то добавить, но в эту минуту перед ними в сумерках возникла лошадиная морда.

Алеша оттолкнул в сторону Ксану и схватил лошадь под уздцы. Верховой только сейчас заметил пешеходов, засуетился, закричал на лошадей.

— Ну можно ли так! — с укоризной бросил ему Алеша. — Смотреть надо! Василий, ты?

— Не заметил, товарищ Крушенко, — оправдывался красноармеец. — Едешь о двуконе, темнота. Товарищ Суржак отослал коня.

— Ладно, — ответил Алеша. — Дай мне его. Я доведу домой.

Боец отвязал коня и отправился дальше. Алеша проверил подруги, поднял стремена.

— Хотите доехать? — спросил он Ксану.

— Ужасно, — созналась она. — А можно?

— Предположим, нельзя. Но вы же очень любите верхом.

— Да. Мне бы в кавалерии служить!

— Привяжите потом лошадей у себя во дворе. Я приду за ней.

— Хорошо. Спасибо.

Ксана тронула повод, неторопливо отъехала, свернула на свою улицу. В темноте еще некоторое время ей было видно, как белело лицо Алеши, потом медленно растаяло.

## ГЛАВА XIX

### ПОД СОСНАМИ

Ксана остановила лошадь у ворот дома и, не слезая с седла, огляделась. Пока она ехала, тучи раздвинулись и в прорези показался месяц. Земля словно ожила. Побелела трава, заблестели темные стекла окошек, мазанки засверкали белыми боканами. Было пустынно, редко слышались шаги проходящего человека, где-то поскрипывали не то раскрытые двери клунки, не то ворот колодца. Ни вертерки, ни голосов, ни собачьего лая. Вероятно, это были случайные минуты тишины, она могла тотчас же нарушиться солдатской песней, перебранкой, громким говором. Но сейчас в белом свете месяца, в молчании всего живого, в неподвижности природы было что-то величавое.

Ксана тронула повод и повернула лошадь к меже, в поле. Казалось, и лошадь шла бесшумно, едва прикасаясь легкими копытами к земле.

Уходящий день проливался в памяти Ксаны. Как ей не хотелось выступить, и как потом хорошо все обернулось! А все эти новые стихи!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —  
значит — это кому-нибудь нужно?..

В них есть невысказанная тоска, боль о чем-то... Ксана подумала об Алеше. Конечно, чушь то, что сказал Желтовский, но Алеша — хороший человек. Скрытный, молчаливый, а добрый. А сам Желтовский! Хорошо, что все же он далек Ксане, они никогда не говорили ни о чем с глазу на глаз, не гуляли вдвоем, как с Алешей. Кого-то он напомнил ей сегодня, когда наклонился и сказал те слова. Ксана не может вспомнить, кого, но это связано с чем-то недобрим, от чего надо бежать. И зачем он это сказал?.. Наверно, есть женщины, которым он очень нравится, они тоскуют о нем и боятся его...

Но зачем она об этом думает? Да! Вот кого напоминает Желтовский! Бориса! Конечно, Бориса, божь мой, как это она сразу не поняла! Сейчас она даже содрогнулась от этого воспоминания.

Мысли Ксаны перескакивают с одного на другое. Шуря был на концерте. Надо с ним поговорить. Обязательно. Это он первый посоветовал ей выступить в партию. Он, наверно, и не знает, что ее приняла.

...Надо написать Мире. Мира, подружка моя, почему мне так горько от твоего письма? Вот что грызет душу. Вот что Ксана отгоняет от себя, бесосознательно, инстинктивно. И думает и думает о Мире. Нет, даже не о ней самой. А о том, что она знает.

«Что она знает? Что она знает? — чуть не закричала Ксана и остановила лошадь. — Что она знает? Что она может знать? Вот это терзает и мучает Ксану уже столько времени. Она только трясется, боится сойтись самой себе.

Ксана прыгнула с лошади. Несколько сосенок образовали здесь маленький островок в поле. Ксана отпустила повод. Лошадь нежно тронула губами траву. Ей покрывалась трава. Она отошла дальше и мягко стала отрывать ее зубами и пережевывать.

Ксана села на землю, оперлась головой на руки. «Божь мой, что же это я кожу, как во сне!»

И словно выплеснулось из души то, что все время лежало в ней, как под могильным камнем.

Да ведь его уже нет! Его уже нет! Его уже нет! Она еще тогда почувствовала это, когда читала письмо. Его нет! Нет больше! Совсем нет! Это вдруг стало так ясно, что Ксана похолодела. Нет, даже не письмо Миры, что-то другое, страшное и сильное, как сверканье молнии, сказала ей через многие версты: его больше нет!

Будто она услышала его предсмертный крик, зов, обращенный к ней, он ударил ее в сердце. И уже не надо было ни вестей, ни писем, ни утешений. Вокруг была огромная, черная пустота. Она представлялась Ксане в виде почти бездонной, почти бескрайней воронки от бомбы — ни дна, ни края.

Она вдруг заплакала громко, не в силах больше сдерживаться. Ведь она чувствовала это все время, с тех пор, как прочла письмо Миры, она только страшилась открыть это себе, бежала от этой мысли и только стонала по ночам, потому что душа ее болела.

Она плакала и говорила сама с собой и с ним, который был самым дорогим в ее жизни и которого уже не было.

Утрата была страшной, она переворачивала всю ее жизнь, делала ее пустынной и холодной. Почти физическая боль души крутила и ломала ее. Она закричала громко: «Николай!» И сама испугалась сво-

его крика, бросилась лицом в траву, и забилась, и заметалась, и запричитала, как причитают и кричат бабы в деревне, хотя никогда не слышала, как это бывает. «Коленька, Коленька милый, родной мой, Коленька!» — звала так, как никогда не делала при его жизни.

Потом она затихла и сидела на земле, качаясь из стороны в сторону и с силой сжимая голову.

Неожиданно порыв ветра прошептал по траве, будто кто-то прошел легкими шагами.

— Да! — спросила Ксана. — Да! — Рывком придалась к тому месту, где прошлепала трава. Прислушалась, замерла. Долго сидела и слушала, сдерживая дыхание, чтобы не пропустить, словно он, мертвый, мог пройти здесь. Но он прошел. Она знала, что это невозможно. И знала, что это возможно. Что это прошел он. Ей надо было так думать.

Она больше не кричала. Только плакала тяжелыми горячими слезами и гладила руками траву.

— Ты! — говорила она. — Это ты! Как же теперь будет без тебя!

Ей вспомнилось; как однажды поздно вечером они долго стояли у калитки ее дома, говорили о чем-то очень важном, и он сказал: «Есть одна дорога для меня истина: нету выше любви, еще что душу положит за други своя».

Она его спросила: почему он берет это из евангелия? Разве нельзя сказать иначе?

Помолчав, он ответил:

— Не знаю лучшей формулы. Здесь нет ничего от религии. Просто народная мудрость на славянском языке.

Она давно забыла этот разговор, а сейчас вспомнила его отчетливо, даже интонации, даже блеск его глаз, выражение лица, пряди прямых черных волос, упавших на лоб, и позу: чуть приподнятое плечо, нога на ступеньке крыльца.

— «За други своя», — громко проговорила Ксана, осознавая смысл этих слов. — Если б ты мог быть со мной, — обращалась она к нему и не укасалась тому, что говорит. — Будь со мной! Будь со мной! Я любила тебя. Я всегда любила тебя. Навсегда любила тебя.

Она устала от рыданий и, чтобы охладить лицо, долго прижималась им к холодной траве, там, где прошел ветер. Ветра больше не было. Стояла тишина.

Немного придя в себя, Ксана села, огляделась, сказала шепотом:

— Вот я тебя похоронила...

Страшная боль жгла ее сердце — так теперь будет всегда, всю жизнь. Никогда не станет ясно на душе. Его больше нет, нигде нет, совсем нет.

Топот коней нарушил тишину. Ксана подняла голову, нашла глазами свою лошадь — она стояла на меже, тоже прислушивалась и вглядывалась в темноту.

Ксана встала, поймала повод. Двое ехали верхом по меже, направляясь прямо сюда, к Ксане. Тот, кто был впереди, подвехал совсем близко.

Ксана увидела: это Шура Берман. За ним — ординарец.

— Это вы, Ксана? — удивленно спросил он.

— Я, — тихо ответила Ксана.

— Что вы здесь делаете?

Ксана молчит.

— Чья лошадь?

Ксана молчит.

— Кто вам дал лошадь?

Ксана молчит.

— Вы знаете, есть приказ: лошадьми могут пользоваться только определенные лица. Лошадей не хватает для кавалерии.

Ксана молчит.

— Кто вам ее дал?

— Возьмите ее, если она вам нужна, — отвечает Ксана и бросает ему повод.

Ординарец подбирает повод. Ксана поворачивается и уходит к соснам.

Шура соскакивает с лошади.

— Вы хотите здесь остаться?

— Да.

— Одна? Ночью? Это опасно. Садитесь, поедем.

— Я не поеду.

Он стоит в нерешительности, не знает, что предпринять.

— Вам нельзя здесь оставаться. Поедем, Ксана. Садитесь.

Он подводит лошадь к Ксане.

— Пожалуйста, уезжайте, — говорит Ксана.

— Что с вами? — тихо бурчит Шура, он стесняется ординарца. А может быть, его гнетет сознание, что он, комиссар дивизии, вынужден стоять здесь, придерживая стремя, и просить артистку сесть на коня, которого он только что отнял.

— Пожалуйста, уезжайте, — повторяет Ксана и садится на землю у подножия сосны.

Шура снова отдает повод ординарцу и делает знак рукой. Тот отъезжает и уводит лошадь Ксаны.

Шура медлит.

— Идите, — как можно мягче говорит он, но сердится. — Вы меня ставите в какое-то дурацкое положение. Я ведь обязан взять у вас лошадь. Пойдемте вместе пешком. Я провожу вас.

Ксана некоторое время молчит.

— Если бы вы знали, как я хочу сейчас быть одной!

Шура смотрит на часы.

— Слушайте, — говорит он, повышая голос. — Одинадцать часов. Патруль вас задержит. Слышите, Ксана? — Он подходит близко. — Ну что с вами? — Я очень прошу вас, — тихо говорит Ксана, — уйдите.

Шура уходит, ведя своего коня на поводу. Так он и идет пешком, сначала медленно, потом убыстряет шаг. Неожиданно он оборачивается, смотрит в сторону Ксаны, но тут же решительно и быстро шагает дальше.

Ксана обходит всю кучу деревьев. На минуту присаживается у того места, где пробегал ветерок, снова гладит траву, слушает, уже без слез, с печалью и усталостью, с залпухиными глазами. На миг прижимается лицом и губами к земле.

— Я с тобою, — шепчет она. — Я всегда буду с тобою. — И подымается. Стоит, глубоко вздыхает, расправляя плечи.

«Может быть, я это выдумала? И он жив?» Но это звучит кощунственно и глупо. Всеми нервами, порами тела, сердцем, кровью, глазами и мозгом, всем ощущением жизни она знает: его нет.

И вот она на меже. Идет ровным шагом, уже ни о чем не думая. Она плохо видит. Темно, и глаза устали от слез. Она шагает, и ей кажется, что каждый шаг отдается эхом. Она слышит свой шаг и отзвук его. На секунду ее мысль задерживается на этом. Какое может быть эхо? Земля мягкая. Ксана останавливается. А это отдается. Раз, другой — и замерло. Значит, не эхо. Ксана оглядывается. Совсем темно. Она опять шагает и шагает. И снова отдается эхо. И ей это в конце концов безразлично. Ей совсем безразлично.

Вот и село. Она идет по улице. Теперь ей отчетли-



во слышно: кто-то идет сзади. Она не оглядывается. Ей и не хочется знать, кто это.

Может быть, Шуря.

У самого двора она оборачивается и видит Алешу. Это уже когда-то было. Она уехала верхом, он ждал ее. Это было? Или приснилось? Или снится сейчас!

Алеша не глядит на нее, идет, сутулясь, курит.

— Алеша,— говорит Ксана мертвым голосом,— у меня Берман отнял лошадей.

— Я знаю,— спокойно отвечает Алеша.— Я встретил и ординарца с лошадыю и его, когда шел к вам, в поле.

— У вас будут неприятности?

— Плевал я на них. В первом бою добудем лошадей.

— Вы шли ко мне?

— Да. Я вас встретил на меже. Вы не видели?

— Нет,— говорит Ксана и молчит, задумавшись.

И, забыв попрощаться, входит в дом.

# ТОВАРИЩ ШУРА

**Т**еплое утреннее солнце сплит глаза. Пока Надя стягивает у крыльца простыни, Ксана сидит на задке старой телеги без колес и смотрит, как хозяйка хаты обмазывает глиной с навозом старый сарайчик. Кругом разорение, чужие люди — солдаты — то и дело останавливаются и живут в ее хате; не спрашивая, лезут в печь за пустыми щами, заглядывают в погреб, скармливают последние охапки сена и соломы своим лошадям, грязнят всюду, а она стоит и усердно мажет сарай.

Маленькое стеклышко вместе с глиной прилепилось к стенке сарая, и перламутровый блеск его под лучом солнца прорывает сквозь глину и навоз. Тяжелое бездумье сковало Ксану; сидит и смотрит на стеклышко, на быстрые руки крестьянки, на старую макитру с золой, что стоит у крыльца.

— Ксана! — зовет Надя. — Поди попробуй молочка достать. Во-он в том дворе как будто корова есть. Давно молока не пили. Пойди, а? О-о! — весело вскрикивает она. — И гостя напоили бы! Смотри, что к нам идет!

В калитке стоит Шура, стройный, прямой, в черной рубашке, подпоясанный кавказским пояском с серебреными насечками, и в кубанке, несмотря на теплое утро. Он здоровается с Надей, подходит к Ксане. Та поднимает на него глаза, вдруг потерявшие свой синий цвет, бледные глаза с подпухшими веками.

— Ксана, вчера все нехорошо вышло. У вас что-то случилось, да?

Ксана молча кивает головой.

— Я не знал. Я потом понял. Что же, Ксана?

Она молчит. Он еще раз задает ей вопрос.

— Шура, я не могу об этом.

— Но все-таки... Почему ты не хочешь сказать? Может, помочь надо?..

— Нет... Чем помочь?

Она машинально достает из кармана письмо Милы и тут же прячет его.

— Письмо? Из дому? Что там?

Ксана молчит, опустив голову. Лицо ее становится серым, как пыль на дороге. Тяжело, но решительно она встает с телеги, выпрямляется.

— Убит один человек... говорит она сухо и твердо.

— На фронте?

— Да.

— Кто он тебе, этот человек?

Она не отвечает, они долго стоят молча.

— Насчет лошади... Я это должен был сделать, — говорит он тихо и однотононо. — Ты сама тоже бы так поступила. Это приказ по армии.

— Да. Возможно... Вероятно, так, — после паузы отвечает Ксана.

— И я ведь не знал, что у тебя...

На стеклышко, вмазанное с глиной в стену сарая, падает солнце, и оно сверкает, как хрусталь. Шура машинально подходит к сараю и трогает стеклышко.

— Знаешь, Шура, — тихо говорит Ксана, — больше не будем об этом. Я совершенно не могу... Не могу. Я о другом хочу с тобой. Я в партию вступила.

Ей надо сейчас быть сильной. Надо думать о деловом, об общем. Только не о своем. Не давать душе метаться и болеть.

— Я знаю, Ксана.

— Я хотела спросить тебя, Шура... Как ты думаешь, что я еще должна делать? Как член партии. А то я все по-прежнему живу.

Мгновенная улыбка на миг освещает его лицо, но тут же оно снова становится серьезным, даже сумрачным.

— Все, что нужно и что можешь. Сверх этого ничего.

Ее брови кривятся.

— Зачем эта шутка?

— Нет, я говорю серьезно... Слушай, я так смотрю: коммунист — тот, кто считает себя ответственным за все, что мы делаем. А в тебе это чувство есть, — говорит он вдруг громко и резко. — И ты готова драться, если увидишь, что делается что-то не так. Правильно я говорю?

— Да, может быть... Вероятно...

— И ты готова делать все, что потребует от тебя Советская власть? Да?

— Да... — говорит она. — Конечно. — И, подумав, добавляет: — Но есть такое... Я хочу быть артисткой. А ты мне скажешь...

— А тебе скажут: иди, перевязывай раненых!

— Ну, это — другое дело, это я всегда... — волнуясь, отвечает Ксана.

— Таких дел может быть много, — медленно, с каким-то скрытым значением говорит Шура.

— Так это потому, что война, — полубоясь, полуспрашивает Ксана.

— Конечно! Советской власти нужны и артисты, — улыбается он. — Но ведь кто знает, что нас еще ждет... Война! И даже когда она кончится, ты не должна ограничиваться сценой. Надо много читать...

— Да, я люблю. Я всегда много читаю...

— Надо прочитать книги Маркса. Это трудно. Но очень интересно. И Ленина. Я вот был в одном кружке... К нам приходил большевик, он был в партии еще до революции...

Ксана сразу вспоминает девушку, которая укоряла ее в том, что она пошла в Красную Армию. Та девушка считала себя выше и благороднее, а по сути, была безразличной к тому, какая власть победит, лишь бы она сама могла учиться и хорошо жить. Ксана рассказывает об этом Шуру.

Он внимательно слушает ее.

Из дому выбегает Надя — не дождалась, пока Ксана пойдет за молоком. Она машет кувшином Ксане и Шуру и скрывается за калиткой.

— Машане. Помоги от них ждать не приходится, — резко говорит Шура. — Они безразличные... Может быть, постепенно привыкнут, поймут. Но... я других боюсь...

— Да? — вопросительно смотрит на него Ксана.

Шура медлит.

— Понимаешь, я с тобой говорю как товарищ. Обо всем надо думать. Нам, коммунистам. Но не успеваешь. Сама знаешь, бои. Иногда двое-трое суток с коня не слезаешь. А жизнь не ждет, пока война кончится, ставят вопросы. Я довольно много читал. Маркса, Ленина, Плеханова. В том нашем кружке. Там были замечательные умные ребята... Но, конечно, всего, что надо, не успел. И порой пытаешься сам разобраться в каких-то обстоятельствах. Я лично о многом задумываюсь. Вот, например, надо, чтобы в партию принимали только людей идеально чистых. Понимаешь, как это важно? И опасные тех, кто идет в партию, чтобы стать у власти. А власть человека, который не имеет твердых убеждений, опасна для революции. Тебе это понятно?

Ксана только сейчас замечает, что они перешли на «ты». Но она отбрасывает эту мысль. Ей хочется



ответить Шуре. Она мысленно перебирает всех коммунистов, которых знает: Рабичев, Духанина, Адоньев, Шура, комиссары полков, бригад, где она бывала,— нет, это все настоящие, честные люди, готовые все сделать для революции. Они, не задумываясь, пожертвуют собой, если нужно. Отдадут жизни «за други своя».

Топот копыт, громкие голоса прерывают разговор. По улице в облаках белой пыли проезжает группа конных. Они едут шагом, чубатые, иные с серьюгой в ухе, с длинными пиками, с саблями в ножнах. У кого-то блестит старинная секира. Передний казак через плечо перекинул — нет, не знамя, церковную хоругвь с золотой бахромой. На конях бархатные, коварные попоны, к седлам приторочены мешки со скарбом, гармоны, новые сапоги.

Шура и Ксана подходят к изгороди, вглядываются. Да что это! На одном казаке зеленая бархатная кацавейка, рукава буфами. Женская кацавейка. А этот в священническом облачении, оно распростерлось за его плечами, как плащ, и покрывает круп коня. Солнце сквозит пылью играет на золотой ризе.

Шура вышел за калитку.

— Какая часть? — строго спросил.

— Такая часть — не лезь волку в пасть!

Гогот, озорные выкрики покрыли ответ остряка. Шура промолчал. Лицо его побелело, глаза стали острыми, узкими, они неотрывно следили за проезжавшими. Он как бы изучал их, каждого в отдельности.

Проехали казаки.

За ними пара рослых лошадей тащила подводу. Высокая подвода, много на ней всякого добра, чемоданов, сундучков. Вся эта рухлядь покрыта ковром. На передней части подводы шатерки. Лежит на ковре женщина в цветном платье, голова в шатре — от солнца укрыта. Небрежно раскинуты голые босые ноги. Привязанная цепочкой к шатру, прыгает на ковре маленькая полинявшая обезьянка.

Развалясь, сидит на краю подводы возница, на одном ухе держится круглая фуражка-бескозырка с красным околышем.

Уж не перисдикскую ли княжну везет он атаману? Что ж кавалеристы, эта казачья воляница, не гогочут, не ропщут, не стыдятся атамана, не требуют, чтоб кинул ее в набегавшую волну? Эх, песня, где твоя правда!

— Махновцы, сволочи! — выругался Шура.

— Почему махновцы? — удивилась Ксана.

— Да были у Махно, теперь у нас. Воляница.

Анархисты-бандюги.

Он озабоченно посмотрел вслед удаляющемуся отряду.

— Пойду выясню, где стоять будут. Изолировать надо от наших бойцов. И рассредоточить.

Шура пошел было, но задержался.

— Рабичев проведет несколько бесед или докладов для политработников на политические темы. Постарайся послушать. Если, конечно, ваши маршруты сойдутся. Рабичев здорово знает, как складывалась партия. Тебе это будет интересно. Вот это мне хотелось тебе посоветовать...

— Спасибо, — сказала Ксана. — Между прочим, у этой княжны с обезьянкой я обязательно отняла бы лошадей.

Он чуть приопустил верхние веки, не то соглашаясь, не то обдумывая, как это сделать; поправил кобурку и быстро вышел на улицу. Проходя мимо Ксаны уже с той стороны плетня, он проговорил, как бы между прочим:

— Если тебе что-нибудь будет нужно...

— Нет, ничего.

Ксана повернулась к заскрипевшей калитке, ослепительно сверкнуло стеклышко на стене.

— Выдала? — спросила, входя. Надя и показала пустым кувшином в ту сторону, куда уехали конные. — Небось, грабят такие... Пошли, Ксана, в дом. Поедим чего-нибудь. Да надо собираться. Мы с тобой сегодня квартирными отправляемся. У нас почти час еще в распоряжении. Давай картошку на таганке сварим. Котелок почистим.

Надя говорила, занимала Ксану мелкими делами и заботами, заставляла ее что-то делать, но ни словом не упоминала о том, о чем они проговорили всю ночь, обливаясь слезами, читая и перечитывая письмо Миры и толкуя каждое его слово.

## ГЛАВА XXI

### ТРОЕ НЕСЧАСТНЫХ

Красные войска продавливались вперед с поразительной быстротой. Артисты никак не могли поспеть за передовыми частями. Старались доставать побольше лошадей, усаживались на подводы, и тогда обоз мчался почти вскачь. Но чаще лошадей едва хватало под имуществом трупы, люди пешком шли по сорок — пятьдесят верст в сутки.

Дни стояли жаркие. Казалось, солнце расплавляло воздух, и он то тек струями вниз, то бил вверх тонкими фонтанами.

Пыльные, усталые, с распухшими ногами, добирался артисты до ночевки. Иногда попадали в деревню, только утром отбитуя у поляков.

Какая же была радость вечером снять сапоги, смыть с себя пыль, забраться на сеновал и вытянуться на охалке сена или свежескошенной травы, чуть покрытой крестьянским рядом! До одури пахнет травой, пахнет смола, которую солнце вытопляет из бревен дома; хочешь не хочешь, заснешь блаженным сном, и такое хорошее приснится, что оторваться от сновидений нет сил.

Белая луна повисла над дырявой крышей сеновала. Велик сеновал, почти все артисты улеглись в ряд, один подле другого — сначала женщины, потом мужчины. Посредине лежит Адоньев, комиссар.

Спите, спите, усталые артисты, кочующие по военным дорогам, набирайтесь сил для завтрашнего похода. Может, спектакль придется сыграть, будут вас слушать и потом благодарно улыбаться утомленные мужские и мальчишеские лица за растрепанные сердца, за добрые мысли. Отдыхайте хорошенько, артисты!

Нет, кто-то не спит, тихо ворочается, чтоб не разбудить соседа, чиркает зажегальной, покуривает в кулак, несмотря на запрет, и все смотрит и смотрит на кусочек луны, повисшей над дырявой крышей.

С дальнего конца сеновала приподнимается чья-то голова, вдыхает воздух, шепчет:

— Кто ж это закурил? Ты, Ксана? Не урони только огонь, осторожно.

— Ладно, — откликается Ксана. — Это кто? Ты, Маруся?

— Ага. И мне охота покурить. Махра далеко? — Ложи, я брошу. И бумага в кисте... Поймала?

— Спасибо, есть.

С двух сторон плывут над спящими клубы дыма.

— Осторожно, не урони огонь, — теперь говорит Ксана.

— Не уронию, — шепчет Маруся.

Покурили. Погасили «бычки». Тихо.

Летняя ночь коротка. Люди просыпаются рано под нестройные звуки деревьев — пугливый крик, визг щенка, скрип журавля у колодца, грохот ведер; прыгают вниз с сеновала, поливают друг друга на руки, умываются.

Ксана идет вялая, невыспавшаяся.

— Ты ночью курила? — спрашивает Надя, когда они уже снова шагают по дорожной пыли.

— Курила.

— Знаешь, Ксютка, надо что-то изменить. Ты хажешь на глазах, ходишь, как неживая. Я знаю, боль твоя долгая, может, на всю жизнь. А перед тобой сцена, театр. Ты душу свою не умертвила, душа театру нужна. Перебороть себя надо. Жить, а не умереть. Ты ведь сильная... Кругом горе. Сколько убийств! Василису вспомни. Это же страшно, когда человек живо помирает. И Николай бы осудил тебя.

Идуть, молчат.

— Мне очень неприятно, Ксанка, но я тебя еще огорчу. Я уехать должна.

Ксана останавливается.

— Сейчас?

— Сейчас. Муж телеграмму прислал. Болен. Он меня уже давно все зовет, а теперь болеет, после тифа никак не оправится. Ему плохо, я должна ехать. В Подиве я уже сказала. Ты не печалься. Пока пришеварюсь к Марусе Емельяновой, я с ней поговорю.

— Пыль какая! — тяжело задыхалась Ксана, свернула на обочину дороги. — У меня в голове пыль. С ума я сойду.

— Вот что! — Надя свернула за ней, резко остановилась. — Разве Николай хотел бы тебя видеть такой?

Ксана смотрела широко открытыми глазами на Надю.

— Я с тобой всерьез говорю. Боль свою при себе носи, непоказ не выставляй.

— Напоказ? — ахнула Ксана. — Я никому и не рассказываю. Ты же знаешь...

— Знаю. И носи ее в сердце. А живи, как все. Понимаешь меня? Придет время, полюбишь кого-нибудь...

— Никогда! Не смей этого говорить! Ты не можешь понять...

— Полюбишь, Ксана. Я тебя уже знаю. Ты горячая душа. Полюбишь! Но не так. Он всегда будет с тобой. Всю жизнь. Вот увидишь. И живи так, как он хотел бы. Как вы хотели вместе. Ведь говорили об этом. Как жить? К чему стремиться?

— Да! Да! — резко сказала Ксана и заплакала.

— Ну так вот. А я уеду, как только смогу. Подойдем поближе к железной дороге, я тихо уйду, без прощаний. Не люблю прощаний. Да ведь я вернусь. Я и вещи все тебе оставлю. Но понимаешь, дело вот в чем. Я еще Яна повидать хочу. Где он сейчас, не знаю. Как услышу, так сначала туда и брошусь. Мне необходимо его увидеть. Об этом не хочу всем болтать. Ну, да ладно! В общем, Ксанка, я вернусь. Я с тоски подохожу без вас всех, без тебя. Дочки-то у меня нету...

Ксана обняла Надю, прильнула к ее плечу.

— А мне как будет без тебя! И как трупца будет, не представляю.

— Ну, так держись молодцом, Ксана. Я тебя еще должна на сцене увидеть, на настоящей сцене, в хорошем театре.

Они поглядели вслед обозу, далеким пятнышком рисовался он на дороге.

— Ну, бегом!

И они помчались, то обгоняя друг друга, то отставая, громко дыша, и крича, и толая, и вспенная воздух, как воду.

Вскоре Надя исчезла. Так тихо и незаметно, что некоторые артисты узнали о ее отъезде только через несколько дней.

Все такая же ясная держится погода, все так же широко поля, душит воздух и красивые закаты. И по-прежнему мчится трупца след за боевыми частями дивизии, то догонит, то отстанет, съедется с Политотделом, устроит на привале короткий митинг-концерт — и снова вперед.

Только холоднее и суровее стало на душе у Ксаны. Вот она, все такая же, коротко остриженная девочка, в солдатской гимнастерке, брюках и сапогах, шагает впереди обоза одна или с товарищами. Вот в своем синем платьишке читает бойцам стихи, вот бежит рано утром к реке или к колодцу, чтобы кое-что постирать, помыться, принести воды в хату. А вот где-нибудь у клуны сидит с хозяйкой хаты и рассказывает ее о крестьянском горестном житье, о востях, что сменялись здесь одна за другой, и сама объясняет, за что воюет Красная Армия и какая будет жизнь дальше. Она, если строго сказать, этого толком не знает, только в одном твердо уверена: самая справедливая, без обид для человека, без обмана и с равными благами для всех.

А еще Ксана часто где-нибудь в сторонке сидит со своей тетрадкой, пишет и черкает, пишет и черкает.

...На луку будто большой табор раскинулся. Много

войска подъехало к вечеру, всем в деревне не разместиться. Костры, повозки, орудия. Стрелковые кони громко жуют траву. Люди сидят кучками у костров, кашеварят, ужинают, бродят по лугу, лежат на траве и смотрят в небо.

Маруся Емельянова нашла Ксану на краю луга, у пригорка.

— Ты что в темноте пишешь? Письмо?

— Нет. Так.

— А чего же ты удалилась? Хожу ищу тебя.

Они пробуждаются среди колючей, обходя спящих, мирно беседующих или занятых делом людей, перекидываются словами.

— Там наши большой костер сложили. Сейчас дай ужин приготовим. У тебя есть что-нибудь?

— Хлеб есть. Сахар. А больше, кажется, ничего нет. Не знаю.

— Эх, ты! Привыкла, чтоб о тебе забылись? Теперь придется самой о себе думать.

Ксана молчит.

— Что, загрустила без Нади?

— Да,— коротко отвечает Ксана.

— Ничего. Это скоро пройдет. Надо все сносить терпеливо...

Ксана не отвечает. Ей кажется, что Маруся говорит какие-то уловистые слова, они ложатся между людьми кривыми неровностями, острыми, шероховатыми изломами, неутоят от них человека.

— Ты еще не знаешь, что такое в жизни одиночество.

В тоне Маруси сквозит загадочность. Она имеет в виду что-то свое, тайное, никому не известное. Но Ксане не хочется расспрашивать, душа ее переполнена своей большой болью. Она, эта боль, сложена там, как огромная каменная гора,— чужое принять некуда.

— Ты еще не знаешь жизни, тебе ведь совсем мало лет,— философствует Маруся.

Ксана начинает хитрить, она далеко обходит людей, повозки, костры, так они с Марусей то разъединяются, то сходятся; говорить на расстоянии, урывками трудно.

Наконец они у своего костра.

Ксана ставит на угли котелок. Маруся приносит свой котелок и ставит рядом.

— Разве нам не хватит кипятку?— удивляется Ксана.

— А я не знала, что ты и для меня поставила.

— И для тебя, конечно, и для всех, кому надо,— говорит Ксана.

Она садится, обняв колени руками, и смотрит в костер.

Недалеко маячит высокая фигура Сковороца, он кружит около костра, издали наблюдает, как Маруся и Ксана наливают и пьют кипятком. Кто-то из артистов предлагает ему кружку, он принимает ее и стая тоже пьет.

На ночь Маруся и Ксана решают устроиться на подводе. Расстелила одеяло, Маруся говорит:

— Видишь, я разделила подводу на две равные половины. Беру одеяло и вымеряю, сколько раз его надо сложить, чтобы точно покрыть только свою половину, не захватить на твою.

Нет, шутки нет в ее голосе. Речь серьезная, довольно громкая и излишне выразительная, как на сцене.

Ксана немного теряется.

— Хорошо,— бормочет она.— Я постараюсь тоже так делать.

Это она говорит, чтоб прекратить разговор, ей очень неприятно слушать поучения Маруси, ей кажется, что Маруся делает все неумело, нерасторпно. Надя никогда не говорила ничего о своем умении, но руки ее летали быстро, незаметно, как бы между прочим делали свое дело, а говорила она в это время совсем о другом, о чем-то приятном, добром. Вот так же всегда делала мать Ксаны. У нее тоже быстрые, легкие руки. И она тоже не ставила себя в пример и не поучала.

Пока Маруся стелет, Ксана идет отыскивать Клаву Понсет, Дусю.

Да как же они славно устроились! Расстелили на земле театральные ковры, покрывала и улеглись рядом — большая часть артистов. Им всем весело, они дурачатся, смеются, встречают Ксану добрыми шутками. Ксане тоже вдруг становится легко, тяжесть на сердце оборачивается горем Снегурочки.

— Чуй! Смеются...— говорит она, стоя над ними, — а я стою и чуть не плачу с горю.— Голос ее взволнованно дрожит, все вокруг умоляют и смотрят на нее.— Прав пригожий Леля, беги туда, где любят, ищи любви, ее ты стоишь... А сердце Снегурочки, холодное для всех, и для тебя любовью не забудется!..»

И, замолчав, садится у их ног на ковер.

— Ну что же, дальше, дальше!— кричат ей.

— Как хорошо ты это прочитала!— тихо и торжественно говорит ей Клавя.

— Давай к нам!— зовут ее.— Ксана, иди к нам!

Даже старик Романов улыбается.

— Надо бы поставить «Снегурочку», хоть один акт,— говорит он.— Леля только нет.

— Да, Леля нет!— Это голос Сковороца.

Он стоит позади Ксаны. Ксана сразу спохватывается — надо идти укладываться.

Алексей Степанович идет вместе с ней и как-то придерживает шаг, Ксане приходится идти медленнее.

— А вы уже с Марусей устроились?— спрашивает он Ксану.

— Да.

— Знаете, Ксана,— после небольшого молчания говорит он,— вы, наверно, понимаете, какие у меня сложные отношения сейчас с Марусей.

Ксана почти останавливается от удивления. Нет, она не замечала их отношений. Собственно, она просто об это никогда не думала. Если разобраться, конечно, странно, что она не подумала. Ведь вот уже несколько дней, как уехала Надя, и она, Ксана, вместе с Марусей устранивается на ночлег, вместе ходит за пайком к походной кухне. А Сковороц соединился к Ирамскому и Дусе. «Ах, как я невнимательна к людям!»— укоряет себя Ксана.

Ее молчание Сковороц понимает по-своему.

— Об этом очень трудно говорить. Вы, верно, осуждаете меня, но вы многого не знаете. Да, я виноват. Но, понимаете, я не в состоянии все объяснить. Я только хочу одного, чтоб она простила меня. Я же люблю ее.

— Боже мой!— вырывается у Ксаны. Только сейчас ее озаряет догадка. Это он! Оказывается, это он! Зоя, бедная, глупая Зоя! Да, он и бедная Маруся!

— Я вас прошу об одном. Вы теперь часто с ней вместе. Может быть, она с вами будет говорить об этом. Помогите мне. Я не могу расстаться с ней.

— Да, конечно, конечно,— бормочет Ксана.— Но как же это? Что я могу? Пусть Маруся сама все обдумает.

## НАЕДИНЕ С СОБОЙ

— Да, но все же я прошу вас,— говорит Скорцов уже удаляющейся Ксане.

А Ксана в смятении бежит к своей подводе. Она не знала, что ответить Скорцову. Она страшно смущена. Он, взрослый человек, обращается к ней, девочке, с просьбой помочь! Но как она может помочь? Как? Ведь он же сам виноват во всем! Так это, значит, он! Он!

Ксана ничего не может понять. Ей раньше казалось так: глупая Зоя. И подлец он! Тот, кого так назвала Зоя. Но, оказывается, ведь еще есть несчастная Маруся. Она жена его. Как же, это могло случиться! Зоя знала, что Маруся его жена. И даже больше. Вот он страдает, он любит Марусю. Зачем же он так поступил! Зоя — девочка против него. Он мог быть ее отцом. Зачем он так гадко поступил! Не любя ее! Любя другую, свою жену. Так гадко поступил с обеими! И теперь просит ее, Ксану, помочь? Он просит. Он страдает. Он любит ее, Марусю. Значит, и он несчастный! Какая страшная, мучительная для всех троих история! Все несчастные. И больше всех Зоя. Потому что она любила, и пострадала не только она сама, Зоя. Но убита ее любовь. Так гадко убита!

Ксана подходит к подводе. Маруся лежит с открытыми глазами, молчит, думает о чем-то. Вот именно об этом думает. Несчастная Маруся!

Ксана стелет себе постель рядом с ней, уже не чувствуя к ней той иронической раздражительности, которую ощущала всего полчаса назад. Но разговаривать с ней сейчас о чем-нибудь она боится. Она просто еще слишком поражена. Она не разобралась во всем. Она хочет одна все продумать.

И Ксана ложится, повернувшись спиной к Марусе. — Я люблю спать на левом боку,— объясняет она.— Тебе удобно?

— Да. Мне кажется, мы точно пополам разделили подводу,— замечает Маруся.

Ксана тихоноко усмехается. Бог с ней, пусть себе тешился этими мелочами, этой ерундой. Но как же она, как же она несчастлива!

Вокруг все стихло. Только спутанные кони жуют и топчут, перепрыгивая с места на место и звеня постромками. Люди спят.

Ксана лежит и думает: неужели это тоже любовь? Значит, бывает и такая, недобрая, несчастная и нечистая любовь? «Бедная, бедная Зоя!» — в который уже раз повторяет она про себя.

А рядом смотрит на звезды Маруся и шумно вздыхает. «Бедная Маруся!» — думает Ксана. — И я столько времени не догадывалась, что ей так плохо». Как же, как же это могло случиться!

...Ксана устала от дум, постепенно она начинает засыпать. Словоз дрему ей слышится чьи-то шаги. Боже, да ведь это Скорцов! Он ходит и ходит вокруг, обдумывая, как примириться с Марусей.

«Несчастный Алексей Степанович!» — засыпая думает Ксана. — Несчастный, сделавший несчастными троих».

Нет, ей не хочется с этими мыслями уходить в сон. Есть в этой истории то, что отвращает Ксану, что-то темное, неприглядное. Она не хочет сейчас больше думать об этом, она захлопывает свою душу для мыслей о трех несчастных.

И погружается в свое, в мир своего горя, своей любви, своего будущего, своего искусства.

И странно: словно исчезает шум и грохот, который стоял до сих пор в ушах,— она только сейчас, когда он прекратился, поняла, что он был,— вокруг стало тихо, мягко и нежно. И с:а успела.

**3** а высокой белой стеной парк. Ровные аллеи, мостики через рвы, огромные дубы с замаслированными глиной раками, кусты берез на полянках, темно-зеленые, и серебристые, и дымчатые елки — царство тишины. Словно нет уже войны, нет обзоров на дорогах с фронту, нет вызывающего озноб треска пулеметов, нет раненых...

Каждый день, если не надо было выезжать со спектаклем, Ксана приходила в парк. Она надевала свое синенькое платье — ей казалось, в этот парк невозможно приходило в брасах и сапогах — и бродила одна, подолгу стояла и слушала, как шумят высокие вершины дубов и грабов, как шуршит под ногами трава. Ей представлялось, что все это она уже когда-то видела, что давным-давно здесь жила, бегала по тропкам, босиком переходила ручеек, который протекал через грот, выложенный из камней.

Ей нравилось здесь, она сливалась с этим парком и становилась как бы частью великого покоя и тишины, где все события представляли перед ней в асном, очинченном от всего случайного виде, где она могла разговаривать с собой откровенно, строго и требовательно и обдумывать все, что отложилось до этой минуты. Она много думала о Николае, вспоминала их восторги, разговоры. Невозможно было представить, что он умер, — таким живым возник он в памяти. Даже не нужно было закрывать глаза, чтобы асно-исно увидеть его черные прямые блестящие волосы, его лицо с розовато-смуглым румянцем, сухие теплые руки и странный хрустальный перстень с печаткой, который он носил. Она слышала его голос, слова, которые он любил, и все, что он говорил о будущем, о своих несбыточных планах... Она думала о нем как о живом; иногда вспоминала что-то забавное и тихоноко смеялась. Поминю сознания, у нее возникало ощущение, что вот они встретятся и она расскажет ему все, что здесь приходило ей в голову, когда она бродила одна.

Но очень страшно было среди разных дел, на репетиции, на спектакле вдруг неожиданно вспомнить: его нет. Каждый раз болезненно сжималось сердце, словно она только сейчас узнала об этом.

Недавно Ксана получила письмо от матери.

«...Милая, дорогая дочка,— писала мать,— мы все живы и здоровы, тяжело переболели тифами, голодали. Сейчас легче. Была Маруся, спрашивала, нет ли писем от тебя. Еще раз приходила мать Коли. Бедная женщина, это ее единственный сын! Уже скоро год, как о нем ничего не известно. Приезжай скорей, Ксюточка, мы очень беспокоимся за тебя...»

Ксана не заплакала. Она ведь уже знала, что его нет. Ей только очень трудно было теперь с людьми — рассказывать о Николае она не хотела, а говорить о чем-то другом не могла. Этот парк в Ушомире был ее спасением.

Маруся сердилась:

— Ну куда ты убегаешь одна? Пойдем вместе. Или тебя кто-нибудь ждет?

Ксана улыбалась.

— Да, ждет.

Несколько раз пытался поговорить с ней Скорцов, он как бы случайно встречался ей у парка, — относился с Марусей у него не наладивались, он искал помощи у Ксаны, видимо, надеясь на дружеские откровенные разговоры двух актрис между собой. Но

таких откровенных разговоров не происходило, да Ксана и не хотела бы выслушивать историю отношений людей, в общем далеких ей. Она уклонялась от разговоров с Алексеем Степановичем и пряталась от него среди густых елок. Лицом к лицу она встретила в каштановой аллее с Алешей.

— Я тоже часто гуляю здесь, — сказал он.

— Почему же я не встретила вас? — удивилась Ксана.

— Мне казалось, что вы любите быть одна.

— Да, я люблю этот парк. Мне здесь так хорошо, что иногда кажется, будто война уже кончилась давным-давно...

— Хотите, Ксана, я познакомлю вас с моими друзьями в этом парке? — спросил Алеша.

— С друзьями! — протянула Ксана.

— Вот, — улыбнулся он, — хочу представить вам этого подгулявшего паренюшку, он почти готов пуститься в пляс. — И Алеша остановился перед молодым серебристым тополком, как-то забавно изогнувшимся в сторону.

— А вот выход принцессы с ее свитой.

И действительно, за красивой серебристой елкой танулись пары невысоких елочек, нижние ветви их, широко разросшиеся, лежали на траве, как шлейфы.

— Теперь поглядите, как бегут молодые крестьянки-березы от страшного карлика. Обратите внимание на его исклоченные волосы и бороду.

Ксана еще не видела такого дерева: оно росло корнями вверх, и, если оглядеть все сразу, здесь рисовалась целая немая сцена, представление, которое давала сама природа.

Они постояли, полюбовались.

— Вы придумываете для меня сказки, как для маленькой, — сказала Ксана.

Алеша резко повернулся к ней.

— Скажите, Ксана, чего вы ждете от жизни? Как вы хотите жить дальше, после войны?

— Не знаю. Сцена — вот все.

— Я хочу вас спросить о вашем, личном. Не сердитесь. Вы кого-нибудь любите?

Они долго шли молча.

Алеша остановился, заглянул ей в лицо.

— Ну не надо, не надо, не говорите. У вас сейчас такие глаза...

Алеша сорвал еловую шишку, куда-то нацелился, швырнул. Стал рассказывать всякие пустяки.

У выхода зашел в штаб, попрощался.

Ксана пошла домой по пыльной немощеной улице, мимо белых украинских хат, мимо потемневших



от времени и непогоды дощатых домов, похожих на голые рундуки, торчащие на площади, где некогда был базар. Из этих домов выходили сейчас чернорабочие, седебородые, рыжебородые старики евреи в черных шапочках и длинных черных пальто. Рядом с ними, немного позади, шли мальчишки и несли в сумках священные книги.

Из всех домов старики выходили в одно время и направлялись в молитвенный дом. И казалось, что по улице идет процессия.

Ксана постояла, посмотрела на приоткрывшийся край чужой жизни.

— Чи николи не бачили, як люди до своєї церкви ходять? — спросила молодая украинка, копошившаяся у белой хаты, возле которой Ксана остановилась.

— Нет, не видала, — ответила Ксана.

— То-то я бачу, що вам в ньому... А мы уж туточки родились, то и привыкли. Мы по-своему, они по-своему. Як кому бог положил.

Наступали сумерки. Труппа давала концерт. Ксана предстояла вместе с Непомнящим сыграть сценку из пьесы «За народное дело». Жандарм допрашивает арестованную революционерку. Она произносит

речь о свободе, осуждает монархию, полицейский произвол. «...Вы не заставите меня смириться! Наши души уже разбужены зовом свободы. Ваше царство насилия рухнет. Все ваши законы, тюрьмы, ссылки не смогут задушить революцию...»

Ее удивляло, что публика внимательно слушает. И аплодирует. И все говорят, что Ксана хорошо играет, но она-то знает, что играет плохо. Просто скверно. Безобразно играет. Она не верит, что революционерка может на допросе говорить такие речи. Да если здраво подумать, кому она это говорит? Жандарму? Зачем? Нет, Ксана не любила эту сцену. У нее всегда оставалось чувство, что она фальшивила и лгала зрителям.

Лучше бы она вышла и прочла:

Тиха украинская ночь.  
Прозрачно небо. Звезды блещут...

Она смотрела бы через головы зрителей в эту прекрасную ночь, на звезды и рассказывала бы о них. И о странной, трагической любви Марин. О страстях человеческих. О вечных горестях. И люди бы плакали...

Как ей хочется сыграть сильную роль! У них нет пьес. И достать негде.

Мариню Стюарт — вот кого она сыграет, конечно, не сейчас, нет, а когда выучится и станет настоящей актрисой. Мариню Стюарт! Или еще она сыграла бы Катерину в «Грозе», да, Катерину обязательно. А наивно, есть еще пьесы, где выведена роль сильная, трагическая, роль героини Жанны д'Арк. Или лучше Софьи Перовской, да, да, вот что, революционерки настоящей, готовой жертвовать собой ради великого дела. Живая роль! Без этих пустых и звонких монологов, где нет правды. Пусть лучше она будет сдержанной, строгой, но настоящей, правдивой. Неужели никто не написал пьесы о Ветровой, этой девушки-революционерке, которая сожгла себя в камере Петропавловской крепости? Она не вынесла позора истязаний и насилия.

Уж тут не может быть никакой декламации. Здесь каждое слово должно считаться гневом и кровью. Такая пьеса должна быть! Может быть, Ксана сама напишет ее!.. Напишет, обязательно напишет... «О гордычка, — думает Ксана о себе, — о чем загадывает!»

Она счастливо смеется и прикидывает лицом к грязной кулисе.

Кто-то сильно толкает ее в плечо. Дуся!

— Тебе выходить, Ксана! Ты что? Уже объявили.

Вздригнув, Ксана оглядывается. Видит удаленное лицо Скворцова, возмущенное — Романова, испуганное — Клавды Понсет и выходит на сцену.

Она стоит перед жандармом. Он предлагает ей прекратить революционную деятельность, тогда он отпустит ее, дочь богатых родителей.

— Нет, — говорит она, — вы не заставите меня смириться. Наши души уже разбужены зовом свободы. Ваше царство насилия рухнет...

Публика — красноармейцы и местные жители — аплодирует ей.

Но она выбегает во дворик, ни на кого не глядя, и мечется, не зная, куда прийтись. Тихий Коля Поторгуев сворачивает ей самокрутку, осторожно, боясь просыпать махорку, подает ей, чтобы она лизнула и заклеила.

— Ксана, скорей на выход, — говорит, выглядывая в дверь, Скворцов. — Читайте на бис «Товарищ». Слышите, как хлопают!

— Не буду, не пойду, не пойду, — нервно отвечает Ксана.

— Как это — не пойду? Вас вызывают, — как всегда сдержанно, говорит Скворцов.

— Ну что ты, Ксана, — тихо уговаривает ее Коля Поторгуев, — раз нужно, значит, нужно.

— Вы же хорошо сыграли, — удивляется Сорокин. — Идите скорей!

— Что вы ее уговариваете? Маленькая, что ли? — брызжет гневом старик Петр Михайлович. — Вот она, молодежь! Никакой дисциплины, никакой ответственности!.. В наше время бы...

Ксана поворачивается ко всем спиной и резко, сердито бросает:

— Не пойду, не буду, не буду! — И выбегает в темную улочку.

Пока старик Романов, красный от волнения, выходит на сцену и читает «Злоумышленника», Ксана мчится по улицам, словно за ней гонятся, выбегает на дорогу. Рядом тянется ржаное поле. При свете месяца золотятся колосья. Она сбавляет шаг и идет, подставляя лицо ночному ветру. Узкая стеньга ведет к невысокому зеленому пригорку, что возвышается среди желтой ржи. Ксана идет по стеньке, колосья цепляются за ее платье и шуршат, как бумага. Она садится на пригорок, освещенный луной, и двумя руками держит сердце, которое хочет выпрыгнуть. «Нет, нет, — говорит она, — нет!»

Кругом тихо. Ровно и спокойно дышит земля.

## ГЛАВА XXIII

### С ЧИСТОЙ ДУШОЙ

Деревня, где остановились артисты, лежала вдоль самой дороги. Здесь проходили войска вперед к фронту, здесь провозили раненых в тыл. В деревне было голодно: частью съедено армией, частью припрятано крестьянами.

Артисты получили приказ дожидаться в этой деревне Политотдела дивизии. Он должен был появиться в ближайшем один-два дня. А меж тем продовольствие кончалось, паек получить было негде, в деревне на постое войска было мало.

Ксана вызвалась пойти в ближайшее село за какой-нибудь съедной. Шла поем. На узких полосах зрела пшеница. То здесь, то там лежала незаезженная земля. Видно, не хватало семян, не хватало пахарей. На этой незаезженной земле зелела трава, сквозь нее проросло прошлогоднее осипавшее зерно. Высокие редкие колосья покачивались ветру, будто издали кланялись друг другу.

По пути Ксана повстречалась пленным. Они шли расстроеными рядами, неторопливыми, вольным шагом. Их хмурые молодые лица казались посыпанными пылью, но одежда была опрятной, словно только сегодня их обмундировали. Четыре красноармейца конвоировали группу человек в двадцать.

Ксана стала на обочине, рассматривала пленных, она их видела впервые. А те, проходя мимо, поворачивались лицом к девушке в военном, но глядели куда-то поверх ее головы, вдаль, будто увидели что-то за ее спиной, и быстро крестились по-католически, слева направо.

Ксана обернулась. Далеко в поле стоял высокий крест. Его очертания резко выделялись на фоне светлого, почти белого неба. Зачем он здесь, в поле? Кто молился ему? Кто плакал у его подножия?



Жутко было смотреть на этот крест, возвышавшийся над безлюдными, оскудевшими полями.

Ксана заметила, что польские солдаты тоже смотрят на это поле с жалостью и печалью людей, которые с детства привыкли выращивать хлеб. Да они ничем, кроме одежды, и не отличались от красноармейцев, которые еще недавно были деревенскими парнями. И жили эти жолнежи на такой же земле, только чуть подальше к западу. А возможно, это были фабричные, которым так же знакома была трудная и насытая жизнь, как и русским рабочим хлопцам.

И было удивительно: как же это случилось, что эти люди оказались на той стороне, что не скинули до сих пор своих панов-помещиков, панов-купцов, а покорно пошли воевать против своих братьев-трудяг? За что, за кого воевать? За этих панов?

— Господи, да за что же вы воюете? — вырвалось у Ксаны.

Несколько пленных остановились. А один с худым высокомерным лицом и рукой, перевязанной бинтом, сквозь который просочилась яркая кровь, шагнул в сторону Ксаны и резко сказал незнакомыми словами:

— А нащо тутэй панёнка? Бжидко! Дётско ёщи! — Проходи, проходи! — крикнул конвоир и перерезал: — Нащо паненка!.. А сами женский батальон выставили под Варшавой!.. Ну, торопись, торопись! Живой! — скомандовал он, сердясь, натужно краснея и размахивая винтовкой.

Пленные прошли мимо, поднятая пыль засветилась на солнце. Ксана проводила их взглядом. Двое молодых парнишек-поляков, похожих, словно братья, оглянулись — глубокая тоска была в их строго вычерченных лицах.

Ксана пошла вперед, и уже видневшемуся селу, и почему-то долго с печалью несла в своей памяти лица пленных юношей.

В селе она зашла в одну, другую хату — всюду

отказывались продать красноармейке хлеба или картофеля.

— Тай ничего немає,— сухо отвечали ей и захлопывали дверь. Другие отглядывали девочку в красноармейском — винтовки за спиной не было,— бросали оскорбительно:

— Проходьте мимо, бог подаст.

— Я же не прошу даром,— волновалась Ксана,— я купить хочу.

Накануне в это село ходил Толя Дмитриев, и хотя он чертыхался, что здесь все проданы мировой буржуазии, все-таки принес фунта два пшена и курицу.

— Ну, куда ты идешь? — дразнил он сегодня Ксану.— Хотя винтовку мою возьми или обрез свой, что ли? Нашли, скажут, кого послать. Дитяго посылают.

— Ну да,— возмущалась Ксана,— что я, реквизи-ровать собираюсь, что ли?

И сейчас она шла по широкой, заросшей травой улице села, уже не заходя в хаты, сердито поглядывая вокруг. Красноармейцев встретилось ей мало, очевидно, здесь стояла небольшая воинская часть.

«Наверно, и правда тут одни кулаки живут. Деревня не разоренная, в сараях коровы стоят, свиньи хрюкают. Жалко им, что ли? Ну и не надо, черт с ними. Не первый раз голодали!»

Она уже прошла деревню из конца в конец и была рада выйти на луг, чтобы не видеть этих недобрых хат с закрытыми окнами, из которых, наверное, следят за ней чужие, злые глаза. Только стыдно было перед своими, перед Марусей, которая будет смеяться, что вот она, Ксана, ничего не умеет, что ее избаловала Надя, которая все делала сама.

«Ну и пускай, ну и пускай! — мысленно отговаривала ей Ксана.— Пусть сама попробует!»

У одной из крайних хат Ксана увидела пожилую женщину, она уже вошла в калитку, но, заметив Ксану, приостановилась, повернула к ней голову.

Ксана осмелела, подошла к ней.

— Не продадите ли чего съестного? — спросила.  
— Нема! — тихо сказала женщина и покачала головой. — Правда, нема. Здесь не все богато живут.

Ксана повернулась, отошла.

— Стойте минутку, — вдруг позвала женщина и скрылась во дворе.

Скоро она вышла и вынесла несколько яиц в марлевом платочке.

— Да возьмите с хусточкой, как же нести-то? — предложила она, видя, что Ксане не во что положить этот пяток яиц.

Ксана вынула кошелек.

— Да что вы, бог с вами. Какие же тут деньги? Своя курочка снесла. Возьмите, возьмите, — уговаривала она Ксану. — Кабы что еще было, с охотой дала бы. Как глянула на вас, думала, хлопчик...

Что-то в этих словах тронуло Ксану, ей не показался обидным отказ от денег. Она взглянула в лицо женщине, и сердце ее сжалось. Вот такие же светлые, заплаканные глаза были у ее матери, когда отец сидел в тюрьме у белых. И не только глаза. Эти бледные виски и щеки, этот ожидающий, тревожный взгляд — все напоминало мать. Ксана почти задохнулась от внезапно нахлынувших и оживших чувств.

— А я обернулась, показалось — хлопчик... — глядя поверх головы Ксаны, куда-то в далеком небе, сказала снова женщина. И за этими словами чувствовалась боль, которую трудно высказать.

Ксана молчала. Она боялась спросить, боялась коснуться чего-то неизвестного ей.

— Убили моего хлопчика...

Серые заплаканные глаза глянули на Ксану, виски налились краснотой. Женщина повернулась и быстрым шагом, не оглядываясь, пошла к своей калитке.

Ксана постояла немного, вышла за село, неся в марленке подарок женщине. Она не пошла по лугу, а свернула в сторону, чтобы ее не было видно с улицы, и побежала по-за огородами, за садами, за сараями, радуясь, что здесь пустынно и не встречаются люди. Она задохнулась от бега и села отдохнуть в какой-то ложбинке, осторожно положив на землю яички; обняла руками колени, сидела и качалась из стороны в сторону.

— Убили моего хлопчика... Убили моего хлопчика... — повторяла она про себя.

Багровое небо склонялось вниз где-то недалеко, как будто горизонт был совсем рядом, и по этому небу медленно скользило огненное солнце. Оно то расплывалось в огромное пятно, то дрожало и по каплям срывалось вниз.

Ксана не разбиралась в том, что ее так потрясло, она ни о чем не думала, ее просто охватили странные ощущения: будто это у нее убили хлопчика, не женщина сказала ей об этом, а она, Ксана, сказала. Все переплелось: у этой женщины убили хлопчика, и у другой женщины, которая приходила к ее, Ксаниной, матери спрашивать, нет ли писем, тоже убили хлопчика, сына. И у нее, Ксаны, убили дорогого ей человека. Эта чужая женщина с глазами ее матери сказала самое главное, самое страшное, что случилось и чего уже никогда нельзя изменить. И это крепко связало с нею Ксану, обе они почувствовали это. Ксана была полна благодарности к чужой матери, сочувствия и еще чего-то, что роднило их.

Вечерело. Впереди вправо, очевидно, была река, узкая тропинка вела куда-то вниз, за пологие холмы. Солнце наполовину уже скрылось за этими холмами. Повеяло сыростью воздухом.

Ксана встала и пошла по лугу, ближе к реке: ей захотелось посмотреть, действительно ли там река. На фоне багрового неба отчетливо и ярко выри-

совались две фигуры. Они торопливо шли, одна за другой по тропинке, что вела через холмы вниз, к реке.

Было что-то странное в этом быстром шествии, почти беге, вечером, в пустынном месте.

Ксана ускорила шаг, чтобы подойти поближе. И остановилась в ужасе. Теперь было ясно видно: впереди шел солдат, за ним с револьвером в руке, подгоняя и направляя его прикосновением дула, следовал комиссар бригады Александров. Ксана знала его. Не раз артисты давали спектакль в этой бригаде, не раз Александров беседовал с ними, угощал их ужином. Неожиданно Ксана разглядела впереди еще одного красноармейца, он как бы ожидал приближающихся комиссара и солдата.

— Что это? — проговорила Ксана. — Что это? — Она подошла еще ближе. Теперь ей открылся другой, пологий берег и край реки, будто вылитый из красного стекла. А фигуры красноармейцев и комиссара спустились с холмов вниз, и их не стало видно.

И тут страх охватил Ксаной, и она побежала. Но побежала не к себе, домой, через луг, а назад, в село, где, очевидно, стоял штаб бригады, где можно было найти командира и все ему рассказать.

Вдур до нее донесся короткий и резкий щелчок револьверного выстрела. Он прозвучал в тишине так громко, что Ксане показалось, будто она оглохла.

— Что же это? Что же это? — вскрикнула она и, покрываясь потом, побежала еще быстрее мимо огородов, меж домов, стремясь попасть на ту широкую улицу, по которой она уже сегодня шла.

Солнце соскользнуло за холмы, и сразу стало темно. В хатах не было видно ни огонька.

Ксана так торопилась и так волновалась, что вместо дыхания у нее вырывались стоны. Она не могла сдержать их, даже когда останавливалась, чтобы спросить у редкого прохожего, где стоит штаб. Наконец ей попался красноармеец, который проводил ее до хаты с высоким и узким крыльцом.

Недалеко от крыльца топталось несколько привязанных к тыну, оседланных коней.

На ступеньках сидел молодойный красноармеец в буденовке, на коленях его лежала винтовка. Ногой он небрежно пригладил путь Ксане.

— Нет входа! — резким мальчишеским голосом сказал он. — Кто идет и по какому делу?

— Я иду к командиру, — заявила Ксана, — мне нужен командир и никто больше, — и перелезла через ногу часового.

Тот вскопчил и, загоразжив путь винтовкой, стал у двери.

— Да кто ты есть? — закричал он. — Чего врывается?

— Я артистка, Ксана Муратова. Вот! Пусты меня. Мне необходимо сейчас же. — Дверь отворилась, кто-то вышел из темноты и буркнул что-то часовому. Потом взял за плечи Ксану и ввел ее в хату.

На припечке горела лучина, скудно освещая сидевших в хате людей. Было душно, накурено. Ксана не могла разглядеть лиц, но видела, что их много, и повораживалась то туда, то сюда, чтоб найти командира.

— Как попали сюда? Случилось что, Ксана? — услышала она знакомый голос и тотчас увидела комиссара. Он сидел на лавке, дымил папирисой, в руке его блеснула, легко позванивая, янтарные четки.

— Всегда рад вас видеть. Но мы сейчас не ждали гостей. Случилось что? — снова спросил он ошеломленную множеством незнакомых лиц Ксану.

— Да, — торопливо проговорила Ксана. — Случилось ужасное. Комиссар застрелил красноармейца. Наступила тишина, светились огоньки цигар, но

никто не кашлял, не кричал, не вздыхал. Трещала лучина.

— У вас там яички? — кивнул головой командир. — Не разбились бы. Положите лучше на стол.

Ксана только сейчас вспомнила, что держит в руке яйца в марлевом платочке. Как это глупо, что она пришла с ними! И как они уцелели!

— Да вы садьте, за вами табуретка, — снова мягко обратился к ней командир. — Так вот дело какое, товарищ артистка... Всякую сволочь, которая позорит нашу Красную Армию, мы расстреливали и будем расстреливать, — грозно прозвучал его голос. — Наша армия борется за святое дело, за революцию. А грабить население, грабить крестьян может только бродяга, которому не дорога Советская власть. Так белаяки поступали! — Он почти выкрикнул последние слова.

— Да, — выдохнула Ксана. — Белые грабили, это я знаю.

Дверь открылась, и вошел Александров. Обходя сидящих, он молча прошел за печь, в угол, задернутый ситцевой занавеской, стаял сапоги и бросил их на пол. Потом лег на лежанку, вытянулся и закурил.

— Ну и все! — спокойно и мягко проговорил комбриг, оглядывая всех присутствующих. — Приказ правильный, и впредь так будем поступать. А вы, товарищ Ксана, разъясните всем — и вашим и особенно крестьянам, — чтоб знали. Мы воюем за справедливую нашу Советскую власть. Грабителей среди нас быть не должно. И если кто обижает население, пусть приходят и говорят нам. Чтобы не распустилась у нас всякая погань.

— Да, да. Я понимаю.

Ксана встала. Ей было стыдно, что она прервала совещание, что не подумала сама, прежде чем прийти сюда. И все же не желала, чтоб пришла.

— Извините, — сказала она. — Это очень страшно, когда расстреливают человека. И я подумала, что, может быть, этот человек, который, ну... грабил или что-то там еще... может быть, он опомнится и уже никогда в жизни не поступал бы так, если б знал, что расстреляют.

— Д-да!... — раздумчиво проговорил комбриг. — Цацкаться-то нам некогда. Нам воевать надо. Всем объявляем, все знают. Вот... И вы можете со сцены тоже поагитировать. Чтоб люди жили чисто. Я хочу сказать, с чистой душой.

— До свидания, — сказала Ксана. Она было пошла к двери, теперь уже хорошо различая людей, но кто-то остановил ее и подал узелок с яйцами.

— Забыли ваш ужи! — И рассмеялась. Она с досадой взяла марлевый узелок и вышла.

— Ксана, Ксана! — крикнул комбриг ей вслед.

Она услышала, но не захотела возвращаться.

На дворе было совсем темно. Где-то звонко лаiali собачки. Ксана постояла, раздумывая, в какую сторону направиться. Было неприятно и страшно идти через луг.

Ксана медленно пошла по улице, не представляя себе, как же она доберется в темноте. Ее дотянул хлопек, что стоял на часах у хаты, когда она пришла.

— Эй, товарищ артистка! Приказано вас доставить домой. Вы как, верхом обучены?

— Конечно!

Она подождала, пока он подал чью-то оседланную лошадь и помог ей взобраться в седло. Сам он скромно ехал позади и посылывал.

— Нашли за кого заступаться, — вдруг сказал он своим резким мальчишеским голосом. — Вы по селу-то не ходили? А вы зайдите в какую ни есть хату. Вам расскажут. Ведь их-то за Красную Армию при-

няли. Бандюгов этих. А они тут понаторили. Сволочи! Гады!

— А я за них не заступалась, — оправдываясь, проговорила Ксана. — Я узнать пришла.

Хлопец опять засмеялся.

— Их что, много было, грабителей? — спросила Ксана.

— Да уж было! Люди-то первый раз Красную Армию встретили. И решили, небось, такая вот она, Красная Армия. А нам-то позор этот как теперь изжить? — Он придвинул свою лошадь, ехал рядом и, чуть наклонившись к Ксане, зашептал: — А выдвиги, чуть комиссар пришел, да как швырнул сапоги, да закигалку чирк-чирк, задымил да лег! Не просто это — и бандюгов стрелять! Их за своих считали! «Товарищи», — говорили им. «Товарищи!» — повторил он несколько раз, словно вслушивался в это слово.

— Я тут женщину одну хорошую встретил. Сына у нее убили. Хлопчика. Молоденького.

— Да, матеря теперь плачут... — отозвался проза-жатым деловито и сухо.

— Матерй плачут, — повторила за ним Ксана, стесняясь произнести это слово правильно, — и жены плачут и невесты.

— Ну, эти-то утешатся, — пренебрежительно ответил паренек.

Ксана замолчала.

Ночь была тихая, темная и, несмотря на кажущийся покой, тревожная. Что-то таилось в ней; недобрая, грешная жизнь недругов, хищников копошилась рядом, готовая мять и давить, и разрушать все, что создавалось революционной властью.

Сидели в хате, тесно сплотившись, люди с добрыми мыслями, курили, размышляли, решали строго блюсти чистоту, не допустить, чтоб грязные руки касались платяночной звезды.

Из окон неотрывно смотрели в ночную темень неспящие выплканые глаза матери.

## ГЛАВА XXIV

### ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Вот какое нарядное золотистое платье на Ксане! Его только что принесла портниха. Ксана наде-ла и стояла перед зеркалом, поворачиваясь туда и сюда, что-то разглагольствовала, читала отрывки каких-то ролей, стихов. Хорошо, что нет Маруси: ее вызвал Скворцов, и они ходят по улицам и объясняются. А Ксана одна в этом маленьком номере гостиницы. Она еще никогда не жила в гостинице, и ей здесь нравилось.

Как интересно все произошло! Не успели они войти в этот милый городок Ковель, как Адоньев принес ей сверток. Принес и предложил немедленно заказать себе платье.

— А то в твоём синем не выпустим больше на сцену. Наши артистки должны быть одеты что надо!

Ксана развернула сверток и ахнула:

— Какой золотистый шелк!

И вот на ней это платье. Ее сшили в два дня. «Как принцесса», — вспоминала она слова портнихи. Никогда еще у нее не было такого наряда. Совсем как у настоящей артистки. В этом платье она сыграет... Нечего ей сыграть в этом платье! Идут репетиции чеховской «Свадьбы», там она исполняет крохотную рольку невесты, у нее всего-то две реплики: «Они хотят свою образованность показать и навсегда го-

ворят о непонятности» и «Мамаша, что же вы плачете! Я так счастливая!». Если концерт будет, вот тогда она прочтает...

Кто-то постучал в дверь.

Ксана открыла и увидела Желтовского.

— Григорий Иванович! — весело удивилась она. — Вы здесь?

Он никогда еще не заходил к артистам и казался Ксане таким солидным и значительным, что пригласить его запросто было невозможно.

— Ну Ксана, — укоризненно сказал он. — Сидит одна, а к нам не идет. Да какая нарядная! Куда-нибудь собирается? Нет! Так идемте к нам. Алеша там совсем сошел с ума.

— Что такое?

— Идемте, по дороге расскажу. — У него лукаво блеснули глаза, он показался Ксане в этот раз особенно красивым, ловким и молодым.

На улицах горели фонари. Был теплый летний вечер, откуда-то пахло левкоями и маттиолой. Ксана ощущала на себе свое нарядное платье, и, вероятно, поэтому, а может быть, и потому, что так ласков и внимателен был Желтовский, все вокруг ей казалось добрым и необыкновенно прекрасным. Ей было хорошо. Давно ей не было так хорошо. Они болтали о пустяках и смеялись, сами не зная отчего.

Из открытого окна донеслась музыка. Кто-то играл на рояле грибедовский вальс. Всего несколько дней, как в город пришли красивые войска, здесь впервые устанавливалась революционная власть Советов, и, значит, здесь радовались этому, если так спокойно и уверенно, несмотря на военную обстановку, звучал этот поэтический, полный детского очарования вальс.

Желтовский остановил Ксану в светлом круге фонаря и, продолжая держать ее под руку, как бы приглашал послушать. Они стояли молча, чуть улыбаясь друг другу или самим себе.

Музыка кончилась.

— Знаете, Ксана, — неожиданно сказал Желтовский, еще не двигаясь с места, — мы с Алешей поссорились из-за вас. Сегодня только приехали, узнали, что вы здесь, и поссорились. Я его посылал и вмиг, вижу, страдает ведь, ходит сам не свой, он не пошел. И знаете, ведь он вас ко мне ревнует.

— Какие глупости! — поморщилась Ксана. — Ну что за чепуха?

— Глупости? — серьезно переспросила Григорий Иванович. — Нет, Ксана, нет! Вы совсем ребенок... А если у него были основания? Подождите, подождите, не говорите ничего. — Он крепко сжал ее руку и, глядя ей близко в глаза, медленно проговорил: — Он сказал не о вас, обо мне, но я хотел бы, чтобы это было и о вас. Ксана! Милая девочка... Разве вы действительно этого не замечаете? — Он на мгновение приблизил к ней лицо, и то ли ветер, то ли его дыхание коснулось ее губ, она не поняла и крикнула:

— Нет! Нет!

— Ну, конечно, нет! — сразу согласился Желтовский, чуть улыбаясь и удерживая ее руку. — Я знал, что нет. И действительно, как все это глупо... Объявляйтесь под самым фонарем! — Он засмеялся, лукавые бесы гладыли из его глаз.

— Григорий Иванович, — очень стараясь быть сдержанной и уминой, серьезно сказала Ксана, — я очень люблю вас. И очень люблю Алешу. И очень хотела бы всегда быть с вами и с ним в хороших, дружеских отношениях.

Он смотрел на нее чуть исподлобья, улыбаясь и качая головой. Потом он наконец вывел Ксану из фонарного светлого круга, и они пошли по улочке, ведущей в гору.

— Мне кажется, я давно, до встречи с вами, то-скавал о вас...

— Я лучше пойду домой, Григорий Иванович... — Ксана высвободила руку.

— Нет! — мягко, но уверенно ответил Желтовский. — Я приведу вас к этому... чудачку Алеше. Он лежит весь день на кровати, смотрит в окно и курит. Утром он встретил Марусю и просил передать, что ждет вас к обеду. Вам не передать! А ведь он обиделся. — Некоторое время Желтовский молчал. — Меня он возненавидел сегодня... Ксана, нечистоту! У нас был мужской разговор. Я ему сказал: «Любишь, так не упустить ее». А ему, видите, кажется, что он для вас... то есть, ему кажется, что я этому причиной. Я просто кричал на него. — Он снова сделал паузу и тихо произнес: — Я ведь вдвое старше вас, Ксана... Он вздохнул и засмеялся. — И если б я не любил его, как сына — он ведь редкий, чистый человек, — если б я не любил его... по-другому бы все было! Ну вот мы и дома.

— А вы самоуверенный человек, — шутиливо сказала Ксана, немного обижаясь и желая рассеять неловкость.

Он взойдя на застекленную террасу. Тускло горела керосиновая лампа. Ксана села на стул у небольшого столика и тут же увидела дверь в комнату и рядом темное окно, выходящее на террасу.

— Вот он там лежит за окном. И видит нас. И бог его знает, что он думает, — шагая по террасе, говорил Желтовский и похлопывал себя по салогам откуда-то вставшим стеклом.

Ксана смущенно молчала. Она не могла почему-то поднять на него глаз, хотя он долго молча стоял возле нее. Потом он взял с табурета, стоящего у угла, бутылку вина, стаканы и поставил на стол. Налил три стакана.

— Ну вот вы видите, этот чудачек не идет. Смотрит на нас и не идет. — Он подал ей стакан и взглянул в глаза. Ксана испуганно отшатнулась. Григорий Иванович засмеялся, черты снова заиграли, заплакали в его глазах.

— Пусть ревнует! Давайте выпьем! За наши мечты. Чтоб исполнились! Хотя бы после войны.

Он разом выпил вино, на секунду как бы нечаянно прикинул лицом к ее плечу и тотчас же отошел.

Ксана пригубила вино и поставила стакан.

— Не бойтесь меня, — шутиливо прошептал Желтовский. — Я хочу счастья Алешке. А я... так ведь еще воевать и воевать! Что с нами будет, не ясно! — Это он сказал как-то наотмашь, с неинтересной веселостью. Зашел в темный коридор, взял гитару и тут же вернулся.

Ксана молча наблюдала, как Желтовский поставил одну ногу на стул, настроил гитару и, не меняя позы, негромко запел:

Утро туманное, утро седое,  
Низкие печальные, снегом покрытые...

Ксана отвернулась к столу, оперлась головой на руки. Слова тургеневского романа, что в них не было ничего особенно близкого ей, а может быть, самый голос Желтовского, его манера петь или настраивание музыки вдруг возводили ее глубоко, до слез. Ей было приятно и мучительно слушать пение Григория Ивановича. Оно поднимало в ее душе бурю чувств — и печаль, и нежность, и тоску о чем-то, и боль о страшной потере... Она не могла сдержать подступившие слезы, постаралась незаметно вытереть глаза. Душа ее была переполнена чем-то для нее значительным, невысказанным, она сама не понимала, что это, но в этом смятии была и радость и мечта о счастье. «Еще воевать и воевать! Что с нами будет, не ясно», — звучало в ушах.

Она думала о нем, о Желтовском, об Алеше и любила их всей душой, и это не противоречило всему ее духу, потому что главной все же была ее любовь к Николаю, и он как бы присутствовал здесь и тогда глядел ее рукой по волосам, утешая и успокаивая ее.

Война! Трудное время. Походы, походы. Театр, митинги. Раненые. Крестьяне. Все это картинками проносилось перед глазами Ксаны. И она остро ощущала, что ей все это дорого, она готова переносить всякие лишения, трудности, опасности ради этой своей жизни. И люди здесь все как родные. Она любила их. И удивительно — она любила красоту, которая открылась ей здесь, на фронте. Землю, ее цветение, ее жизнь; небо, всегда другое, непостоянно, и воздух, и ночи, и зноги, и пыльные жаркие дни. И главное — люди, люди, люди. Все разные, и о каждом можно думать долго-долго и узнавать в них неизвестное. Она любила смотреть в лица бойцов, когда они шли колоннами по дорогам к фронту. Плохо одетые, плохо вооруженные, усталые, молодые и пожилые, иногда веселые, удалые, часто хмурые, измученные, серые от пыли, и все вместе — сила, такая великая сила, что щемило в горле от восторга. А эти терпеливые раненые, глядя на которых хотелось взять на себя их муки!.. И эти грубоватые и хитроватые, и мудрые и добрые, и чистые, как роса, и даже злые — люди в беседах у костров. Что за сила в них! А пламя костров! Ночевки на лугах, в хатах... А одинокие песни на подводах, и боевые на марше, и лихие и тоскливые на стоянках! И вот эти старые романы. Что в них? Что во всей этой жизни так волнует душу?

Выхожу один я на дорогу:  
Связоз туган крестинский путь блеснит...

Из двери быстрыми шагами вышел Алеша, поклонился и направился к выходу. Желтовский обернулся, поглядывая ему вслед.

Ксана вдруг опомнилась. Что же это она сидит здесь, и мечтает, и раздумывает неизвестно о чем, а Алеша прошел мимо, словно не к нему она пришла.

— Покойте, Григорий Иванович! — встала она, — проводите меня немножко. Спасибо за песни. Я совсем забылась, слушая их. Хорошо вы поете! Очень хорошо!

Они вышли на ночные улицы, шли медленно, молчали, как-то нежно и тепло понимая друг друга. Впереди маячила фигура Алешин. Ксана оторвалась от Желтовского, догнала Крушенку.

— Что вы, Алеша? Почему с нами не остались? — Она задержала его, пока подошел Желтовский.

— Так, настроение плохое.

— Вы за что-то сердитесь на меня?

— Нет, Ксана. На себя.

— За что же?

— Я не могу говорить об этом. Это очень личное. Они пошли все вместе. Желтовский тихонько что-то насистывал.

Им встретился патруль, спросил пароль.

— Хорошо, что я с вами! Совсем забыла узнать, — сказала Ксана.

— Алеша, — спросил Желтовский, — ты дал распоряжение на завтра курсантам?

— Я все сделал, что вы сказали, Григорий Иванович.

Ксана только сейчас заметила, что Желтовский говорит Алеше «ты», а Алеша ему — «вы». «Конечно, Григорий Иванович старше и начальник его», — подумала она. — Он очень любезно и дружески разговаривает с Алешей, а Алеша отвечает ему вежливо и сдержанно.

У гостиницы остановились попрощаться.

— А вдруг... — начала Ксана и замолчала. — Я подумала: а вдруг судьба как-то разбросает нас в разные стороны, и мы больше не увидимся никогда?

— Да! — удивленно и громко воскликнул Желтовский. — Представьте, я тоже об этом подумал. — Он взял обе руки Ксаны и поцеловал их. — Помните нас! — И он крепко и мужественно зашагал по улице.

Алеша поклонился, догнал Желтовского.

Ксана вошла в свою маленькую комнату, села у зеркала и долго сидела, подперев голову руками.

Маруся поскреблась к ней. У нее была такая же маленькая комната рядом.

— Ты где была?

Ксана сказала.

— А ты что делала? Почему не пришла? Ты, кстати, не передала мне, что Алеша приглашал нас.

— Да, забыла. Скворцов все ходит такой несчастный, жалкий. Мы с ним долго разговаривали. Я даже устала. Просто не знаю, что делать.

Ксана внимательно взглянула на нее.

— Простить!

— Простить? — удивилась Маруся. — Как ты это могла сказать? Это никогда нельзя простить. Ты примени это к себе. Ты простила бы?

— Нет, конечно. Думаю, что нет. И зачем?

— Ну вот. А мне советуешь?

— Да ведь это по-разному...

— Платье на тебе замечательное, — похвалила Маруся. — Да! Трупие еще дали много разных материалов, скоро нас великомерно оденут. Ну ложись. Завтра рано вставать.

— Почему рано? — удивилась Ксана.

— Разве я не сказала тебе? Утром выезжаем на фронт. Далеко идут хорошо. Наши уже на Буге.

— Какие песни возьмем?

— «Свадьбу» и «Борьбу за волю». А Желтовский тоже с вами был? — неожиданно спросила Маруся.

— Да, был.

— Красивый. Даже не то. Особенный какой-то. Очень нравится мне, — задумчиво сказала Маруся. — Если б я окончательно растаскала со Скворцовым, я обязательно влюбилась бы в Желтовского.

Ксана посмотрела на бледное, костистое лицо Маруси с крупными бороздками морщин от носа ко рту.

— А он? Он тоже? — неловко спросила Ксана.

— Ну это зависит от женщины, — многозначительно ответила Маруся. — Женщина может любого мужчину покорить.

— Вот как! — вяло удивилась Ксана и заскукала.

«Какой глупый разговор!» — подумала она.

Ей было жаль расплескать что-то, что происходило этим вечером. Она не могла бы точно сказать, что именно ей дорого, но постаралась скорей попрощаться с Марусей и лечь в постель. Лежала без света, смотрела в поблдевшую ночь, вспоминая разговоры, свои думы о жизни, слова Алешин и мысленно повторяла мелодию романса:

Утро туманное, утро серое.  
Нивы печальные, снегом покрытые...

## ГЛАВА XXV

### МОСТ

**В** полдень артисты остановились отдохнуть в небольшой деревенке. Посреди единственной улицы, у колодца, шел митинг. Небольшая толпа крестьян, стоящих разбросано, кучками и поодиночке, спокойно и молчаливо слушала военных ораторов.

торов. По краям длинных корыт, из которых поят лошадей, сидели несколько красноармейцев.

Подводы труппы, прижимаясь к изгородям, обехали толпу и стали подавать. Решено было выпрячь лошадей, но не разгружать подводы. Надо было торопиться, чтобы успеть вечером дать спектакль в назначенном месте.

Тотчас же от группы военных, что проводили митинг, кто-то подбежал и, узнав, что приехали артисты, попросил выступить — почитать что-нибудь, разыграть сценку, а может быть, просто побеседовать с крестьянами. Сковорцов захватил с собой Сорокина, бегом оглядел остальных артистов, запыленных, в выцветших добела, изношенных гимнастерках и брюках, и, махнув рукой, отправился к колодцу.

Ксана подошла поближе, чтобы послушать митинг, остановилась среди крестьян. Еще подходя, она увидела, что выступает Шура Берман, и с интересом стала слушать.

Шура говорил горячо, сильно, хотя в какие-то секунды его звучный низкий голос окрашивался усталой хрипотцой. Ксана вслушалась, и ей сразу стало интересно. Он говорил о Ленине, о многих большевиках-подпольщиках, всю свою жизнь бороздивших с самодержавием. Они не думали о себе, о своих удобствах, о своих талантах, о семьях, но ради общего великого дела скитались по стране, чтобы наладить связь, печатать листовки, раздвигать их рабочим, просвещать, агитировать. Их преследовала охранка, многие годы они провели в тюрьмах... Он говорил о том, что принесет народу Советская власть...

Ксана увлеченно слушала его. Она подумала, что и он сам, совсем молодой комиссар дивизии, — человек незаурядный, сильный и чем-то похож на тех закаленных революционеров в большевистском подполье. Вот на таких опирается революция. Умных, сильных, цельных людей. И Николай был таким... Если он есть, он такой...

Ксана вспомнила, как пристыдила Шуру на площади перед митингом за брань. Сейчас ей показалось это смешным и неловким, хотя в ней по-прежнему жило непобедимое отвращение к грязным словам и к людям, которые произносят их. Но Шура она давно простила, вернее, забыла это. В нем было что-то большое, настоящее, честное. А эти слова — от темной, невежественной солдатчины. Придет пора — он сам будет вытравлять их из армии, в этом она была уверена.

Митинг закончился. Крестьяне стояли молча, чего-то ждали. Оглядываясь на группу командиров, как бы спрашивая, пора ли ему выступать, вышел вперед Сковорцов. Неожиданно, к удивлению Ксаны, он рассказал о труппе: о том, как набирали артистов для фронта, как приходится играть чуть не под обстрелом, в какую обстановку попадали артисты, что приходилось делать... И удивительное всего было то, что крестьяне слушали это с любопытством, улыбались, ахали, бросали какие-то слова.

— Так где же ты артисты? Нехай сюда идут!

— А мы николаи тех артистов не видели...

— Давай их сюда!

Ксана потихоньку вышла из толпы и лицом к лицу встретилась с Шурой.

— Ты очень хорошо говорил! Очень хорошо! — радостно сказала она ему. — Я слушала тебя и о тебе тоже очень хорошо думала. И знаешь, что мне пришло в голову: ведь если бы еще не было революции, ты бы все равно был большевиком, да? — Смешная ты! Конечно! Когда-нибудь я тебе расскажу, какие у нас в Баку были выступления... Я ведь басинек. Не подожги... Как ты? Ничего — вот я сам себе. — Простылый раз, когда я тебя ви-

дел, ты была в очень тяжелом состоянии. Даже больно смотреть было на тебя.

— Да, Шура. Верно.

— Так держись же!.. Вы куда сейчас направляе-  
тось?

— На Буг... — шепнула она. — Как там?

— Ничего. Дело идет к миру, — тоже тихонько сказал он ей. — Надо сейчас крепко держаться... Кто-то окликивал Шуру, и он, махнув рукой Ксане, быстрым шагом отошел.

С митингом, с выступлением Сковорцова, Сорокина, с обедом артисты задержались в деревне и выехали позже, чем предполагали.

Тихий, теплый летний день начинал склоняться к вечеру. Необычайный покой царствовал над полями. Хлеб уже убрали. Над полосками картофеля и свеклы трудились, нагнувшись, женщины. Желтовато-розовое небо спадало к горизонту оранжево-красным пологом. Давно не было дождей, луговая пыль лежала на дороге, за проехавшим обозом поднимался кверху пыльным, раскисшим шлейфом; в каждой пылинке золотилось солнце.

Не доезжая еще до места, артисты услышали орудиные выстрелы.

— В стороне, что ли? — прислушался Непомнящий.

— В самом пекло едем, — отозвался Дмитриев.

Маруся и Ксана шли впереди обоза, за ними вышагивал на своих длинных ногах Сковорцов.

У самой деревни возницы забеспокоились, стали просить отпустить их по домам.

— Загубим лошадей. Куда премяс! Гарью пахнет.

— Да ведь обстрел кончился, — уговаривал их Сковорцов. — Надо же вещи довести.

Подоспевший Тарасов резко, без церемоний, оборвал возчиков, приказав ехать дальше.

В густых садах не видно было хат. Ветви свешивались через изгороди на широкую улицу, поросшую по краям репейником, лопухами, крапивой. Только посреди улицы танулась изнеженная колея. Обоз наторопливо двигался по ней. Из-за домов, из-за ворот, прячась в листьях, осторожно выглядывали люди.

Впереди, как бы заканчивая улицу, завиднелась лужайка. За ней, соединяя два высоких берега, шел мост через бежавшую глубоко внизу речку. Несколько старых дубов росло по левой стороне лужайки. Обоз стал. Появившиеся красноармейцы торопливо начали отводить подводы назад.

— Да вот же улица сворачивает вправо! — закричала Маруся. Она ушла вперед и успела все разглядеть. — Прямо над рекой идет, красота какая!..

Она едва успела договорить, как грохнул снаряд и разорвался прямо на улице, по которой только что проехал обоз.

Возчики с красноармейцами быстро устанавливали подводы под самыми изгородями и заборами, в тени густых ветвей.

— По дворам! По дворам! — закричал артистам какой-то командир, появляясь из ближайшей хаты.

Снова грохнуло близко, загорелся амбар.

— Трехдюймовыми садит! — пробормотал Толя Дмитриев.

Пока Адоньев и Тарасов старались под деревьями укрыть обоз, некоторые подводы заехали во дворы. Ксана и Маруся на всякий случай доставли из чемоданов бинты, марлю.

Маж тем начало темнеть. Среди артистов появилась посланец военкома бригады.

— Надо вам срочно уезжать. Будьте наготове. Обстановка неясная. Сейчас установим, какой дорогой вам ехать.

— А той же, как приехали, нельзя? — спросил Адоньев.

— Той уже нельзя, — бросил ему в ответ молодой командир.

С улицы, кто сворачивала направо, полусогнувшись, пробежала цепочкой красноармейцы, плюхнулись в траву и поползли к мосту. И тут же, словно прямо в них нацелился, зашвырнул снаряд и разорвался у самого моста. Страшным, тонким голосом закричал раненый. Ксана бросилась к нему, кто-то бежавший ушиб ей ногу и выбранился. Она упала, но снова поднялась и помчалась туда, где стояли. Раненый корчился и извивался на земле, невозможно было ему помочь; Ксана пыталась оттащить его ближе к улице, к изгородям, он не давался, дергался, его били судороги. Тогда Ксана поволокла другого, раненного в голову, он потерял сознание или умер и был так тяжел, что она падала, и подымалась, и снова падала, таща раненого по земле. Недалеко от кем-то открытой калитки его подхватили Клавя и Дуся. Тихо причитая, они втащили его во двор.

Ксана снова бросилась к мосту, ее резко окликнул Адоньев.

— Вернись сейчас же! Здесь есть санитары. Приказано нам сидеть наготове.

— Не вижу санитаров! — крикнула Ксана сердито, побежала вперед и сразу наткнулась на лежащего человека. Голова его была разбита. Он уже не нуждался в помощи. Но, вся мокрая от усилий и дрожащая от волнения, она все-таки оттащила его чуть в сторону, чтоб не топтали.

Внезапно ударило рядом, все вспыхнуло ярким пламенем, погасло и снова загорелось. Было видно, что горит стог сена. В ослепляющем свете Ксана четко увидела резные дубовые листья.

— Ксана, сюда! — крикнул кто-то таким искаженным голосом, что она не узнала, кто это.

Дуся втащила ее во двор и, почти плача, не то стражила с нее что-то, не то гладила ее рукой.

— Говорят, дорога, по которой мы ехали, занята, — бормотала она, — мы должны где-то обехать кругом. Сейчас нам скажут. Не уходи. Мы же не сможем тебя искать и ждать. Это приказ, слышишь, приказ! Не смей уходить!

— Нет ли чего напиться? — спросила Ксана. — У меня почему-то полный рот песка.

На некоторое время все стихло. Стало так темно, что ничего нельзя было увидеть в двух шагах. Поодаль горел дом или сарай, на фоне пламени металась черные фигурки людей. Ко двору подъехала телега, нагруженная ранеными. Кто-то отдавал распоряжение Адоньеву:

— Поедете, возьмете в свой обоз, доставите в город.

Маруся вынырнула из темноты.

— А знаете, — сказала она, задыхаясь от смеха, — там на возу спит Непомнящий. Крепко спит, ей-богу, не разбудить.

— Где тебя носит? — закричал ей появившийся Скворцов. — Я бегу, иду по всем дворам.

— Да я раненых укладывала на телегу, много их, не помещаются.

— Там, у моста, кажется, остались еще раненые, — сказала Ксана, — пойдём кто-нибудь со мной, я тащила и все роняла, наверно, разбился человек.

— Никуда больше, нигуда! — решительно заявил Адоньев. — Все на места! Тарасов, проверь. Я сейчас до штаба дойду. Не расходись! — Он крепко прихлопнул калитку.

— А сколько это времени? — спросила Ксана, глядя на черное небо в серебряных звездах. — Совсем ночь!

— Два часа, — ответил мужской голос.

— Два! Ночь!

— Нет, дня! — хмыкнул тот же голос.

— А мы же хотели спектакль играть, — вспомнила Ксана. — И как это время так пробежало, не понимаю.

Она села на чурбан для рубки дров. Ноги у нее почему-то сильно дрожали, спина была мокрая. От ночного воздуха ее холодило, и по спине побежала дрожь. Маруся присела тут же, на кучу хвороста.

— Ты, понимаешь, ненужную храбрость тут не разыгрывай, — сказала Маруся. — Бегаешь под огнем, а нам приказано быть на месте. Дисциплины нет у тебя!

— Ладно, — ответила Ксана. И, помолчав, добавила: — Интересно, где сейчас Надя! Обещала вернуться, а ее все нет и нет.

Она встала и, поживаясь от дрожи, пошла к подводам. Нашла свои вещи, достала обрез. Походила по двору, где собрались артисты, нашла Толю Дмитриева.

— Слушай, — сказала ему тихонько, — посмотри, все ли в порядке.

Толя взял обрез, молча пощелкал затвором, зарядил. Возвращаясь, сказал:

— Лучше не трогай его. Отдает он, дьявол...

— Ладно, — ответила Ксана. Заснула обрез за пояс и отошла.

Артисты сидели группками, тесно прижавшись друг к другу, ждали распоряжений. Почти никто не взял шинели, надеясь, что будет тепло. Большая часть вещей осталась в городе.

Едва рассвело, началась перестрелка. Поляки подошли близко к мосту, пытались перейти его. С их стороны застрекотал пулемет.

Из штаба кто-то выбежал и, стоя на крыльце, закричал:

— Скажите артистам, пусть немедленно уходят вот по этой дороге направо, по-над рекой! На подводы положить раненых. И с богом! Быстро!

Началась суeta. Раненых несли со всех сторон. Обоз помчался. Артисты бежали за обозом, полагаясь на чутье возчиков. Те сами находили дорогу.

Ксана задержалась с двумя только что ранеными красноармейцами, их не успели положить на подводы. Они сидели на крыльце штаба, прислонясь к стене, и ждали помощи. Одного все время рвало. Внезапно будто вихрем понесло от моста группу бойцов. Еще другие, полулежа и прчась за прибрежными кустами, стреляли в наступающего противника, еще стрекотал «максим», а эти уже бежали туда, направо, где скрылись вдаль подводы.

Ксана решила войти в штаб, спросить, как быть с ранеными, но в это время дверь распахнулась, комиссар бригады с револьвером в руке вскочил на стоявшую у крыльца оседланную лошадь и куда-то помчался.

Девушка огляделась. Она увидела Адоньева: он укрылся в тени дома, стреляя из нагана по мосту, перезаряжал револьвер и снова стрелял. Стоя на коленах за забором, целился из винтовки Коля Поторугев. Немного поодаль, за дубом, прижался Толя Дмитриев. Стали его винтовки высовывались из-за дерева и отскакивали вверх, высовывались и отскакивали вверх...

Ксана выхватила обрез и, не целясь, выстрелила в сторону моста. Ее сильно ударило в плечо, от боли она асхрикнула, рука повисла, и казалось, уже ничего больше нельзя будет делать. Но постепенно боль ослабевала. Ксана встала поудобнее у крыльца штаба и выстрелила еще раз. Ей показалось, что теперь ударило не так больно. Но она с трудом под-

няла обрез: плечо так болело, что она подумала, не ранена ли. Почти не помня себя от боли, она нажала спуск. Обрез так сильно грохнул в плечо, что она застонала и едва не выронила его. Адоньев увидел ее и сердито замахал рукой: «Прочь отсюда! Прочь!» Но она и сама не могла больше стрелять.

Держа обрез под левой рукой, она потихоньку пальцами ощупала плечо — нет, просто ее сильно ушибло — и поплелась по дороге. Впереди, поддерживая друг друга, охая и шатаясь, брели двое раненых, те, что сидели на крыльце. Но разве только они! Здесь шли и бежали раненые и здоровые, мчались конные, тархтели повозки. Узкая дорога над рекой кончалась, люди шагали по огородам, перепрыгивали изгороди, обгоняя друг друга. Дальше растоптался луг.

Где-то ударило, и на лугу веером взвилась кверху земляная труха. Еще и еще. Тут и там вздымались столбы земли и дыма. Люди шарахались в стороны, бежали дальше, снова шарахались.

Ксана не могла бежать. То ли от бессонной ночи, то ли от усталости она шла, как в тумане. Рука болела, мучительно хотелось пить. Солнце поднималось все выше, пригревало все сильнее, а спина у Ксаны почему-то мерзла.

Вдруг она переступила через винтовку. Что это? Кто бросил оружие! Ксана подняла винтовку и понесла ее вместе с обрезом. Совсем недалеко перед ней взлетела кверху земля. Пробегавший мимо солдат прямо на глазах, не стыдись, швырнул наземь винтовку и побежал зигзагами. Она подняла и эту, тащить ей было трудно, она стала окликать пробегавших мимо людей, они не обращались. Может быть, в гуле и шуме не слышали!

Ксана едва тащила одной рукой свои находки. Вторая болела так сильно, что Ксана становилась плохо. Наконец она догадалась засунуть обрез за пояс, а одну винтовку надеть на плечо. У другой не было ремня.

Среди пробегавших Ксана искала своих. Где же Толя! Где Адоньев? Ведь не остались же они там? Неприятель, вероятно, уже захватил эту деревню, где артисты провели такую тревожную, бессонную ночь. А может быть, они обогнали ее, а она и не заметила их среди многих других? Но чье это знакомое, обливающееся потом лицо? Человек пробежал, не видя ее. Курчавый затылок, красная шея, мощная, грузная фигура. Шкляр! На бегу он достает из кобуры револьвер. Он стреляет куда-то перед собой. Куда? В кого? Револьвер падает. Он поднимает револьвер, одной рукой неловко засовывает его назад в кобуру и бежит дальше, поддерживая одной рукой другую. Боже ж ты мой! Да он выстрелил себе в руку. Сам выстрелил! Нечаянно, а нарочно. Ксана это отлично видела, хотя ствол винтовки, которую она несет в руках, маячил у нее перед глазами. Нарочно сам прострелил себе руку. Да ведь это Шкляр, тот самый! Мерзавец! Его приняли в партию. В один день с нею. А он прострелил себе руку. Прострелил, чтобы не идти назад, на фронт, чтобы спрятаться в госпитале. Да, боже мой, совсем недавно группа политработников вылезала идти на фронт с оружием в руках! Она смутно это знает. Не придала тогда значения. Это инициатива Шуры, она так слышалась. «Эй, вы!» — кричит Ксана. — «Эй, вы, Шкляр, подлый трус!» Но тот убегает, не оглядываясь, словно не слышит, и смешивается с другими людьми. Холодные струйки пота бегут по спине Ксаны. «Эй, вы! У вас нет совести!» — кричит она. — «Человек вы или нет? Ведь это ваша страна! Трус! Подлый, гадкий трус!»



Ксана спешит, ей надо догнать этого страшного человека. Она не впервые застает его в минуту трусости. Но тогда она не поверила себе. Поговорила с Клавой, но и ее убедила, что, видимо, ошиблась. Да, она не поверила самой себе. Она поверила ему, проходившему, ведь он получил партийный билет. Ксана торопится. Пот заливает ее глаза, кружится почему-то голова. Нет, ей не догнать его. Но она все равно знает, что он сделал!

Впереди стоят люди. Они загорделиво эту сузившуюся часть луга и стоят тут, встречая бегущих. Они задерживают тех, у кого нет оружия. «Правильно, правильно!» — хочет крикнуть Ксана. — «Надо еще задержать того. У него есть оружие. Револьвер».

Стоят твердые, уверенные люди, которые знают, что надо делать. Они пропускаяют Ксану, принимают у нее винтовки, кто-то хлопает ее по плечу. Они ставят людей направо и налево, одних направо, других налево. Среди группы налево есть несколько солдат, раненных в руку. Без винтовок. И Шкляр здесь. Он показывает свое оружие — револьвер. Винтовки у него не было, он командир. Но его подталкивают к тем, раненным в руку, но очень вежливо подталкивают, так, как он заслужил. И всех их ведут в дом, где определяет, ранен человек на расстоянии неприятеля или он «самострелов». Так их называют — «самострелов». «Самострелов» расстреливают, таких закон.

— Трус! — дрожа от негодования, бросает Ксана в лицо Шкляру. — Трус! Я видела!

Он смотрит на нее сузившимися глазами, его здоровое, румяное лицо сейчас стало зеленоватым, как вода в тинистом пруду.

Ксана проходит вперед, где стоят те твердые, крепкие, уверенные люди. Голова у нее кружится, ноги подкашиваются. Ей кажется, будто она завернута в вату, идет глухо, шагов не слышно и собственного голоса не слышно. Как в кинематографе: люди разрезают рты, что-то говорят, но их никто не слышит. Она видит Адоньева, подводящего трупы, Толю Дмитриева, кто-то ей улыбается, или это она сама улыбается, и мягко падает в своей ватной одежде.

— Заболела Ксана... — говорит чей-то знакомый



добрый голос. — Пусть спит. Поехали! — И бьет Ксану прикладом по плечу. Бьет и бьет. Хотя она закутана в вату, но плечо болит нестерпимо. Ксана стонет и хочет убежать. Но кто-то снова охватывает ее в мягкую, душную вату, покачивает и бьет по плечу. Ксана вырывается и кричит:

— Не верьте ему, не верьте, отнимите у него партийную карточку!

— Тихо, тихо, тихо... — шепчет кто-то возле нее, и Ксана послушно замолкает.

## ГЛАВА XXVI

### ПОТЕРИ

**Д**верь тихонько приотворилась, и в нее просунулась голова — стрелы усов торчали в разные стороны, черные блестящие глаза озирали комнату. Голова зацокала:

— Ц-ц-ц, ай-й-й! Беришья больной?

Тотчас же заглянула другая голова. Волосы взлохмаченные, глаза круглые, как пятаки, лицо бритое, только над верхней губой два черных таракана.

— Ай-й-й! — Брови взлетели вверх, шея вытянулась. Видно, что на плечах чекмень с газырями.

Головы исчезли, дверь захлопнулась.

Ксана, не поднимаясь с подушки, искоса смотрела на двери: не появятся ли еще. Нет, головы исчезли. Прикрыла глаза, заскелась: «Какой же это спектакль, не помню. И кто их играет?» Сквозь дремоту пробивается неясная тревога. Все-таки, что же это за пьеса? Взглядывает на дверь, на ней два кольца, замка нет. Постепенно сознание проясняется: «Да ведь это не спектакль, это я живу здесь, из гостиных нас в квартиры переселили. Но кто эти люди? И почему дверь открыта? Она вскакивает с постели, ее шатает из стороны в сторону, добирается до две-

ри. Замка нет. Чем запореть? Или заставить дверь? Пока она раздумывает, ее охватывает озноб. Зуб на зуб не попадает. Чем запореть? На стуле лежит ее белье, чулки. Она берет чулок, просовывает его в кольца и крепко завязывает. Нет, этого недостаточно! Торопясь, она придвигает к двери стол, на стол ставит чемодан. Вот так хорошо! Скорей в постель. Ксана сворачивается в комочек, дрожит, никак не может согреться.

А за стеной спор на непонятном языке, шум, звонят бутылки. «Гейнджеле, гейнджеле», — выделяются в споре слова.

«Какой же это спектакль? — снова мелькает в голове Ксаны. — Не помню такого спектакля». Сознание темнеет, тревожные картины быстро проносятся перед нею. Раненые, раненные, надо перевязать их, куда-то отправить, она торопится, бежит, а кругом рвутся снаряды. Грохот! Крик! Кто же это так страшно кричит!

Ксана вскакивает, садится на кровати, оглядывается, потная, дрожащая. «Боже мой, да ведь это я сама кричу. Что это со мной?»

Уже скоро неделя, как болеет Ксана. Приходят Дуся и Клара, приносят щи, кашу, хотят покормить ее, Ксана отворачивается. Положат компресс на голову, уйдут. Тяжелая болезнь — испанка.

По утру хозяйка квартиры ставит на табуретку стакан кипятку. На бумажке насыпан сахарный песок. Чайной ложкой нет. Встать бы, поискать ложку, да нет сил. Ксана пьет остывшую воду.

Иногда кто-то заходит, постойт и уйдет. Пришел Скворцов, узнавал, кто живет в смежной комнате; оказалось, мнгуши, два брата, из хозяйственной части той же дивизии. Хорошо все же, что у них код отдельный. Сказал, что Маруся в больнице. Тиф.

А за окном дождь. Монотонно стучат капли по жести карниз. Сумерки.

Кто-то долго вытирает ноги за дверью, входит. Стоит у порога.

Ксана поднимает голову.

— Кто там?

— Это я, — говорит Алеша. — Можно? Что с вами, Ксана?

— Алеша! — радуется Ксана и сразу приходит в себя. Сознание становится ясным, даже голова перестает болеть.

Алеша садится возле постели. Ксана рассказывает о себе: вот заболела, но сейчас уже лучше. А Маруся болеет тифом.

Алеша смотрит строго, не улыбается.  
— Я на минутку. Ухожу сейчас. Только пришли и уходим.

— Подождите. Что у вас? Расскажите, Алеша. Он сидит, опустив голову, долго молчит.

— Убили нашего Григория Ивановича, — наконец говорит он глухим, невыразительным голосом.

— Что? — вскрикивает Ксана.

Алеша молчит, качает головой. Лицо у него серое, усталое.

— Как убили?

— В бою. Меня он усад накануне, нашел какой-то дурацкий предлог. Нет больше нашего Григория Ивановича...

Ксана закрывает руками лицо. Ни дум, ни воспоминаний, ни слов — ничего нет. В душе ледяная пустота. Тяжелеет голова, и вот опять уже все плывет, качается — стены, окно, двери. Потом сверху что-то опускается медленно, тяжело, громоздко, как занавес на сцене.

Мечется Ксана в постели. Душно. Страшно. Еще недавно жил крепкий, мужественный, хороший человек, веселый, уминый, лукавый.

— Почему мне так больно? — шепчет Ксана. — Почему так больно?

В памяти возникает его голос: «Утро туманное, утро седое...» Мечется Ксана на постели. Поговорить не с кем, рассказать никому. И слез нет. Только душа разрывается. Хорошо, что она одна. Никто не видит, как ей невыносимо больно.

Кто-то тихо садится возле кровати, берет ее руку.

Ксана на секунду замирает. Потом глубоко-глубоко вздыхает: «Я знаю, тебя нет. Но когда кто-то умирает, я опять хороню тебя. С каждой смертью я снова теряю тебя. Ты это понимаешь? Я не вижу тебя. И руки твои нет, это мне показалось. Но я все равно хочу разговаривать с тобой. Как мне плохо, плохо мне без тебя! Я слабая и глупая. Ты думал, я умная, я сильная? Нет, нет, милый, дорогой мой Николенька, я совсем слабая, как я буду жить без тебя? Ты так много значил для меня. Я тебе этого не успела сказать... Я плачу о Григории Ивановиче, но это о тебе я плачу. И когда Моисеева вспоминаю, — это тоже о тебе я плачу. Каждый убитый — это ты. Кому это расскажешь? Я знаю, ты говоришь: держись, мужайся! Ты всегда говоришь мне: держись! Человек назначен жить на земле и делать все, что он может лучшего. Ты верил в меня. И я держусь. Но мне невыносимо трудно. Если б был ты! Если б я только знала, что ты есть! Как я буду без тебя!»

Хлопают ставни. Или дверь. Опять шумят беспоконные соседи. Громко говорят, спорят, топчут, передвигают вещи. Стучат. Что им понадобилось ночью? Не надо отвечать. В окне темно. Ни огонька.

Наконец за стеной стихает. Кажется, соседи ушли. На прощание еще забарабанили в двери.

Ксана тяжело дремлет. Опять ей снится бой. Идут матросы — чубы из-под бескозырок, вороты расплакнуты, крест-накрест на груди пулеметные ленты. На боку связка «лимонок»... Сильные, крепкие, уверенные... Бомба! И вот они лежат распростерты!... Снова бомба! Грохот!

Долго-долго стучат. Ксана открывает глаза. Уже светло. Она подымается с постели, отодвигает задвижку на двери, не на той, завязанной чулком, а на другой, через которую приходит хозяйка квартиры. И это действительно она.

— Слушайте, — стараясь быть спокойной, говорит хозяйка, — в городе поляки. По-моему, вам надо уходить. Они уже заняли вокзал...

— Что вы говорите? — вскрикивает Ксана, секунду стоит неподвижно, потом разом срывается с места, вдавливает свои босые ноги в сапоги, набрасывает прямо на белье шинель. В карман партийную карточку, тетрадку со стихами.

Надо взять вещи. Надин чемодан. И свой чемодан — тут золотистое платье и все, что для сцены. Остальное — что ж делать? — не возьмешь.

С двумя чемоданами, чуть пошатываясь, Ксана выходит из дому. В переулке тихо, ни души. Скорцова бежит ей навстречу.

— Алексей Степанович! — Ксана поставила чемоданы на тротуар. — Поляки в городе.

Скорцова знает. Он растерян.

— Да, ужасно... Маруся в больнице. Я не могу ее бросить. Я останусь. Спешите, Ксана. А я бегу к ней. Не знаю, что будет. Вот дом, где наши живут. Они, наверно, собираются.

Ксана кивнула Скорцову.

— Там у меня много вещей осталось, моих и Надкиных. И одеяло, постель, все... В общем, нужно будет — возьмете.

Она с трудом дотащила чемоданы до дома, который показал ей Скорцова. Вошла в большие темные сени. И задохнулась. Опустилась на какой-то хлам в углу. Выбежала встревоженная Дуса.

— Ксана, ты что?

— Дай водички, — попросила Ксана. — Где остальные?

— Адоньев бежит где-то, ищет транспорт. Да разве уедешь? — Она заплакала. — Так все неожиданно. Весь гардероб трупы на мне. Не унесешь. Мальчишки тоже побежали в Подва просить помощи. А где там Подва, поляки уже в городе.

— Тек что же? — с ужасом спросила Ксана. — Остаться? Бежим, Дуса. Хоть пешком. Где Клавя?

— Не знаю... Да пешком разве уйти? Перестреляют нас, как кур.

Ксана выскочила, забыв попрощаться. От резкого движения ей стало худо. Она остановилась, постояла.

Совсем близко затрещал пулемет. И со стороны вокзала тоже послышались выстрелы.

Волоча свои чемоданы, запылавшаяся, красная, Ксана выбежала на центральную улицу. На крыше ближайшего дома сновали люди, таяли пулемет. Подальше, у вокзала, света, стрельба. По улице, тарата, промчались подводы, грузовики, посканкали верховые.

Мимо Ксаны мелькнули знакомые лица из Подивы, она поглядела им вслед, они тащили телефонные аппараты, провода, какие-то тюки.

Ксана свернула в переулок. Чемоданы не давали ей идти, она задыхалась, слабела и чуть не падала на каждой рытине.

У одного из домов стояла нагруженная чемоданами, корзинами телега, двое военных покрывали ее ковром. На нее взорвалась полная, цветущая женщина в теплом пальто и улеглась на подушки.

Ксана едва дотащила до телеги.

— Пожалуйста, — сказала она, — возьмите меня с собой. Я больна. Мне очень трудно.

Мужчина, что стоял на телеге спиной к Ксана и

укрывал молодую женщину, вдруг полуобернулся и, выхватив револьвер, крикнул:

— Убирайся к дьяволу, не то...

— Господи, почему же вы так бранитесь? — волнуясь, выговорила Ксана.

— Застрелю и черту! — яростно захрипел военный. Глаза у него были красивые. Ксане показалось, что он пьян.

— Ладно, ладно, — миролюбиво сказал другой. — Вещи пусть положит. Сама пешком пойдет.

— Пусть положит, — разрешила и женщина. И почему-то Ксане вспомнились: телега, женщина под шатерком, жалкая обезьянка...

— Спасибо, княжна, — сказала Ксана. — Я совсем больная. Но это ничего... Хотя бы вещи. Я за вами пойду...

Женщина промолчала.

— Ну поехали! — закричал военный, вскакивая на ходу и усаживаясь поудобнее.

Другой устроился на месте возницы, и они поехали...

— Пойдите! — позвала Ксана. — Как я найду вас? Кто вы?

Острый присматривающийся глаз женщины мелькнул из подушки, хитрый глаз, совсем как у княжны с обезьянкой.

— Из военкомата, Макеенко, — ответил тот, что грубо бранился, и сильно хлестнул лошадей.

Ксана попробовала было идти следом за телегой, но сразу отстала. Через несколько минут телега свернула куда-то в переулок и скрылась из виду. Девушка нерешительно постояла, затем повернулась и пошла назад к вокзалу. Волосы под фуражкой взмокли, слабость делала ее шаги вялыми, медленными... Но она радовалась уже тому, что освободилась от тяжести. Хотя доверия к тем, кто взял ее чужими, не было. Но теперь некуда было рассуждать. Да ведь она найдет их. Шутка ли, из военкомата. Если только он сказал правду...

Надо было найти хоть кого-либо из своих. Но резкий пулеметный треск напомнил, что раздумывать было не время. Она вышла на главную улицу и сразу увидела немолодого черноробородого подивца. Того самого, что был на собрании, когда ее принимали в партию. В первую секунду Ксана не могла вспомнить ни его имени, ни фамилии. Бросилась к нему.

— Уходить надо, уходить, — сказал он ей, — топчешься! — И сам быстро зешагал к вокзалу.

— А где подив? — спросила Ксана. — Я никого не могу найти.

— Подив? — удивился он. — Все ушли. Бегите, не медлите. Поздно будет... Он огляделся по сторонам. — Вот туда, вниз, мимо вокзала, там через луговину можно еще пробраться, только осторожно, с вокзала стреляют.

Какой-то красноармеец, пробегая мимо них, задержался, метнулся назад.

— Пяни! — бросил он и скрылся в первой попавшейся калитке.

Ксана ничего не увидела, но побежала было туда, куда показал черноробордый Давор. Теперь она вспомнила его фамилию. Силы вдруг стали ее оставлять. Ксана прислонилась к дому, протерла глаза — все вокруг потемнело. Постояла немного и медленно пошла дальше.

По улице пробежало несколько солдат, Ксана скользнула по ним, взглянула — ей все еще было нехорошо, и она едва шла и вдруг словно проснулась: на солдатах была польская форма. Они, видимо, не обратили внимания на нее. Может быть, потому, что она так медленно шла... Испуг погнался

Ксану вперед, она добежала почти до самого вокзала, свернула направо и стала бегом спускаться по немощеной улице вниз, к луку. Короткая пулеметная очередь заставила ее прижаться к обрывистому спуску. Потом опять побежала. Снова очередь. Ксана замерла, присела. Совсем близко от нее вздыбливались маленькие фонтанчики земли, один за другим, быстро-быстро чертя прямую дорожку. «Да ведь это по мне стреляют. Здесь больше никого нет», — мелькнуло в голове Ксаны. Впереди кустарник. Только бы добраться туда!

Впервые за всю фронтную жизнь Ксана подумала, что ее могут убить. Здесь, в этом пустынном месте, где нет никого, кроме нее.

«Только добежать бы до кустарника! Не надо меня убивать, не надо!» — молила она какую-то сверхъестественную высшую силу. Больше обращаться было не к кому.

Пулемет замолчал. И она опять побежала, ничего не слыша и не видя, сердце стучало, пот заливал глаза.

Наконец кустарник. Она всем телом бросилась в него, раздирая себе руки, и упала, стараясь прислушаться, не стреляют ли. Но ничего не услышала, так громко билась токи крови во всех ее жилах. Она лежала долго, боясь шевельнуться, потом поползла.

Боже, как пустынно было кругом! Как жутко! Она чуть приподнялась, почувствовала, что ее руки и голые колени ободраны, саднят, шинель мокрая. Вокруг лежала болотистая низина, заросшая густым кустарником и острой травой. Вокзала отсюда не было видно.

Ксана астала и пошла, чуть пригибаясь, по обнаружившейся, едва видной колеи, сама не зная, куда, остро ощущая страх и свою беспомощность.

Вдруг громко затрещали кусты, и где-то сбоку, невидная Ксане, проехала телега, ломая ветви и скрипя несмазанными колесами.

Ксана замерла.

Серый, облачный день здесь, среди кустов, казался сумерками. Ксана услышала, как щелкнул затвор ружья, кто-то готовился стрелять. Она стояла неподвижно, дыхание у нее остановилось.

«Все!» — мелькнула мысль. — Конечно!»

Секунды летели, тишина стояла в воздухе. И где-то за кустами кто-то тоже отсчитывал секунды. Может быть, наблюдали за ней.

— Ксане! — услышала она негромкий мужской голос. И еще два голоса повторили: — Ксане! — И сразу зашумели, затрещали ветви.

Она увидела Тарасова с винтовкой, и Толю Дмитриева, и еще кого-то, но не могла разглядеть, кто это. Лицо ее заливали струи дождя. Да нет, дождя не было, но что-то заливало ее лицо, она вытирала его рукавом шинели и шла напролом по сучьям, за тем, третьим, кто тащил ее за руку к телеге. Она вытерла наконец лицо и увидела Колю Поторгуева. Тихого, скромного, почти незаметного Колю Поторгуева, который только однажды возвысил голос, когда отказывался принять обратно Зоюку в коммуны.

Ее усадили на телегу, прислушались, не идет ли кто.

— Как ты выбралась? — спросил Толя Дмитриев. — Мы заблуждались за тобой, да ты уже ушла.

Телега двинулась по кочкам, скрипя и раскатываясь в стороны.

— Только бы это болото миновать... Думаю, что дальше уже наши, — размышлял Тарасов.

Ксана прикорнула на телеге, ей стало холодно, она натянула шинель на ноги.

— Смотри-ка, — хмыкнул Толя, — где это тебя так? — Он потянул полу шинели и показал на дая

одинаковые дырки.— Одной пулей.— Он сложил по-лу, прикинул так и сяк.— Счастлив твой бог. По ногам хлестнули, да попали в шинель.

Ксана вспомнила пулеметный треск, фонтанчики земли рядом с собой, страх и полное бессилие.

Но сейчас это уже ушло. С ней были три товарища, три добрых и честных парня—теперь ей не только не было страшно, но даже немножко стыдно, что она так перетрусилась.

Ксана лежала, свернувшись на телеге, прикрыв фуражкой лицо. Только сейчас со всей остротой она начала понимать, что произошло. Красные отступали—и это было самое тяжелое. Труппа осталась в плену. Что делать Ксане без труппы! Сколько потерь и смертей! Сколько неправедного! Григорий Иванович...

Телега прыгала по кочкам, голова больно ударялась о доски телеги, но Ксана не подымалась, так ничтожно было все в сравнении с тем главным, что происходило,—красные отступали.

## ГЛАВА XXVII

### ДОРОГИ, ДОРОГИ...

**Д**ороги, дороги, забытые телегами, грузовиками, брошенными вещами. Хмуров небо, хмурые лица.

Люди сидят на повозках, бредут, глядя в землю, или устремляются вперед, чтобы помочь расчистить затор,—у всех подняты плечи, головы втянуты, как у больших нахлывшихся птиц. Едва двигается громадный обоз: сбился телеги, не развезаются; где-то выдохся, стал на дороге грузовик, где-то пала лошадь, не распрячь, сзади лежали другие повозки, сцепились... Не один, а несколько обозов беспорядочно переплелись, перебили путь друг другу.

Позади красные войска с тяжелыми боями сдерживают натиск неприятеля.

Вперед, там, где затор, из людей, способных держать в руках оружие, формируются отряды—в обозе большей частью нестроевые службы, хозяйственные, санитарные, есть политотделцы, есть строевики, потерявшие в суматохе свои части.

Собирают оружие для отряда.

У Ксаны в кармане револьвер—черный, с синеватым отливом, браунинг. Ее три товарища ушли в отряд, взяли винтовки, ей оставили браунинг.

Но не может Ксана сидеть на телеге и понукать измученную лошадь. Она уже почти выздоровела. Только слабость осталась, да лихорадка немного. Впрочем, это не лихорадка, ей просто холодно: под шинелью только белье.

А мелкий дождь, как из пульверизатора, осыпает всех водяной пылью.

Ксана перелезает из телеги в телегу—во всю ширину дороги сбился обоз, ржут прижатые лошади,—плохо понимает человек, о чем кричат и плачут животные!

По истоптанному полю—жито уже давно убрали—обходит Ксана обоз. У небольшого леса около полусотни человек сидят на земле, на корточках, зажав меж колен винтовки, некоторые стоят, опираясь на винтовку, как на посох. Несколько командиров раздают оружие, записывают людей.

Ксана стоит неподалеку, смотрит, потом подходит.

— Запищите меня,—обращается к молодому черноволосому человеку с бледным лицом. Из оттопыренных карманов его кожаной куртки торчат наганы и браунинги.

— Куда?—хмуро спрашивает он.

— Ну, в отряд. У меня есть браунинг.

— Сдавайте!—коротко приказывает юноша, берет у нее револьвер, проверяет его, расспрашивает Ксану, кто она.

— Нет, не возьмем, ищите свой Подив, здесь есть где-то ваши.—Он кладет браунинг к себе в карман, тот едва помещается там.

— Ну, пожалуйте,—просит Ксана.—Я умею стрелять. Я даже из обреза умею,—бесстыдно хвастает она, отгоняя от себя воспоминания, как ей было больно.

— Да!—Молодой командир пылливо смотрит на нее, что-то говорит подошедшему человеку с красным от возбуждения лицом и блестящими темными глазами.

— Нет!—решительно говорит тот.—Здесь же есть ваши, подивцы, пусть они сами решают, куда вас направить. А браунинг нам нужен.

Ксана стоит огорченная, ей досадно и неловко: просила, ей отказали, не нужна она здесь. И не глядя на этих двух молодых, в комках, она сердито и громко спрашивает:

— А кто командир отряда? Я с ним хочу поговорить.

— Я командир,—чуть улыбаясь, отвечает бледный черноволосый юноша.—Знаете что, мы бы взяли вас, да ведь артисты тоже нужны.—Он сразу становится каким-то домашним, симпатичным и добрым, но это только на мгновение. Вот он снял фуражку, вытер рукой лоб, снова навалил ее резким движением и, уже забыв про Ксану, суровым и резким голосом что-то командовал.

Люди поднялись с земли, сгрудились вокруг него. Ксана отошла дальше, стояла, смотрела.

Обида прошла, но было неясно, что же надо делать, где искать Политотдел. И грезло сожаление, что отдала браунинг. Ведь, может, будет формироваться еще один отряд.

Обозы понемногу начали двигаться, люди постепенно высобирали одну за другой повозки, оттаскивали в сторону ненужное: испорченный грузовик, павшую лошадь, телегу...

И в эту минуту Ксана увидела сутулого чернобородого Дабора. Она бросилась к нему, стала спрашивать, как быть, что предпринять.

— Посниела совсем,—перебил он ее.—Надо одеться теплее.

Ксана объяснила: вещей нет, большая часть осталась, а самое необходимое отправила с Макеевко из военкомата, но еще не встретила его, может быть, он где-то здесь, в этой мешанине.

— Надо что-то придумать,—покачал головой Дабор и кинул в сторону обоза.—Наконец двинулись! Сидите на повозку куда-либо. Пока с обозом будем двигаться, а там узнаем...

На ночь Ксане не удалось попасть в хату. В деревне остановилась конная часть, направляющаяся на фронт. Все было занято, люди спали вповалку на полу, в клунах, на сеновалах. Дождь то принимался моросить, то переставал, ночами было сыро и холодно, люди рвались к теплу. Ксана поискала ночлегу, сунулась в одну хату, в другую, вернулась к обозу, улеглась на жесткую телегу: не сумела достать сена или соломы. Вокруг сидели и лежали на повозках люди, ворочались, перекидывались словами,

Шли толки о скором мире, идут-де переговоры; и так и сяк судили о земле, о хлебе — сколько будет забирать и сколько хлеборобам оставить, мужику надо подняться, он вовсе обессилел; говорили о коммуне, обязательно ли вступать в нее и как будет с ленивыми и нерадивыми; задумывались, куда повернутся те солдаты, что служили Деникину и Врангелю, и как потом вместе с ними жить... Говорили о Ленине, интересовались, из каких он; верили: уж он-то мужика не обидит, он дело понимает.

Кутася в свою изношенную шинель, Ксана слушала эти разговоры, слушала собственные мысли, ворочалась, не спала.

— И что это, братцы, — резанул ее высокий мальчишеский голос, — звезды так мигают? Как выйдут из-под-за туч, так и мигают. И никто не знает, что там, на этих звездах? Или впрямь какие-нибудь ангелы, или демоны живут, или это просто камни блестящие, целые горы бриллиантовые. А может, пожары? Ведь даль-то какая? Здесь вроде звездочка, а на самом-то деле, ух ты! И кто из вас, братцы, как понимает, что это такое?

— Ученые это знают, — проронил кто-то.

— Знают, да не скажут, — пошутил другой.

— Пола спроси, он тебе все объяснит, — раздался насмешливый голос.

— Вы вот, братцы, смеетесь, — очень искренне и взволнованно прозвучал тот же молодой тенорек, — а ведь человеку знать надо, что от них — радость идет, польза какая или опасаться надо.

Кто-то громко рассмеялся.

Слышно было, как юноша резко повернулся в ту сторону, откуда раздался смех.

— Нет, братцы, это знать надо. Летал бы я на аэроплане, уж я бы полетел туда, хоть не достиг бы, но поближе увидел бы, что это. Какое это чудо над нами? Кончится война, я перечитаю все книги про звезды, найду ученых людей, скажу: дайте мне самый сильный аэроплан, чтоб выше брал, полечу я и все разузнаю. Погибну — так не бойтесь, не беда это!..

— Да на черта лысого мне твои звезды! — нетерпеливо и зло выругался кто-то. — Рана у меня болит, места не найду. Вроде зажила, а вот...

Юноша замолчал. Чувствовалось, что он не то что обижен, а отделился от всех, лежит, заложив руки за голову, смотрит в небо, думает про звезды и строит планы, как узнать про них...

Утром, чуть рассвело, Ксана проснулась от холода — руки одеревенели, все тело ломило, — увидела недалеко костерки, пошла к нему.

На коротышке у костра сидел Дабор, обилдавал щепками котелок. Возле, на кучке щебня, притулился еще один политотделец, Пименов, молодой, добродушный, чуть отяжелевший человек со светлой бородой и бледно-голубыми глазами. Короткая, но по росту шинель Пименова, с рукавами чуть ниже локтя всегда вызывала шутки и насмешки, которые он сам весело поддерживал. Сейчас он вместе с чернобородым Дабором — оба замешанные и неспавшиеся — ожидали, когда вскипит чай. Ксана подтащила к костру валявшийся кирпич и села погреться.

— Замезла? — спросил Пименов. — А кружечки нет? Чай пить?

— Нет, — виновато улыбнулась Ксана. — Чаю бы хорошо. Совсем закончилась.

— Тут с нами две подводы раненых — шесть человек, — помешивая в костре, медленно, как бы в раздумье, говорил Дабор. — Грязные, белья запасного нет, бинтов нет, перевязать нечем.

— Да... покачал головой Пименов. — Доставать надо.

Чай вскипел. Дабор отодвинул котелок от огня, вынул из вещевого мешка алюминиевую кружку, вытер ее внутри краем мешка, налил кипятку и дал Ксане. Ксана чуть не выронила, поставила на землю, кружка разогрелась, обжигала руки.

— Вот что, Ксана, — все так же медленно, будто раздумывая, продолжал Дабор. — Здесь живет помещица. Богатая. Я дам вам мандат, пойдете к ней, реквизируете несколько простынь, ну, скажем, полдюжины; если есть, мужского белья столько же. А, кроме того, дайте себя подобрать платье, белье, теплее что-нибудь. То, что надо. Сами увидите. Живет она, говорят, широко, денег не считает, каждый год в Париж ездит. Здесь все кругом ей принадлежит: земля, лес, маслобойка, лесопилка... Вот. Это надо сейчас сделать. Пока обою стоит.

— Я не смогу, — завоновалась Ксана, — боюсь, что не смогу! И потом, что ж для себя? Ведь я Макеенко должна найти, там у меня в чемоданах все есть.

Дабор молчал. Он поставил наземь флягу, обштую солдатским сукном и, придерживая ее ступнями, наливал в нее кипяток.

Пименов шумно прихлебывал из кружки, внимательно исподлобья глядя на Ксану.

— Пейте, — сказал он ей, — а то остынет... Макеенко зтот, судя по всему, кажется, подался на ту сторону фронта.

— Вот, — тихо, но твердо проговорил Дабор. — Это — партийное поручение. Дам вам бойца с оружием. А что касается Макеенко, не вы должны его искать, а он вас. Если, конечно, он человек и коммунист.

— Я бы сам пошел к этой помещице, — улыбаясь, сказал Пименов, — да не успеть, другое поручение есть.

...Держа в кармане сложенную четверо грозную бумагу с печатями, Ксана идет к помещице. За ней следует красноармеец с винтовкой.

Добротный дом. У ворот стоит старик, что-то чинит.

— Это дом помещицы? — спрашивает его Ксана.

— Та не, — лукаво улыбаясь, отвечает старик. — Помещицкий дом во-он где, на горке. Белый, каменный. А тут ее главная служанка живет. Так помещица к ней перебралась, пока заваруха идет. Безопасней, значит.

Ксана входит во двор. Дом стоит спиной к улице. Крыльцо скрыто от посторонних глаз, надо обойти весь дом. На широкой террасе стол, на нем десятки два копченых гусей. Несколько гусей подвешено к потолку террасы.

Пожилая полная женщина с белым коленным лицом суетится вокруг гусей, укладывает их в большой ящик.

— Здравствуйте, — говорит Ксана и протягивает ей бумагу.

Та читает, ахает, садится на табурет.

— Моих вещей здесь нет, — сердитым, властным голосом заявляет она. — Здесь вещи моей горничной. Скажите на милость, как это вы смеее требовать у людей их собственные вещи?

Из комнаты выглядывает дородная женщина, голова ее повязана по-украински платочком, брови испуганно подняты кверху, лицо озабоченно.

— Не волнуйтесь, — говорит Ксана. — Вещей вашей горничной мы не тронем.

У дородной женщины лицо как бы расправляется, тень сбегает с него, она смелее входит на террасу.

— Нам нужно немного,— обращается к помещице Ксана,— для раненых простыни, мужское белье и... для меня что-нибудь. Я потеряла свои вещи в Ковеле, при отступлении.

Помещица от волнения кричит басом:

— Я ж вам говорю, здесь ничего моего нет! А вы что, красноармейка? Хм! Так что, у вас не хватает реквизиционных вещей? Ваша Чека ведь все забирала!

— Как вам не стыдно говорить такие глупости?!— возмущается Ксана.— Вы бы должны без всякого мандата предложить что-нибудь нашим раненым. Надо сменить им белье, перевязать их...

Горничная искоса смотрит то на помещицу, то на Ксану, но не вмешивается.

Красноармеец, стоя за Ксаной, громко вздыхает.

— Что вы от меня хотите?!— вдруг кричит помещица, лицо ее покрывается пятнами, глаза становятся выпуклыми, словно хотят выскочить из орбит.— Здесь ничего моего нет. Только гуси мои. Я их должна отправить дочери в Луцк. Это ее гуси, ее, а не мои. А вещей у меня нет. Мои вещи, если хотите знать, в Париже. Я не могу ничего дать.

Ксана растерянно молчит.

— А дичина у вас не просит,— выходит вперед, говорит, как рубит, красноармеец.— А требует имени Советской власти!

— О господи!— ахает помещица и хватается за виски.— Да что ж это такое?

Красноармеец идет в комнату, но она опережает его, отталкивает.

— Что за сундуки здесь? Чи!— решительно спрашивает он.

Действительно, в комнате несколько больших сундуков, кое-как поставленных, видно, что здесь они недавно, еще не прижились, стоят не у места.

— У меня и ключей нет,— срывается помещица.— Ключей нет!— Голос ее теряет мужскую строгость, она принаут, ахает, чуть не плачет.

— А ну открывайте,— требует красноармеец,— а то сами откроем!— И он ставит винтовку, грохоча прикладом об пол.

Помещица умоляет и быстро, покорно открывает сундук. Сразу бросаются в глаза шелка— черные, зеленые, желтые, платья, костюмы.

Красноармеец показывает на другой сундук. Женщина быстро запирает сундук с одеждой и открывает другой. Он полон белья, нового, дорогого, с кружевами, с прошивками, нарядного белья. Торопливыми руками помещица перебирает белье, ищет что-нибудь похуже.

— Вот, нете простыню,— выбрасывает она уже не новую.

— Новые давайте!— командует красноармеец.— И не одну, а как в мандате написано.

— Что вы!— умоляюще смотрит женщина на Ксану.— Вы же, кажется, сказали, одну.

— Полдюжины,— говорит Ксана.— Ведь в этом сундуке их, наверно, дюжины три?

— Только две, паненка, только две,— бормочет помещица.— И вот вам мужская рубашка. Она ношенная, но вполне годная.

Нужно шесть рубашек,— говорит Ксана. Ей хочется скорей уйти отсюда.

— Положите дюжину, да попрочнее!— сердится красноармеец.

Но женщина уже разобралась, с кем надо иметь дело.

— Ну что вы! Паненка сказала, шесть. Ай-ай-ай, вы хотите больше, чем полагается,— обращается она

к красноармейцу.— Уж нет! Паненка вам не позволяет взять лишнее.

— О!— вздыхает Ксана.— Плохой вы человек, скверный человек, вот что! Идем отсюда!— Она машинально тешит за локоть красноармейца, но тот отдергивает руку, заворачивает простыни и рубашки и требует:

— А для дивчины давайте, что там требуется! Новая волна аханий, криков, всплесков.

Ксана чувствует себя совершенно измученной, она выходит во двор. Горничная идет за ней. Красноармеец еще шумит в комнате, но помещица уже чувствует, что можно захлопнуть сундук. Едва он успевает выйти, за ним защелкивается замок.

— Ах, сука!— оглядываясь на дверь, ругается сквоззубы красноармеец, и, держа под мышкой сверток, быстрым шагом уходит вперед, оставляя Ксану позади. Он презирает ее и не скрывает этого.

Отойдя довольно далеко, он наконец останавливается, ждет Ксану.

— А белье-то вам? А чулки-то? Так и будете ходить с голыми ногами! И гуся-то хоть бы взяли, эх вы! Вас посылать...

— Ладно!— машет рукой Ксана.— Я обойдусь. Противно очень.

Но он не умолкает. Всю дорогу бранит Ксану и выговаривает ей:

— Это что! И белье-то не взяли! Где вы его нынче раздобудете? И чулок не взяли. Интеллигенты!— Он с таким презрением произносит это слово, будто нет тяжелее обвинения.

Но Ксана и сама понимает, как глупо, что она сделала. Действительно, у нее нет даже смены белья, нет чулок. Интересно, почему богатая женщина так мелочно жадна? Неужели в ней не проснулись обыкновенные человеческие чувства? Ни один человек с добрым сердцем не отпустил бы так Ксану, а постарался бы ее одеть. Ведь осень на дворе... Вот уж правда— помещица. Чужой класс...

Красноармеец подробно докладывает Дабору, как было дело.

Тот молчит, качая головой, взгляд его строгий, неулыбчивый, и Ксана не может понять, бранит он ее или нет.

Наконец он поворачивается к ней:

— Партийные поручения надо выполнять точно. Даже если они вам не по душе.

Строгий человек товарищ Дабор. Теперь можешь казнить, Ксана, не оправдала ты его доверия.

Унылый частый дождь. По ночам заморозки. Ночевки в тесных хатах, набитых до отказа,— едут люди с фронта, едут люди на фронт. Все говорят о мире, ждут его. Ксана едет в Киев. Есть приказ: явиться в Политбюро армии...

Дороги, дороги...

## ГЛАВА XXVIII

### КРАСНЫЙ ШАРФ

На маленькой станции Ксана ждет поезда на Киев. Заботливый бородач, латыш Дабор сказал, что отсюда надо ей добраться до Киева поездом, а сам ушел куда-то пешком. Здесь же, на платформе, ожидают поезда несколько красноармейцев: одни сидят на корточках у стены, другие прямо на дощатой платформе, свесив ноги вниз.

Холодный, но солнечный осенний день. По одну сторону платформы поселок, по другую лес — черные высокие сосны, побуревшие и частью облетевшие, но все еще светлые ясени да дубки с твердой темной листвою.

Воздух такой чистый и прозрачный, что каждую веточку можно разглядеть. Крепкий запах сосны стоит вокруг, чуть потягивает грибами — так все здесь спокойно, мирно и домотово. Да и напрямь идет дело к миру с панской Польшей — кругом только об этом и говорят.

Ксана сидит на столбике, это — единственное напоминание о том, что когда-то здесь, на станции, стояли скамьи, вероятно, их пожгли вместо дров.

Какая-то старуха вынесла ведро с семечками, продает по двести тысяч за стакан, красноармейцы покупают, вкусно щелкают, Ксана тоже купила: хочется.

Внезапно несколько поодаль от станций, на переезде, пересекает пути конница.

— Буденновцы! — радостно азвизгивает молоденький красноармеец, совсем мальчишкой, прыгает с платформы и бежит по рельсам к поезду. Очевидно, страстно мечтает он попасть в прославленную кавалерию.

Да и другие красноармейцы провожают глазами Буденновцев, вглядываются, улыбаются.

И есть из что посмотреть! Молодецково сидят на конях лихие кавалеристы: издали мелькает красный бант на груди, светлый чуб завьется, закурчавится на ветру, солнечный луч поиграет на рукояти сабли...

Едут сдержанно, спокойно. Но такая есть скрытая сила даже в лошадиной поступи, в напряженной игре мышц под лоснящейся шерстью, в главном, в уверенной посадке конников, в руке, что держит повод, в орлином повороте головы на крепких плечах, в желваках на скулах...

Позади Ксаны раздается восхищенный голос пожилого красноармейца в башмаках и белых оныхках вместо обмоток:

— Ух, дьяволы, ух, и красота же, ну, не едут, а пляшут, сукины дети!

Проехала конница. И тут же, следом, показалась группа бойцов. Постояли на переезде, осмотрелись, свернули на станцию. С разбегу вскакивали на платформу. Одежда наполовину штатская — куртки, подпоясанные ремнями, на некоторых хомы и галифе, а рабочая кепчонка, у других штаны наизусть, башмаки поношенные. Пальто. Совсем молодые парнишки, лет по семнадцать-восемнадцать. И сразу обжили платформу, улеглись, прилегли, как на привале, мешки, котомки сложили в кучу, только винтовки при себе оставили. Двое — видно, старшие — побегали маршрут узнавать, а может, за пайком. Остальные отдыхают, намалялись, верно. По лицам, по одежде — городские парни, большая часть — рабочие. Ближе к Ксане группа — человека четыре — села в кружок, оживленно разговаривает о чем-то. Подтянутой юноша во френчишке, с красным шарфом на шее, собранный, ловкий, что-то объясняет товарищам, а сам нет-нет да и бросит любознательный, с усмешкой взгляд на Ксану. Потом встает, подходит к ней.

— Что сидишь одиноко? Валияй к нашему братству.

— Что значит — валияй? — сдержанная улыбка, задорно спрашивает Ксана. — И мы вроде не так уж знакомы, чтобы сразу на «ты».

— Ух ты! — весело кричит юноша. — Смотри какая!

Его товарищи смеются, поглядывают на них.

— Ну ладно! — вдруг серьезнеет он. — В Союзе молодежи?

Она качает головой. Вглядывается в его роскошный, мягкий красный шарф. Здорово он идет этому смуглолицему мальчишке.

— Нет? Почему? — Он поворачивается к своим. — Эй, братья! Ленка, иди-ка сюда!

Невысокий румяный Ленка подходит вразвалочку.

— Будем знакомы! — говорит он, подавая руку; в глазах его сверкают наслезлившие огоньки.

— Будем! — с вызовом отвечает Ксана.

— С фронта? На фронта? — допытывается Ленка.

Ксана серьезно смотрит ему в глаза.

— С фронта. Из самого Ковеля.

— Санчасть? — догадывается юноша с шарфом.

— Нет. Из фронтовой труппы.

— Артистка? — И, щуря глаза, он протяжно свистит: — Вои чо!

Ксана кратко рассказывает о судьбе труппы.

Пареньки внимательно слушают, закидывают ее вопросами:

— Почему здесь одна? Куда направляешься? Сыта ли? Почему не в Союзе молодежи? Ах, кандидат партии?

И, совсем бесцеремонно обняв ее за плечи, тащат к своим. Тут же пересказывают товарищам все, что известно о ней, достают из сумок сухари, вареную картошку. Кто-то передает половинку вяленой воблы.

И вот уже они вместе закусывают, вернее, они-то угощают, а ест Ксана. Ох! И до чего же она голодна! Как волчица! Она говорит об этом и хохочет, и они все смеются. И снова расспрашивают и рассказывают о себе.

Комсомольцы-добровольцы приехали недавно, панов бить, а тут уж шапки раздают. И повоевать толком не пришлось. А теперь, видимо, их направят на Южный фронт, топить в Черном море Врангеля. Нельзя спокойно жить себе да поживать, пока враги гуляют на нашей земле.

— Дашь Крым! — восклицает Ленка и потрясает высоко поднятым кулаком.

— Едем с нами! — зовет Василий. Лицо его рдеет, не то разгорячилось от разговоров, не то шарф бросает на него свой отблеск.

— Не партизанить! — предупреждает кто-то из ребят. — Куда найдут нужным, туда и пошлют. Дисциплина!

Неизвестно, как это происходит, но в самое короткое время Ксана узнает почти о каждом. Кто он и откуда. И удивительно, что уже со всеми она на «ты» и кто-то долго трясет ее руку, зовет после войны в свой родной Питер и говорит товарищам: вот это своякая дивчина! Пожалуй, такой быстрой дружки бы еще не бывало в ее жизни. И кто бы мог подумать, что эти паренки с интересом будут слушать стихи и пересказанные ею пьесы — они их не читали, не видели на сцене, им интересно узнать о Чайков, о Снегурочке...

Так много надо рассказать им, этим новым друзьям, так много услышать: все они торопятся, перебивают друг друга, громко хохочут и серьезно спорят, доказывают, говорят... Как их не хатало ей до сих пор! И смешно, что они тоже утверждают это.

— Эх, Ксана, поехала бы ты с нами!

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Подождите, ребята! — Это она так впервые обращается; до сих пор иногда только в шутку, с нарочитой грубостью можно было сказать «ребята». Подождите, ребята, расскажите мне про комсомол. У нас в Курске, если были комсомольцы, то не довелось нам встретиться. И здесь, в Политотделе, не было. Может, в частях, на самых передовых...

— Смотрите, до чего необразованная! — шутит Лена, и это вовсе не обидно, а, наоборот, как-то очень по-дружески. — Ну так вот... Он начинает рассказывать о молодых петроградских рабочих, о первых комсомольцах, — ну все этот парнишка знает, недаром сам из Петрограда.

Она вспоминает, что ей Клава Духанина уже говорила о московских комсомольцах. Многие из них еще до комсомола воевали в дни революции на улицах Москвы. Но Ксана тогда интересовалась боями и как-то не обратила внимания на слова «союзная молодежь», а, оказывается, это и есть «Коммунистический союз молодежи»...

Но тут появляются те двое, что уходили в поселок разузнать что-то, они шумно торопят товарищей:

— Поднимайся, братва! Быстро! Маршрут получен. Пешеходом потопаем до деревни, там возьмемся в часть...

— Становись! — командует другой. — Пошли за мной! — И сам прыгает с платформы вниз.

И все за ним сыплются вниз, и Ксана тоже прыгает и бежит вместе с ними по рельсам, по шпалам, пока наконец все не выбегают на широкую, еще зеленую кромку дороги. Здесь они строятся на ходу и, поудобней закинув за плечи винтовки, быстрым шагом двигаются дальше.

Еще некоторое время Ксана машинально бежит за ними, но потом заставляет себя остановиться: да куда же она? Куда? Зачем она мчится? Ведь ей в Киеве. Поезд может прийти каждую минуту. Она с сожалением смотрит вслед удаляющимся комсомольцам.

Как родная меня мать  
Провожала,  
Тут и вся моя семья  
Набегала...

Лихо, с присвистом звучит песня. Уходят комсомольцы, оглядываются, машут руками Ксане.

А Василий срывает с себя на ходу свой нарядный красный шарф, свертывает его в комоч и бросает Ксане. Шарф разворачивается в воздухе ярким флагом, она подхватывает его. Василий кивает, широко улыбается, знакомы показывает, что она надела шарф на шею.

В горле Ксаны что-то сжимается, она стоит растерянно, держит в руках шарф. Бежать за ними?.. Но она должна явиться в Политотдел армии.

Все дальше уходит колонна. Веселая песня, удаляясь, становится почему-то печальной. И на все вокруг — на лес, на небесную даль, на сверкающие полосы рельсов — ложится туманная пыльца, все утрачивает свой блеск, ясность, прозрачность.

Гудок паровоза напоминает Ксане, что ей надо делать. Она бросается назад, к платформе: только бы успеть! По рельсам, по шпалам...

Уже в поезде, втиснувшись в тамбур вагона, полный красноармейцев, с трудом поворачиваясь в толпе и растирая себе лицо шершавым сукном чужой шинели, Ксана надевает шарф. Он мягко окутывает шею, тепло от него проникает в самую душу и нежно согревает ее.

Похрустывает, поет первый снежок под ногами. Вело и чисто кругом. Красив Киев в снегу.

Сколько раз с нем Ксана бывала — то наступали, то отступали, — не успевала разглядеть. Да и сейчас некогда по сторонам смотреть, бежит Ксана в Политотдел армии. После ночевки в холодном номере гостиницы языки ежятся. Да и поест был Славко в родной дом возвращается после долгих и трудных странствований. Вот так, проплывая по осеннему бездорожью, являлись артисты в какой-либо полк или бригаду — и радушные хозяева первым делом старались накормить и обогреть людей, пока наспех сколачивались подмошки для выступления.

Ксана входит в большой добротный дом с тяжелыми дверями. Одна комната, другая, третья... Много народу — сидят за столами, пишут, стоят, что-то обсуждают, издают переговоры, — все серьезные, заняты делом. Идет навстречу высокий человек весь в черной коже — куртка, галифе, сапоги. Ксана спрашивает его:

— С кем мне поговорить?.. Я из Н-ской дивизии. Кожаный человек приостанавливается, даже немного наклоняется.

— А что вы хотите?

Ксана тарыхает.

— Не знаю. Я явилась сюда... Куда мне надо явиться?.. — И от смущения она плетет что-то пустое, второстепенное: она не состоит нигде на должности, документы просрочены.

Он еще раз переспрашивает, кто она и откуда.

— Ну что ж... Трупы у нас нет... Можем откомандировать в госпиталь. Хотите работать в госпитале?

— Нет! — сердится Ксана. — Я не хочу в госпиталь.

Ксана понимает: он прав; конечно, куда же послать ее, ведь трупы нет. Но он ни о чем не говорил с ней, он ничего не знает о ней, и объяснить ему трудно: у него лицо словно замкнуто на ключ.

Из соседней комнаты выходят несколько человек, они останавливаются и о чем-то тихо переговариваются. От них кто-то отделяется и быстро направляется к Ксане.

— Ксана Муратова?

— Клава! — Ксана бросается к Клаве Духаниной, обнимает ее.

— Я так рада, — говорит Духанина, — что ты здесь! Ты где остановилась?

— Да ночью, как приехала, командент направил в гостиницу на Думской площади.

— Хорошо! Ты ела? Идем сейчас со мной, поедим, поговорим... Минутку только постою.

Клава отходит к тем людям, с которыми она только что беседовала, туда же подошел и кожаный человек, он рад, очевидно, что о Ксане больше заботиться не надо. Но Клава уже ведет кого-то сюда, к Ксане, и улыбается, и тот тоже улыбается.

— О-о! Да это Рабичев!

Почему-то Ксана так рада, словно встретила родных людей, она долго молча трясет его руку.

— Слышал, — говорит Рабичев, — как выбиралась, все знаю. — И он кивает тому кожаному человеку. Тот быстро подходит, и Рабичев что-то негромко го-

ворит ему, показывая подбородком на Ксану. До нее долетает:

— Оставить при Поарме... На довольствие. Насчет обмундирования... Потом он уходит, по пути дружески прикоснувшись к плечу Ксаны.

— Идем,— торопит Духанина,— пообедаем! Обо всем поговорим. Ты знаешь, я очень рада, что ты здесь. Я думала о тебе...

...Они сидят за узким длинным столом, на деревянной скамейке, в самом углу у тяжелого выступа стены. Обедают, перебирают события, вспоминают людей — тот убит, о том ничего не известно, тот в госпитале, ранен... Ксана рассказывает о трупке. Вдруг Клава Духанина машет кому-то рукой.

— Сюда, сюда!  
Ксана ищет глазами — кого это она увидела. Срыгается с места и кричит:

— Адоньев! Ты здесь!  
Адоньев снимает шапку, обнимает Ксану.  
— Жива! Ну-ну! Радость-то какая!  
Он подсаживается к столу, Ксана забрасывает его вопросами:

— Как ты выбрался? Где Понсет? Кто еще здесь? Рассказывай.

— Выбрался. Пешим порядком. Клаву Понсет тоже вывел. Забегал к тебе. А тебя и след простыл. Ну вот. Понсет я домой отправил. Что ей здесь делать? Трупы нет. Жаль трупы. Сжились. Я вот под Малином пока. Лес валим, вот уже дней десять. Паровозам топливо нужно. Там леса какие! Помнишь, проезжали? Ну а ты! Про себя скажи.

Они говорят, вспоминают артистов. Клава Духанина слушает, улыбается. Ксана кажется, что Адоньев как-то постарел, стал сутулиться.

— Нашего Поторгуева убили, знаешь?  
— Да что ты! — вскрикивает Ксана. — Они меня из-под Ковеля вывели. Он, Тарасов и Толя Дмитриев. Боже мой, как же это? Потом они все в отряд ушли...

— Не просто убили. Тут не случайная пуля. Ребята рассказывали: он как-то кустами в обход пробрался к польскому пулеметчику, патронов уж у него не было, так он взял да кинулся голыми руками на пулеметчика. Пока там что, наши и успели пройти. А его тут, конечно, застрелили. Не просто убит парень. Красиво убит. Как герой.

Он не договорил. Нижние веки его набухли и покраснели.

— Год с человеком живешь, не знаешь, на что он способен. Тихий был. Вот, понимаешь, — опустил голову, пробормотал Адоньев, — как родного сына потерял. Старою, чувствителен стал. Слез не удерживает. Что ж, надо тарелку супу перехватить да по делам бежать, с утра опять еду. Там тоже дружный, отчаянно крепкий народ собрался, комсомольцы. Молодые. Себя не жалеют... Я-то уж отслужил. Вот дров наготовим для паровозов — и демобилизуемся.

Он встал, снова обнял Ксану, обнял и Духанину и заторопился.

— До свидания, комиссар Адоньев! — Ксана захотелось поддержать его собственной твердостью духа, спокойствием. — Передай там комсомольцам привет от фронтовой артистки. Может, найдутся знакомые!

Они остались вдвоем — Ксана и Клава Духанина.

— Сколько ж это людей на свете хороших, просто вообразить невозможно. Вот Поторгуев — кто бы мог ожидать? Такой спокойный, тихий, — еще взволнованная тяжелым известием, горячо сказала Ксана.

— Да. Я, понимаешь, тоже очень тяжело переживаю все эти смерти. Хорошо, что хоть на нашем фронте кончились бои. — В голосе Клавы Духаниной прозвучала серьезная и глубокая грусть.

— Знаешь, я просто не представляю, что уже мир! — Ксана удивленно оглянулась, словно мирная жизнь была именно здесь, вокруг нее.

— Мир, да! Только не совсем. Перемирие. А что еще на юге! Там тоже кровь льется. У нас некоторые просятся на врангелевский фронт. А Сибирь! Но и здесь дела много. Не все спокойно. Банды кругом.

Обе на секунду задумываются.

— А знаешь, Ксана, — с каким-то затаенным чувством говорит Клава, глаза ее чуть сощурены, она смотрит не то адале, не то в себя, и ей все равно, где блуждает ее взор, так она занята своей мыслью. — Я здесь, знаешь, о чем мечтала: создать театр нашей армии. Настоящий театр, с хорошими артистами, с хорошим помещением. Здесь ставить спектакли и выезжать на места в части. И я хотела, чтобы в труппе было ядро — люди, прошедшие с нами фронт, молодые, революционные. И кто, как не ты, подошел бы для этого! — Глаза Клавы блестят, лицо оживлено.

Ксана и счастлива и встревожена.

— Подожди! Это так заманчиво — театр! Но разве я актриса? Слушай, Клава, слушай, я скажу тебе все, как думаю. Я просто девочку, которая любит театр и хочет играть. А умею ли я играть? Нет, нет, не перебивай меня. Послушай. Я много думала... Вот все говорят: способная, способная. А разве остальные в труппе были неспособные? Дорогая Клава, просто вы все очень добры ко мне. Но если хочешь знать, если хочешь уж совсем, совсем начистоту, я действительно чувствую в себе большую силу. Об этом никто не знает. Это приходит ко мне чаще всего ночью, когда я одна — я беру свои любимые пьесы и читаю вслух монологи или какую-то роль. Я играю целый спектакль одна. Нет, не играю, я живу чужой жизнью, я по-настоящему живу. И иногда так измучаюсь, истрадаюсь... Устану. И что больно и сладко это чужое страдание! Нет, нет! Меня надо учить, я еще ничего не знаю, я ничего не умею, я еще совсем не актриса.

— Представляешь, — спокойно говорит Клава Духанина. — Я рада слышать это от тебя. Хотя очень хотелось мне, чтоб ты была у нас, в нашем театре. Я ведь надеялась, что ты со своей горячностью сможешь мне создавать этот театр. Но ты права. После съезда надо многое передумать. После того, что сказал Ленин...

Ксана вопрошающе смотрит на Клаву.

— Ты не знаешь? — удаленно ахает Духанина. — Не слыхала? Ну-у? Я тебе все расскажу. Был съезд комсомола. Много там говорили интересного. Но знаешь, что сказал Ленин? **Надо учиться**, — подчеркивает эти слова Клава. Она подробно рассказывает о выступлении Ленина.

— Я таких комсомольцев встретила! — радостно сообщает Ксана. — Уж не со съезда ли они ехали? Нет, наверно, рассказали бы. Но славные такие пареньки!.. А знаешь, Клава, — перебивает она сама себя, — я думала, ты меня осудишь. Скажешь: другие воюют, а ей надо учиться. Я когда-то осудила одну девочку. Но это было совсем другое. Она презирала нас, Красную Армию. Вообще, наверное, контрреволюционерка в душе. А учиться... Это необходимо. Мне особенно. Я всего шесть классов окончила.

— Мы пошлем тебя учиться. В Москву. Хочешь?

Потом, когда-нибудь, через много лет, ты приедешь в наш театр. Актрисой!

Они обе хохочут, хохочут до слез.

...Ах, как хорошо снег хрустит под ногами! Как бело вокруг! Какие нежно-голубые блики лежат в ложбинах! Уже чуть смеркается. До чего красив город!

Света в гостинице нет. Зато под самым окном Ксаны горит бледный уличный фонарь. От него в комнате светло, хоть всю ночь читай. Читай или думай о своем, меряя шагами комнату. Столько всего впереди! И главное, Москва! Но еще заехать домой. Увидеть своих. Маму. Дорогая моя мамочка, прости меня, что я совсем не думала о тебе. Нет, я думала, думала, с болью. А отец! Вот перед кем я виновата. Он всегда так заботился обо мне. А я... никогда, никогда не заботилась о нем. Я и грубила ему. Он не хотел, чтобы я стала артисткой. Прости меня, папа, но я все-таки буду артисткой! И я тебя очень люблю. И уважаю тебя! Скоро я всех вас увижу, сестры мои и братишка. И милая моя Мира!.. Нет, нет, только без слез! Надо держаться. И ты, дорогой, ты бы мне тоже сказал: надо держаться! И крепко сжал бы мои руки... Но тебя там уже не будет. Нигде уже не будет!..

Не снимая шинели, — в комнате холодно — Ксана долго стоит у окна, потом при свете фонаря укладывается спать.

В окно заглядывает снежная ночь. Тишина. И будущее.

### ГЛАВА XXX

#### ПОЕЗД В БУДУЩЕЕ

Шумно илюдно на вокзале. На перроне сидят и лежат красноармейцы, матросы, женщины с мешками и корзинами... Два санитары в грязных белых халатах, надетых на шинели, тащат на носилках красноармейца. Он поднимается, размахивает руками, куда-то рвется, бредит, мутные глаза его ищут кого-то среди толпы. Тиф.

Комиссар вокзала в красных галифе и черной кожаной куртке, с огромным маузером в деревянной кобуре, отдает распоряжения, покрикивает на пассажиров. Он идет по перрону, покрытому ковром из подсолнуховой шелухи, а за ним двигается десяток-два людей, все они что-то спрашивают у него, требуют, просят. Кто-то отчаянно ругается, кто-то истерически кричит:

— Я свою кровь проливал, контра ты этакая!

На путях стоит поезд, набитый до отказа. Ксана тычется во все двери, но вагоны настолько переполнены, что войти невозможно. Какой-то матрос с десятком «лимонок» на поясе, силой вталкивается в классный вагон, крича:

— Расступились, взорвусь!

Никто не расступается, но матрос как-то давливается в толпу. Его громкий голос долго слышен Ксане, проходящей мимо вагонов и тоже пытающейся куда-нибудь втиснуться.

Красноармеец с морщинистым, бледным, усталым лицом, видно, после болезни, взбирается на буфера между вагонами и, кряхтя, с трудом запезает на крышу. Ксана стоит, приглядывается и тоже лезет за ним. Не очень-то легко это сделать, хоть вещей у нее нет. Маленький узелок заткнут за пояс.

На крыше уже довольнолюдно. Кто-то расположился с тюками, корзинами, кто-то сидит, закусывает хлебом с огурцами.

Ксана нравится здесь. Она стоит и оглядывает сверху вокзал, пути и виднеющийся город. Легкий восторж треплет концы ее красного шерфа, и он похож сейчас на флаг.

«Сколько я здесь осталяю! — думает Ксана. — Или наоборот — беру с собой». Она улыбается городу, небу, всему, что прошло, воспоминаниям, улыбается и плачет.

Поезд рывком трогается, но стоять нетрудно, Молодой веселый боец кивает Ксане.

— Эй, браток, стой! Будешь всю дорогу — без головы приедешь.

Сильный паровозный гудок оглушает Ксану, она хмурится.

Поезд набирает скорость — и вот проносятся мимо дома, сараи, склады...

Белый снег кругом. Чисто, ясно. Блестят на солнце рельсы, бегут, открывают путь вперед.

В Москву.

— m —

Иван ДРАЧ



Гравюра  
Ивана Кристача.

# СЫН ВОЛЬНОСТИ

Т. Г. Шевченко! Достаточно было одного человека, чтобы спасти целый народ, целую нацию...  
Остап Вишня, «Дневник».

**С**удьба облекала его жизнь в трагические формы. Думая о Шевченко, вспоминаешь слова Стефана Цвейга, который говорил, что мир разума не знает обманчивого понятия числа, и на его весах один восставший против всех может весить больше, чем множество восставших против одного... Восставший Шевченко был гневным языком целого порабожденного народа, в памяти которого долетали последние дымящиеся головни из гайдамацкого пожара, а казачья эпоха вольностей сладкой болью отзывалась в думах и напевах слепых бандуристов — сама Украина была искромсанный бандурой с разорванными струнами. Вместе со всей Россией она была под ярмом царско-крепостнического ига. А какие нечеловеческие силы смогли бы бережно и чутко выводить ее почти смертельно израненную душу и чье живое человеческое сердце могло бы затрепетать в ее ступняющей груди?! Так гениальный певец по велению времени должен был собственной мученической жизнью прокомментировать свои удивительные творения.

Родился будущий поэт 9 марта 1814 года крепостным помещика Энгельгардта и только двадцатичетырехлетним юношей получил «вольную» (как известно, Кара Брюллов сделал портрет поэта Жуковского, а Жуковский устроил лотерею, давшую 2 500 рублей — за эту цену была куплена свобода Шевченко). Вскоре он становится одним из самых любимых учеников — товарищей «Карла Великого» — Брюллова. В 1845 году Шевченко заканчивает курс Петербургской Академии художеств и едет на Украину. Прошло два титанических по творческой отдаче года, и 5 апреля 1847 года жандармы арестовывают поэта

вместе с членами Кирило-Мефодиевского братства. Тарас стойко держится на допросах; царенавистническая поэма «Сон» и другие революционные произведения — улики более чем достаточные.

Все он изведal: тюрьму петербургскую, Справки, допросы, жандармов любезности, Все — и раздольную степь оренбургскую И ее крепость. В изгнание, в неизвестности. Там, оскорбляемый каждым неведомо Жил он солдатом с солдатами жалкими.

(Н. А. Некрасов.)

Измученный физически, но не сломаенный морально, Шевченко наконец возвращается из ссылки, чтобы по истечении нескольких лет умереть почти в одиночестве. 24 года крепостнической неволи, 10 лет солдатчины, 13 лет каторжного труда с постоянной угрозой ареста — вот главные этапы его трагической биографии. Шевченко пришлось исполнить предначертанное в юности:

Без малодушной укоризны  
Против мятарства трудной жизни,  
Измерить пропасти страстей,  
Понять на деле жизнь людей,  
Прочтешь все черные страницы,  
Все беззаконные дела...  
И сохранить полет орла,  
И сердце чистой голубицы!

(«Тризна», написанная поэтом на русском языке.)

Нимб великомученика за человеческое право быть свободным светился вокруг каждой его строфы, а каждое стихотворение было таким цельным и органичным в своей внешней простоте и внутренней мудрости, — то страшным в своем библейско-нафосном протесте, то печально-солнечным в своей песенной нежности и нетрогальности, — что, естественно, незамедлительно простерлись совиные крыла инквизи-

торского вето: «Под строжайшим надзором с запрещением писать и рисовать». На что можно было ответить: «Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора...» И еще — по истечении десяти лет мучений, издевательств, солдатской муштры, допосов: «...я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась».

Лишь потрясающая преданность народу позволила ему воевать с открытым забралом. Время, народ и свобода требовали титанического подвига, и он был совершен. Не каждая из литератур Европы колочет таким Шевченко-ским протестом против унижения человеческого духа, и даже среди самых подготовленных и выставочных культур не часто появлялись поэты, так превосходно владевшие огненным оружием обличения и посягания на такие Bastиины тирании и крепостничества, какой была царская Россия — тюрьма народов. Вука гайдамака, сын крепостного стал основоположником новой украинской литературы и литературного языка Украины.

«Он был сыном мужика и стал властителем в царстве духа.

Он был крепостным и стал исполнимым в царстве человеческой культуры.

Десять лет он томился под бременем российской солдатчины, а для свободы России сделала больше, чем десять победоносных армий...» (И. Франко).

Известный украинский ученый, первый ректор Киевского университета, друг Пушкина и Гоголя, Максимович писал Тарасу в 1859 году: «В окрестностях Михайловской горы (гора возле Канева. — И. А.) оставили Вы по себе самые живые, самые сердечные воспоминания. А на правом берегу Днепра Вы стали личностью мифической, о которой слышатся удивительные сказки и легенды, наравне с историями Древних времен». А в жандармских сейфах по смерти поэта, кроме всемирно известного пухлого дела «о художнике Шевченко», завелось дело «о могиле Шевченко» на ста восьми листах (в легендах шла речь о спрятанных на могиле «священных» для мести гайдамацких ножах). Поэт прислушался к народу, народ — к самому сердцу его поэзии.

О Шевченко написаны тысячи томов исследования, но самым глубоким шевченковедом был и остается народ, хотя отношение поэта к народу было выстроено отнюдь не на фундаменте сентиментальной любви и всепринятия. Поэт стал выражением духовного здоровья украинской нации только лишь потому, что мог смело высказать ей в лицо и слова ненависти к долготерпению, к проявлениям унижительного холоушства, выставочаного царскими слугами на протяжении столетий; он не только вприсунул артериальную кровь своей поэзии в духовные жилы народа, но не боялся вскрыть и гнойные язвы на его теле или хотя бы указать на них,

...А ми дивились і мовчали  
Та мовчки чужади чули.  
Німі, подлії раби.  
Підняки царські, ланці  
Напрада і п'яної...

В порыве отчаяния Николай Чернышевский как бы в унисон своему украинскому побратиму тоже возмущался долготерпением народа. «Мы помним», — писал В. И. Ленин, — как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жакава нація, нація рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы — великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих

словах. А, по-нашему, это были слова настояще любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения».

Такого рода уничтожающие перемناды рождаются только в сердцах патриотов. И только люди, подобные Чернышевскому, смогли достойно оценить поэта Украины, у которого «...весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни» (Н. Добролюбов. Рецензия на «Кобзаря»).

Соратник Герцена, которого так любил Шевченко, поэт Николай Огарев писал: «Шевченко, народный поэт Малороссии, с восторгом принял как свой в литературе русской и стал для нас родной, — так много было общего в наших страданиях и так самобытность каждого становилась необходимым условием общей свободы». Шевченко глубоко любил и ценял Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Шеварина. «Как хороши «Губернские очерки», в том числе и «Мавра Кузьмича» Салтыкова... Я благодарю перед Салтыковым. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью воздавался бы благородная душа твою, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих». Всей душой ненавидя самодержавие, царских чиновников и особенно «земляков»-холопов, которые верой и правдой служили царю-батюшке, Шевченко всей своей великой душой любил угнетенный русский народ, бесчисленные угнетенные народы России — свидетельство этому его «Дневник». Шевченко вместе с Марко Вовчок, Жемчужниковым, Аполлоном Майковым, Салтыковым-Шевариным, Тургеневым и Пироговым выступает с протестом против антисемитских статей журнала «Иллюстрация», а известный грузинский поэт Акакий Церетели вспоминает впоследствии о встрече с певцом Украины: «Признаюсь, я впервые понял из его слов, как надо любить родину и свой народ».

Ленинская «Правда» — газета русского революционного пролетариата — записала Шевченко от черных рук черносотенцев: «Не везло Тарасу Григорьевичу при жизни, не везет и после смерти... За то же продолжают гонения против Шевченко теперь... Потомки крепостников пытаются к народному поэту, вышедшему из крестьян, ту же злобную ненависть, что и их присвоившие отцы, — «мазепинец» и чуть-чуть ли не «жид». Этого совершенно достаточно для худшей памяти народного поэта...»

Самый национальный поэт Украины был глубоко интернациональным. Декламируя стихотворения Пушкина о Мицкевиче («Он между нами жил...»), где говорилось

...о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся,

Шевченко вторил своему великому предшественнику.

В Лейпциге, в типографии Вольфганга Гергарда, в 1859 году вышла книжка «Новые стихотворения Пушкина и Шевченко». Это издание, за которым так охотились жандармы, соединяло имена двух самых крупных славянских поэтов одним тираноборческим нимбом. И как все истоки русской литературы лежат в титаническом явлении Пушкина, так все истоки литературы украинской — в «Кобзаре», — книге такого массового распространения на Украине, книге такого удивительно современного звучания.

Начиная от «Катерины», где судьба покинутой де-

пушки-«покрытки», судьба одинокой матери просматривалась сквозь призму национальной и социальной трагедии целой Украины, до самого высокого взлета его поэтического вдохновения последних лет — поэмы «Мария», — Шевченко каждую затронутую тему, каждый живой осколок быстро текущей жизни силой своего таланта впервые в украинской литературе поднимает до уровня общечеловеческих противоречий XIX столетия, которое выпало на его долю. Открытая гражданственность его стиха надолго осталась преобладающей в украинской поэзии. Финансированное мастерство, на котором при самом внимательном, микроскопическом осмотре нельзя увидеть следов поэта, органично являющийся из самых таинственных душевных глубин чистый источник света, на котором сожгли никчемные крылья десятки мотыльков-зигмонов (в этом смысле судьба не помывала даже самого талантливого из них — Павлюк Кулиша), долгое время было явлением беспрецедентным, но многообещающим для возрождающейся украинской культуры. Только Иван Франко и Лесь Украинка стали ровнем с Шевченко и свои поэтические факелы зажгли непосредственно от его неугасающего огня, только они имели право таланта и избрничества класть кирпичи на фундамент, заложенный его руками.

Теперь, простите мне эту дерзость, я скажу, что Шевченко был поэтом веселым. Не виноватский смех, не гейшеский саркастический, хотя и были попытки сравнить украинца с немецким поэтом, — нет, в нем переливалась внутри печальная веселость славянина, хотя выходила она наружу только редкими всплесками. Это была радость ребенка, наивная улыбка гения, которая теплится в самой сердцевине и бросала жизнеутверждающие ответы даже в шекспировски трагичных «Гайдамаках», даже в глубинно-печальной «Найчичке». Это была та невидимая даже для изощренного взгляда часть айсберга, скрытая под водой, которая жила веселой шевченковской кровью самые печальные шевченковские вещи. Он был человеком гармоничным, в его душе дремал зародыш личности Возрождения, но признание народного пророка сконцентрировало все его чаяния в одной точке, имя которой Народная Слеса.

До сих пор Шевченко — самый известный украинский писатель в мире. Француз Дюран в 70-х годах минувшего столетия в «Revue de deux mondes» писал о поэте как о выразителе революционных идей, как о певце социального и национального протеста. Известный английский славяновед профессор Морфил назвал Шевченко «одним из тех детей солда, у которых и кровь есть огонь». Шведский ученый Альфред Енсен говорил об универсальном значении шевченковского гения. О признании среди братских славянских народов и говорить нечего. Первый великий поэт новой великой литературы славянского мира, один из самых ничтожных с точки зрения официальной России подданных империи, был представителем народа, который не имел и тени политической самостоятельности, никаких ресурсов культурного строительства, не имел даже места на географических картах тогдашней Европы, силой и красотой голоса своего вынуждая прислушаться к себе не только славянских, как пишет академик А. Белецкий, но и общеевропейских, а со временем и весь культурный мир. Он был первым, а на плечи пионеров ложатся порой непосильные тяжести. И если его не согнула гигантская ноша, можно только удивляться твердости этой легко равняемой человеческой натуры, художника нежного, хрупкого и легко обидчивого, орла с голубиным сердцем.

В краю Фудзиямы и сакуры — японской вишни.

а это так далеко от казачьего клекота Днепра, вышла недавно 12-й том «Антологити мировой поэзии». В нем помещен полный перевод стихов из «Кобзаря», выполненный Комуцу Капунэсу. Но узнали о Тарасе Шевченко в Японии значительно раньше.

В 1926 году появилась книга стихов молодого крестьянского поэта Сибуба Тэйсукэ «Песнь полей», посвященная Тарасу. И вот теперь, когда весь мир преклоняется перед удивительной судьбой украинского гения, вышло еще одно издание стихов Тэйсукэ. Японский поэт создал на своей родине в префектуре Сайтама «Кабинет изучения творчества Шевченко». Как видим, «были тихими старания упрятать твой стих, скрыть подальше от глаза людского», как восклицает Сибуба Тэйсукэ, обращаясь к Тарасу.

А на другом конце планеты, в республиканской Испании, сражался с фашистами украинский батальон имени Тараса Шевченко в составе бригады Кароля Свержеского, почти весь составленный из революционеров-галичан.

Так неумоимо растекалась слава по всем углам мира, так люди разных эпох, судеб, национальностей платили поэту самую высокую дань на земле — дань восхищения.

Вот один из ярких примеров. В революционные ряды из Петербургской академии художеств ушел молодой украинский художник и скульптор Сергей Саниуха. В сложных перипетиях подпольной борьбы, спасаясь от преследования белополянской конницы, молодой большевик-подпольщик ушел в неприступные скалы над Днепром, где в свое время скрывался Кармалюк с отрядом. Целую зиму рубил Саниуха из гранитной скалы памятник Тарасу, отстреливаясь от белополяков. Когда же подошли свои части, Сергей влился в ряды передового фронта. А удивительный памятник над Днепром возле Могилев-Подольского стоит до сих пор. Этот факт — капелек, в которой отражается многоцветная гамма любви народа к поэту.

Есть в мире памятники величественнее, помпезнее, но ни один не создавался в таких жестоких условиях, когда скульпторскому долоту и резцу помогали вражеские пули, отсекая кусочки израненного гранита...

Только в Советском Союзе Шевченко стал виден в полный рост своей фигуры пророка, певца, революционера. Впервые дежурский карандаш не выкидает живой тьманы его стиха, а современное шевченковедение творчески развивает те линии, которые были прочерчены Герценом и Фрашко, Чернышевским и Гравоским, Луначарским и Лесей Украинкой. Самые талантливые переводчики работают над «Кобзарем», миллионы книг Шевченко выходят на десятках разных языков советских народов-братьев. Маршета Шагиния приводит в монографии о Тарасе удивительные и трогательные факты заботы переводчиков каждой нации Союза о том, чтобы стихи поэта на языке каждой нации звучали с не меньшей силой, чем на украинском...

Наибольшая слава для каждого края, для нации — это создавать общечеловеческое. Сокровища украинской души будто бы полной рекою влились в общий поток человеческой культуры, плывущей своими волнами навстречу светлоте будущему. Слава Шевченко! — эти проникновенные слова первого наркома просвещения Луначарского раздаются сегодня, в дни 150-летия поэта, с удвоенной силой. Явление Шевченко незапамятным солнцем поднимается из Украины на общечеловеческие горизонты — поэт, не склонивший головы в борьбе, становится совестью всех борющихся за человеческое братство, за волю и великую семью народов, которую так мечтал увидеть Шевченко...





Станислав РАССАДИН

Поговорим  
о прочитанном

# ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ...

**В**се мы любим кино. Спорим об Эйзенштейне, Феллини, Хухрае. И все-таки пусть не главный, но особый наш интерес отдают хроники, документальным лентам, показывающим непридуманную и несрежиссированную жизнь.

Все мы любим художественную литературу. Спорим о Толстом, Хемингуэе, Твардовском. И все-таки пусть не главный, но особый наш интерес отдают биографическим книгам, рассказывающим о реальных, действительно живших на земле замечательных людях.

И потребность в документальном кино и в биографических книгах не заменишь никакими, даже самыми значительными, художественными произведениями. Потому что она и впрямь особая...

Вероятно, помимо всех прочих причин, дело здесь в том: волнуешь, которое испытываешь, прикасаясь к самой жизни, ощущая абсолютную ее правдивость и документальность. А во всем этом ни с чем не сравнимая убедительность. Поэтому не случайно, что из всей советской литературы наиболее реально воздействовали на молодежь именно те характеры, за которыми проглядывались жи-

вые, реальные прототипы. Ведь что бы там ни говорили литературоведы, а молодой читатель не отделив Корчагина от его автора и на молодого гвардейца смотрел не как на «обобщенно-художественные образы», а как на действительных краснодонских комсомольцев.

В этой статье я хочу поговорить о некоторых книгах биографического жанра — в основном о книгах серии «Жизнь замечательных людей», выходящей в издательстве «Молодая гвардия» (и только что отметившей свой тридцатилетний юбилей). О ее значении для юношей, обдумывающих жизнь, решающих, сделать бы жизнь с кого, о вопросах, общих для многих биографических книг.

## «ЭТИМ И ИНТЕРЕСЕН»

**В**от одна такая книга. Имя, стоящее на ее обложке, не из тех, что мгновенно вызывает у нас с детства отстоявшиеся ассоциации. Скорее оно просто мало известно нашему читателю, вернее было мало известно, пока книга не вышла в серии «Жизнь замечательных людей».

Это имя — Эварист Галуа.

Впрочем, математикам оно известно давно. «Группа Галуа», «поле Галуа», «теория Галуа» — это их привычные термины. Но и математики мало что знали о судьбе и жизни Эвариста до того, как польский физик Леопольд Инфельд собрал разрозненные сведения и издал романзированную биографию.

Инфельд назвал свою книгу «Избранник богов». Название это, как будто такое фанфарно-громкое,

на самом деле звучит печально; оно связано с изречением древнегреческого комедиографа Менаандра: «Тот, кого любят боги, умирает молодым».

Эварист Галуа умер — вернее трагически погиб — двадцатилетним. Он был гениальным математиком, но о его гениальности подозревал, пожалуй, лишь он сам. Ни один из его современников — во всяком случае, влиятельных — решительно не признавал его. Рукописи, которые он посылал в академию, не публиковались. Да и были ли они прочитаны? Кому была охота возиться с писанной сумасбродного мальчишки?

Свое открытие, прославившее его потом, Эварист изложил торопясь, в последние часы своей жизни, перед дуэлью, на которую был вызван негодными и в трагическом (для себя) исходе которой ни минуты не сомневался.

«У меня нет времени», — в полутьмноте написал он на полях предсмертной рукописи.

Мы поняли бы Инфельда, если бы он начал свою книгу с этих слов, «с конца», с того самого момента, который обессмертил имя Галуа. Это был бы надежный и оправданный литературный прием.

Он обеспечил бы автору читательский интерес с самого начала. Он заставил бы нас особенно внимательно следить за всеми поворотами личной жизни французского мальчика, отделенного от нас более чем столетием: ведь мы уже знали бы конец. Знали бы, кем стал Галуа. И все мелочи его жизни были бы для нас освещены ретроспективным светом.

Но Иффельд поступил иначе. Он написал свою книгу так, что нам и в голову не приходит эти слова: «личная жизнь», «мелочи жизни...» Перед нами просто жизнь — полная и яркая, хотя и до обидного краткая. Жизнь, в которой нет мелочей — настолько она целеустремленна. Перед нами единый характер Галуа, характер, чья последняя вспышка была трагической, но естественной.

За формированием этого характера мы следим с вниманием и сочувствием. Следим с того момента, когда маленький Эварист становится учеником кичливого лица Луи-ле-Гран, где он делает первые шаги к постижению истины — и в науке и в социальных отношениях. Следим за тем, как характер Эвариста не становится с годами тише и глаже, напротив, как его рывки резкость и непримиримость делаются все острее. Вот он устраивает бунт в новом своем пристанище — в Нормальной школе, откуда его и изгоняют. Вот становится прямым солдатом революцией 1830 года, «одним из самых неистовых республиканцев», по выражению своего знаменитого современника Александра Дюма. Вот угрожает убийством королю-предателю Луи-Филиппу и попадает в тюрьму. Вот гибнет...

Так, шаг за шагом, ступень за ступенью, звено за звеном складывается в книге художественный характер. Но никакое мастерство замечательного изложения не поправило бы дела, если бы характер Эвариста с самого начала не стал проявляться в своем главном, если бы уже на первых страницах не возникло его дело, благодаря которому жизнь Галуа и стала наполненной и целеустремленной!

Иффельд — физик-теоретик, соратник Эвариста по страсти к математике. Поэтому о научных поисках, разочарованиях и обретениях Галуа он рассказывает не мимоходом, не в справочном порядке. Но Иффельд — и талантливый беллетрист, сумевший избежать сухой «научности», вернее, сумевший вывести на свет романтику математического мышления. Поэто-

му уже первая встреча Эвариста с математикой и первое его творческое недовольство ее тогдашним несовершенством выражены просто увлекательно:

«Он прочел книгу Лагранжа не так быстро, как книгу Лежандра. Впечатления его были противоречивы. Как ни увлек его этот великий труд, он оставил у него и чувство неудовлетворения, возраставшее с каждой прочитанной страницей. В геометрии он ясно видел общее построение, здесь — нет. И он знал, что не видит его, потому что оно не существует. В жизни геометрии виды были стили, гармония, красота. Алгебра же была странным сочетанием построения различных стилей, большинство из которых было лишь заложено и ни одно не завершено. За нагромождением построек не чувствовалось замысла великого зодчего».

Словом, получился — повторяю — именно художественный (хотя и немысленный) характер, в котором «личная жизнь», наука и общественные убеждения не просто «мирно сосуществуют», а немислимы друг без друга. Поэтому одинаково уместны в книге Иффельда и математические выкладки, и отступления о политических событиях во Франции, и интимные подробности жизни Эвариста.

Конечно, создать такой художественно-документальный характер очень нелегко. Не во всякой биографической книге (в том числе и не во всякой книге из серии «Жизни замечательных людей», или короче «ЖЗЛ») есть такое кровное соединение личного и общего, частной жизни и дела. Но причина тому — далеко не всегда отсутствие таланта (иначе не стоило бы об этом и говорить: тогда уж делу помочь было бы нелегко).

Иффельд не поддался соблазну и не стал писать книгу «с конца», не захотел обеспечивать читательский интерес самим по себе именем Галуа. Но бывает, что такой соблазн особенно велик, когда речь идет не о малоизвестном человеке, а о личности, которую знают буквально все, — скажем, о Пушкине, или о Циолковском, или о Джеке Лондоне. Что тогда? Может быть, здесь и впрямь достаточно обойти (или полуобойти) дело этого замечательного человека: ведь оно всем прекрасно известно. Может быть, и впрямь следует ограничиться биографическим комментарием?

Нет. Любую биографическую книгу — о ком бы в ней ни шла



речь — надо писать так, словно читатель ничего не знает о «конце», словно его заново, впервые надо убеждать в значительности и внутренней красоте героя.

И это не частный вопрос писателя-технолога. Это вопрос, касающийся самого главного — того, что делает книгу по-настоящему художественной и в лучшем смысле слова воспитывающей. Не просто дающей пример разрозненных добродетелей, но представляющей читателя к тому лучшему и главному, ради чего прожил свою жизнь замечательный человек.

В двадцатых годах нашего века в поэзии возник своеобразный спор. Одни из поэтов — это был Маяковский — написал поэму «Владимир Ильич Ленин», которая в то время вызвала множество упреков и обвинений. В частности, упрекали Маяковского и в том, что он недостаточно показал Ленина «просто» человеком.

В этот спор (невольно или умышленно) включился Александр Безмемский. Он как раз и написал поэму, изображавшую Ленина вне зависимости от его дела. И озаглавил ее polemично: «Владимир Ильич Ульянов».

В этом споре был прав, конечно, Маяковский. Прав, ибо

Коротка и до последних мгновений  
нам известна жизнь Ульянова.  
Но долгую жизнь товарища Ленина  
надо писать и описывать заново.

В биографической книге жизнь великого человека тоже должна быть «долгой». Если этого не будет, если она сведется к частностям, лишним главным, то эта жизнь станет не просто неполной, обделенной (это бы еще полбеды), но и совершенно искаженной.

Когда-то Виктор Шкловский критиковал известную работу Вересаева «Пушкин в жизни». Критиковал, во-первых, за то, что Вересаев пользовался в ней непроверенными сведениями, а то и бытательскими слухами о Пушкине, и, во-вторых, за то, что он невольно изобразил совсем не того Пушкина, которого знает русская литература, а Пушкина, лишнего главного — преобразующего его вдохновения, поэта, размененного на житейские мелочи. Были забыты пушкинские строки:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон,  
В заботах суетного света

Он милодушно погружен;  
Молчит его святая лира.  
Душа ищет хладный сон,  
И меж детей ничтожных мира,  
Быть может, всех ничтожней он.

В работе Вересаева, писал Шкловский, пушкинская лира молчит, а он сам и впрямь «всех ничтожней», ибо лишен главного, ради чего жил и без чего попросту не был бы Пушкиным.

Мне кажется, среди биографических книг есть и такие, что повторяют эту ошибку. И наиболее талантливая (а потому наиболее показательная) из них — «Морик в седле», биография Джека Лондона, написанная Ирвингом Стоуном («ЖЗЛ»).

Разумеется, было бы нелепо отрицать многочисленные достоинства этой книги (как не было бы зачеркивать вересаевский труд). Стоун — опытный и занимательный рассказчик, умеющий крепко держать читательское внимание. Да, наконец, и сам материал таков, что читать книгу чрезвычайно интересно. Я pokrивал бы душой, если бы сказал, что книга не захватывала меня.

И все же помню, что, когда я дочитал ее, меня немедленно потянуло к книгам самого Лондона. Не потому, что «Морик в седле» вызвал у меня прилив интереса к этому писателю, напротив, у меня возникло желание отстоять своего Джека Лондона, того, которого я люблю в детстве и не собираюсь вовсе разлюбить сейчас. Захотелось вновь прикоснуться к тому главному, что Лондон выразил в своих книгах и чего почти совсем лишена книга Стоуна.

Она правдива и достоверна. Вероятно, факты ее проверены и несомненны. Она не скрывает из жизни Лондона ничего, даже самого интимного, и эта жестокая правдивость достойна уважения. И все же я, читатель, не могу отделаться от ощущения, что Лондон насильно превращен в ординарного человека — в приятного, неглупого, обаятельного, своеобразного, в какого угодно, но ординарного.

Стоун оторвал Джека Лондона от его работы, показав его только «в заботах суетного света», — и в результате все в нем стало меньше, неинтереснее, даже его трагедия, которая была сведена лишь к личным неудачам и к физической измотанности (конечно, она была и в этом тоже, но не только в этом!).

Как можно было избежать этого? Снабдив книгу анализом произведений Лондона? Или как-нибудь еще? Не знаю. Вероятно, в

каждом конкретном случае ответ должен быть особым. Но должен быть.

Словом, как начинала Маяковский свою автобиографию: «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу».

Правда, эта цитата имеет продолжение, которое предостерегает от другой крайности: «Люблю ли я, или я азартный, о красотах кавказской природы также — только если это отстоялось словом».

Когда-то Мопассан с удивительной для него гордостью протестовал против опубликования писем Флобера. Незачем, говорил он, вываливать на площадь интимный мир художника. Довольно и того, что он дал в своих книгах.

Разумеется, сам этот протест, само недоверие — больше ненависти — к бытательским пересудам глубоко понятны. Но, с другой стороны, не будь обнаружены письма Флобера, мы лишились бы художественных шедевров, может быть, не уступающих по выразительности и по чисто литературной значительности лучшим из флоберовских книг.

Мы хотим — да просто обязаны — как можно больше знать о жизни наших замечательных людей, обо всем, что связано с их творчеством, что сопровождало его и мешало ему, что так или иначе, зримо или незримо отстоялось словом. И если мы замечаем, что биографическая книга недооценивает, показывает нам полуправду, то есть полужогу, то есть ложь, мы не верим ей и, не дочитав, откладываем в сторону.

Хуже всего, если автор биографических книг — невольно или умышленно, это все равно — пытается улучшить историю, сгладить противоречия, выпрямить жизнь великого человека по раз и навсегда созданному шаблону. Конечно, это не ново — мы помним биографические книги или фильмы недавних лет, где великие люди прошлого говорили о себе цитатами из своих поздних критиков и предсказывали, в каком именно году (обычно это совпадало с тем годом, в каком выходил фильм) о них вспомнят далекие потомки. При таком подходе к биографическому жанру, к жанру, который как-никак создает два соавтора — писателя и историю, второй из них вынужден был отступить в сторону, а первый делал уже все, что надо.

В «Одноэтажной Америке» Ильф и Петров рассказывали такую историю. Когда режиссер Майлстон снимал в Голливуде фильм по

роману Ремарка «На Западном фронте без перемен», босс потребовал от него изображения «тяжелого» конца на «хэппи энде» — иначе, сказал босс, американцы не станут смотреть этот фильм.

— Ладио, — ответил Майлстон, — я сделал другой конец... У Ремарка войну выигрывают французы, как это было в действительности. Но раз вы желаете обязательно изменить конец, я сделаю, чтобы войну выиграли немцы.

Конечно, нельзя «делать другой конец», как, впрочем, и другое начало и другую середину. Да и вообще не нужно регламентировать и сортировать факты (это — можно, это — нельзя), надо лишь помнить о главном, о Деле замечательного человека. И тогда главное будет главным, а частности — частностями, не претендующими на большее.

В одной из самых лучших книг серии «ЖЗЛ» — в «Жизни господина де Мольера» покойного Михаила Булгакова — много фактов, на первый взгляд способных скомпрометировать Мольера в наших глазах. Есть утверждения, вызывающие возражения комментаторов-мольеристов (недаром книга о Мольере сопровождается вступительной статьей и примечаниями профессора Т. Бояджиева). Но эти спорные утверждения не способны играть сколько-нибудь решающую роль, а открытость писателя не предит, а, напротив, лишь усиливает достоверность характера Мольера — и все это потому, что он есть, этот характер, есть главное, есть то, за что люди навсегда полюбили великого комедиографа.

Книга Булгакова написана со страстью участника событий. На первой же ее странице он сам входит в книгу как действующее лицо:

«И вот: на мне кафтан с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо мной горят восковые свечи, и мозг мой воспламеняется».

«И я, которому никогда не суждено его увидеть, посылаю ему свой прощальный привет».

Между этими строками вся жизнь «господина де Мольера». Жизнь тяжелая и трагическая.

Булгаков ничего не скрывает от нас. Ни материальных тягот Мольера, ни его семейной драмы, ни неуравновешенного характера, ни иных слабостей. Не скрывает и самого страшного — рабской зависимости от королевских и титулованных ничтожеств.

Горькое это зрелище — униженный Мольер, развлекающий прин-

ца Конти или Филиппа Ораанского, носящего титул «Единственный брат короля»; Мольер, вынужденный угождать их вкусам, переделывающий и уродующий интермедии и танцы: король Любит балет.

И это не просто булгаковская достоверность. Именно из любви к Мольеру, из преклонения перед его мучительной и великой жизнью он доискивается правды — пусть самой жестокой, лишь бы не полуправды. Цитируя в прологе плащавые строки из пьесы о Мольере Жорж Санд, пьесы, в которой умирющий Мольер, в частности, говорит: «Да, я хочу умереть дома... Я хочу благословить свою дочь...», цитируя эти строки, Булгаков прямо-таки защищает своего героя от этой доброты: «Дамы пишут трогательно, с этим ничего уж не поделаешь! Но ты, мой бедный и окровавленный мастер! Ты где не хотел умирать — ни дома и ни вне дома! Да и вряд ли, когда у тебя изо рта хлынула рекою кровь, ты извещал желание благословить дочь, мало кому интересную дочь Мадлену!»

Да, Булгаков ничего не скрывает от нас. Потому что понимает: если «вынуть» Мольера из его трудной эпохи, из его трагической судьбы, тогда характер его, попав в безвоздушное пространство, естественно, приобретет невесомость, а жизнь его, жизнь замечательного человека, потеряет вместе с достоверностью и всю поучительность. Воспитывать хорошее можно только правдой.

Мольер в книге Булгакова не похож на свой бронзовый памятник. Он бывает и загнан, и жалок, и даже смешон — до такой степени, что современный читатель гневно сжимает кулаки, ненавидя тех, кто заставлял его быть таким. И все-таки Мольер велик!

Вот он, показывая двору и королю три акта еще не оконченного «Тартюфа», испытывает разъяренное нападение церковников. Комедия запрещена. «Что же сделал актер за частной пьесы! Сжег ее? Спрятал? Нет. Оправившись после перальских потресаний, пераскакивший драматург сел писать четвертый и пятый акты «Тартюфа».

Так, что бы ни случалось, какие бы беды и немощи ни сваливались на его голову, Мольер — пусть загнанный, пусть порою жалкий — остается воинком, как велит ему талант, бросает вызов за вызовом всему обществу. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мещанин по дворянству»! Пошлячина церковникам! Аристократам! Буржуа!..

Мольер в изображении Михаила Булгакова — это поистине героический характер. И в этом смысле книга «Жизнь господина де Мольера» — образцовая для всей серии «ЖЗЛ» (если только в искусстве существуют образцы). Ведь любой замечательный человек героичен по самой своей сути.

Впрочем, это требует особого разговора...

## О ГЕРОИЗМЕ

К своему тридцатилетию серия «ЖЗЛ» выпустила в свет книгу своего основателя — Горького, его «Литературные портреты». Среди них очерк «В. И. Ленин».

Если помните, очерк этот начинается не с горьковской оценки Ленина. Сначала речь идет о том почтительном удивлении, которое вызвала ленинская личность даже у недругов.

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти», — написала о нем немецкая буржуазная газета.

Но сам Горький, любя и уважая Ленина в тысячу раз больше, чем любые сторонние наблюдатели, не говорит о нем в таких торжественно-попыхлятых тонах. В его представлении Ленин вовсе не надмирная, вовсе не сверхчеловеческая, вовсе не недоступная фигура. Ленинский героизм видится Горькому принципиально иным:

«Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это редкое в России скромное, аскетическое подлинничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей».

Это не общая формула, это сказано именно о Ленине и только о нем. Но последние слова «ради тяжелой работы для счастья людей» всеобщи.

Великий человек, выдающийся человек, замечательный человек... Конечно, эти слова несовершенны и относительны, но ими мы неумоимо выражаем степень своей благодарности за эту тяжелую работу для нас, для людей. И дело тут не только в самих по себе масштабах таланта и ума, то есть не только в возможности вести борьбу за счастье человечества, за правду и справедливость. Дело в постоянном стремлении участвовать в этой

борьбе, все силы отдавать ей — безотчетно и бескорыстно.

О таких людях и рассказывает серия «ЖЗЛ». Ее герои ведут эту борьбу, тянут эту тяжелую работу, так что само понятие «замечательный человек» оказывается понятием социальным.

Один из них выходил на открытий, смертельный бой с деспотизмом, как русские революционеры шестидесятых годов прошлого века, «молодые штурманы будущей бури» (по выражению Герцена), борясь за свободу крестьянства — о них идет речь в сборнике «Сподвижники Чернышевского» («ЖЗЛ»).

Другие замечательные люди сражались своим искусством, как великий художник Валентин Серов, книга о котором (написанная В. Смирновой-Ракинтой) вышла в той же серии. В этой книге есть просчеты — и даже весьма поучительные для всего биографического жанра, — но не о них сейчас речь. Главное то, что Смирнова-Ракина, рассказывая об искусстве конца прошлого и начала нашего века, о собственно-художнических поисках самого Серова, все же сумела (именно этими средствами) дать нам ясное представление о человеческой личности, о характере Серова. Серов революционен в своем деле даже тогда, когда его работа как будто бы не сопрягается с жизнью общества. И когда в 1905 году, в дни первой русской революции, перед ним стал прямой политический выбор, Серов, честный и непримиримый в своих взглядах на искусство, совсем не случайно оказался точно таким же и в политике. Он выступил с серией знаменитых политических карикатур на николаевских карателей и на самого Николая и отверг все компромиссы, предложившие ему правительством. И мы верим, что иначе и быть не могло.

С еще большей убедительностью показывает эту нерасторжимость Б. Кузнецов в книге «Эйнштейн» (Издательство Академии наук СССР).

Величайший физик столетия предстает перед нами не только ученым, не только обаятельным человеком, но и стойким борцом за счастье человечества. И вновь, иначе и быть не может, доказывает Кузнецов, ибо негодными «рациональные идеалы науки от рациональных общественных идеалов». Разрыв между ними был бы противостественным.

В пьесе «Жизнь Галилея» Бертольда Брехт по-своему истолковал образ великого ученого. Его Галилей выглядит необычным, во вся-

ком случае для школьных представлений. Отрекшись от своих открытий, брехтовский Галилей не произносит той упрямой фразы, которую приписала ему молва: «А все-таки оно вертится».

Проходит много лет, и бывший ученик Галилея Андреа Сартти навещает одряхлевшего учителя. И с изумлением узнает, что Галилей не бросил своих занятий, тайно продолжал работу и совершил новые открытия. Сартти, некогда возненавидевший Галилея за отступничество, теперь не только прощает его, но и сам начинает подкапывать оправдания для прошлого отречения: «Вы просто отстранялись от безнадёжной политической драки с тем, чтобы продолжать ваше настоящее дело — науку...»

Но сам Галилей не принимает этого скоропалительного прощания. Он понимает, что не искупил свою вину перед народом. Ибо успехи в чистой науке не способны заменить прямого участия в борьбе за людские души и умы, за судьбы мира.

Позже этой своей пьесе Брехт предпослал краткую заметку: «Драма «Жизнь Галилея» была написана в эмиграции, в Данни, в 1938—1939 гг. Газеты опубликовали сообщение о расщеплении атома урана, произведенном немецкими физиками. То есть над миром нависла угроза, что атомная бомба попадет в руки к Гитлеру».

Вот почему так остро решал Брехт вопрос о роли ученого (или художника) в общественной жизни: по земле уже шествовал фашизм. Так же решил для себя этот вопрос и Эйнштейн. Он был одним из самых великих революционеров в современной науке, и не случайно, что (по словам Б. Кузнецова) «ни один из естествоиспытателей не вмешивался в мирские дела с такой энергией и с таким эффектом, как Эйнштейн».

Когда в его родной Германии власть пришла к гитлеровским подонкам, для Эйнштейна не было выбора, конфликт его с нацистами был неразрешимым и двусторонним. Фашистский физик № 1, Леонард, заявил: «...Недостойно немца быть духовным последователем еврея. Науки о природе в собственном смысле имеют целиком арийское происхождение...» Работы Эйнштейна — в том числе статьи о теории относительности — были публично сожжены вместе с «неарийской и коммунистической литературой». Изданный Геббельсом альбом с фотографиями врагов гитлеровского режима открывался фотографией Эйнштейна с надписью «Еще не повешен».

И разве этот конфликт был чисто научного происхождения?

Нет, он существует давно. С тех пор, как схватываются воинствующий гуманизм и человеконенавистничество. А немедкий фашизм останется в памяти человечества не просто как государственный строй, воцарившийся на несколько лет в Германии. Он запомнится как наиболее удавшийся опыт издевательств над человеком, опыт вытрагивания из него всего лучшего, всего человеческого.

В очерке о писателе-народнике Каролине-Петропавловском Горький приводит слова из рассказа Каролина «Мой мир», ударившие Горького, по его словам, в сердце. Слова эти замечательные:

«На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от нее? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложены в них эта мировая сила. Если мир окутывает еще тьма, то потому только, что мысль не осветила ее; если среди людей большая часть подлых, то только потому, что мысль не освободила еще их от безумия».

Это написано в конце прошлого века и, вероятно, носит следы народнической велеуверчивости. Но какова точность, рожденная, конечно, болью за человека и верой в него!

По-настоящему великими людьми мы признаем тех, кто нес людям эту мысль, кто внахвал им чувство достоинства, кто формировал в них идеалы и ощущения жизненных ценностей, то есть формировал личность, кто вселял в них веру в победу добра, в победу социальной справедливости.

В другом своем «литературном портрете», в очерке «Лев Толстой», Горький так писал о чувстве, которое он испытывал, глядя на Толстого: «Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль».

— Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

И как похоже звучит такой рассказ: старика, жившего в одном городе с Эйнштейном, спросили, почему он в восторге от ученого, о содержании трудов которого он ничего не знает. Старик ответил: «Когда я думаю о профессоре Эйнштейне, у меня появляется такое чувство, будто я уже не один».

Это не сантименты, а выражение самого главного и лучшего, что можно сказать о великом челове-

ке. Счастье — и для него самого и для всех людей, — если он служит делу духовного объединения человечества, если может сказать о себе словами поэта:

Во мне — конец, во мне — начало.  
Мной совершенное так мало.  
Но все ж я прочное зыбко.  
Мне это счастье дано...

Вот почему с такой страстью и неизбежностью выступили все настоящие люди эпохи — и в первых их рядах Горький и Эйнштейн — против немецкого фашизма, который надеялся разрубить все связи, разъединить людей и превратить их в мысленных покорных одинок. Если бы того же Горького с юности его не «ударяли в сердце» фразы вроде каролинской, если бы он не сделал своей долголетней заботой о сохранении человечности, о совершенствовании людского рода, он не увидел бы с такой ясностью одной очень важной стороны фашизма.

Горький с болью и сарказмом констатировал, что в государстве, создаваемом нацистами, человек тем дешевле, чем он меньше, безличнее; индивидуальность, личность, непохожесть могут лишь помешать его продвижению к верхам:

«Могут сказать, что события не располагают к шуткам. Но это не я шучу. Если нация, которая дала миру Ганса Сакса, Гёте, Бетховена, семью Бахов, Гегеля, Гумбольдта, Гельмгольца и многие десятки крупнейших «мастеров культуры», — если эта нация избирает вождем своим Гитлера, это, конечно, факт, свидетельствующий об истощении творческой энергии ее командующего класса, и этот факт я воспринимаю как злейшую и уничтожающую шутку истории, которую создавала буржуазия. Так это, но и справедливо история шутит не только с немцами...

Меня не удивило бы, — продолжал Горький, — если б полицейские газеты Европы напечатали объявление приблизительно такого текста:

«Для занятия должности вождя нации требуются совершенные бесстыдники. Желających просит явиться в полицейспрезидиум для предварительного соревнования в силе бесстыдства. Евреи — исключаются, но, за этим ограничением, приемлемы представители всех рас и племен от японцев до бушменов. Кретины тоже могут принять участие в испытаниях на бесстыдство».

Конечно, такое объявление тоже звучит как шутка, но — лично я

полное уверен, что все может быть...»

В самом деле, как логично, что в 1933 году к власти в Германии пришел люди, которые кажутся нам не только убийцами, но и ничтожествами!

В этом была трагедия Германии. В этом была природа конфликта личности и безличности, вернее антиличности. Всякая полноценная человеческая личность не может мириться с идеологией разобщенности и обезчеловечивания, страшным образом которой был немецкий нацизм, не должна мириться хотя бы для того, чтобы остаться полноценной личностью.

Можно ли назвать все это героизмом? Конечно, можно. И нужно. Ведь такая борьба порою велась до конца, до последнего дыхания. Но мне кажется, для самих героев (как для Горького, как для Эйнштейна) слова «героизм» заменилось бы иными словами. Например, словами: «порядочность», «осуждение жизненных ценностей», «любьбу к жизни».

Именно — любовь к жизни. Потому что как раз настоящие жизнелюбы, а не мрачные фанатики способны на подлинный, осознанный и естественный героизм, даже на самопожертвование.

Ленин был жизнелюбом: истинную радость, даже счастье, доставляло ему и описание охоты у Толстого, и рыбная ловля, и беседа с интересным человеком... И разрыв от природы было свойственно ему то «аскетическое подвизничество», о котором говорит Горький? Разумеется, нет. Такова была жестокость (очень жестокая) необходимость, и Ленин, говоря горьковскими словами, «отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей».

Любовь к настоящей жизни может заставить человека пожертвовать собственной жизнью. И это не окажется парадоксом.

В августе 1962 года в журнале «Молодая гвардия» была опубликована поэма Н. Коржавина, посвященная замечательному человеку, Карлу Либкнехту, который первым в Германии поднял голос против войны 1914 года и был убит тогдашними предвещенниками Гитлера. В первой главе поэмы речь идет о сути подвига вообще.

Против героя брошено не только искусство палачей, но и весь здравый смысл европейского мещанина, накопленный девятнадцатым веком. Все: и фразы об относительности подвига («Не каждый подвиг помнят целый век») и вздохи о скоротечности бытия. И самое ко-

варное: «И если в жизни не нашел награды, ее нигде себе ты не найдешь».

Что на это ответить?

Но он молчит.  
Хоть все скрипают стены.  
Молчит, хоть сам он бледен,  
Как стена...  
Да, можно жизнь продлить  
Ценой измены.  
Но ведь не эта жизнь ему  
нужна.  
Все тусклостью покроется  
мгновению,  
И станет дней бессвязна  
суэта...  
Тот не предаст,  
кто знает жизни цену.  
Кому ее доступна  
красота.

В этом все дело. Выдающаяся, героическая личность — это прежде всего нормальная, естественная личность. Это высшая ее ступень. Она связана с миром, она его «прочное звено», его опора, и нет грубее ошибки, чем изображать выдающегося, по-настоящему замечательного человека величайшим но-надежным полубожеством:

Он был велик без поэмы величавой,  
И так, как полн, он встретит  
смертный час...  
Пусть мальчишки  
не бредят вечной славой —  
И мундир, и награды —  
все при нас.



Как можно было догадаться, статья эта не обзорная; я не высчитывала соотношение удач и неудач. Статья пыталась лишь решить некоторые вопросы, возникающие на материале библиографических книг, но не выстраивала эти книги в рекомендательный список. Трудно ведь вообразить себе молодого читателя, которого это только предостало бы приохотить к чтению серии «ЖЗЛ».

И все же мне хочется закончить статью пусть и не самым изобретательным образом: назвать еще несколько последних книг серии, заслуживающих, на мой взгляд, пристального внимания (а всего за годы существования серии вышло в свет что-то более трехсот книг). Это «Достоевский» А. Гроссмана, «Гаршин» В. Порудоминского, «Три Дома» Андре Моруа, «Циолковский» М. Араозорова, «Домье» М. Германа, «Бальзак» Стефана Цвейга, «Диккенс» Х. Пирсона, «Мшиевич» М. Яструпа, «Современники» К. Чуковского.

А планы серии «ЖЗЛ» тоже богаты и разнообразны. Будем ждать их осуществления.



# Леонид Мартынов

## Все зависит от людей!

Время —  
Это чародей:  
Кровь хлестала почем зря,  
Прямо — целые моря,  
А теперь земля пестра  
От выюнов до орхидей.

Время — это чародей!  
Чародей-то чародей,  
Но, по правде говоря,  
Смысла кровь не от дождей,  
А, по правде говоря,  
Все зависит от людей!

## Природа

— Все менее и менее  
Надеясь на спасение,  
Все более и более  
Лишаюсь вольной воли я! —  
Так шепчешь ты, Природа, мне  
С отравленными реками,  
С деревьями-уродами  
Над скалами-калеками.

Все менее и менее  
Надеясь на спасение,  
Ты стоишь: — Глахну, слепну я!

Молчи, великолепная!  
За вековыми свалками,  
За мусорными кучами,  
За листиками жалкими  
Над высокими сучьями

Быт жизнь все неустанный,  
Шальная, незастойная,  
Сливаясь в сочетание,  
Меня с тобой достойные.  
Верну тебе величие,  
И углубляюсь в чашу я,  
Кишащие, кипящие  
Непойманной добычей.  
Ни рыбы, и ни дичи я,  
И зверя зря не трогаю,  
Но дупла смотрят ульями,  
Где бредят звери пулями,  
А рыбыны — остроуго!

И лес все первобытнее,  
А недра непролазнее —  
Железное, графитное,  
Урановое, алмазное...

## На берегу

На берегу  
Я человека встретил,  
На берегу морском,  
На берегу, где ветер так и метил  
Глаза мои запорошить песком,  
На берегу, где хмурая собака  
Меня обнюхала, а с вышины,  
За мной следя, таращился из мрака  
Своими кратерами шар луны,  
И фонари торчали, как на страже,  
Передо мною тень мою гоня.

А человек не оглянулся даже,  
Как будто не заметил он меня.  
И я ему был очень благодарен,  
Востину была мне дорога  
Его рассеянность. Ведь я не барин,  
И он мне тоже вовсе не слуга.  
И нечего, тревожась и тревожа,  
Друг дружку шупать с ног до

головы,  
Хоть и диктует разум наш, что все же  
Еще полезна бдительность, увя!

## Богомазы

О крохотные бюстики великих,  
Ни на вершок не сдвинутые с места!  
Как благонравен коллективный

лих их,  
Из одного как будто слепа тест.

Как все они старательно учились,  
Своим родителям повиновались,  
Прилично, не криливо одевались —

Вот потому из них и получились  
Такие, чтобы ими любовались.

И в умиленьи от таких рассказов  
Под бюстиком сияет пьедестальчик.

О, как я ненавижу богомазов!

...И Маяковский был примерный  
мальчик!

## Омут

Над речкою Ворей  
Уселся на провод  
Общипанный ворон и каркает он:

— Тут  
Омут!  
В нем тонут!  
Он омут,  
В нем хобот  
От противогаса старинных времен.

Вот омут,  
В нем тонут,  
Нашли в нем ребенка.  
Хоть омут не очень большой глубины

И даже не омут,  
А просто воронка  
От бомбы, упавшей во время войны.

Вот  
Омут —  
Для взрослых опасен не очень,  
Но очень опасен для малых ребят.

Так  
Каркает ворон.  
Он в выводах точен.

Над маленьким омутом воды рябят.

## Осколки

Мало ли  
Чего я знаю,  
Да рассказывать не стану...  
Безгранична тьма ночная,  
В ней достаточно тумана  
И обманчивого блеска:  
Там, где, горд, пронесся спутник,  
Вдруг, глядишь, блеснет невеско  
Метеорчик-бесприютник.

Мало ли  
Чего я вижу  
Невооруженным глазом!  
С пустяками ненавижу  
К людям лезть, мутить им разум.  
Для чего б я всем и каждым  
Толковал о горькой доле  
Звезд падуших, что однажды  
Взорваны там были, что ли?

Мало ли  
Чего я чувю,  
Но о сгубленных планетах  
Множить толки не хочу я:  
Вот, мол, были да и нет их!

Люди заняты по горло.  
Им пора и отдохнуть бы,  
Так зачем в их мозг, как сверла,  
Ванничать чужие судьбы?

Вот  
Была планета, мчалась,  
Ну, и поминай, как звали:  
Может быть, сама распалась,  
А быть может, и взорвали,  
И донесся лишь осколок  
От разъявшегося тела...  
Пусть корпит над ним геолог.  
Ну, а вам какое дело?

Вы-то  
Ведь не захотите  
Рвать на клочья эту землю,  
В прах ее не превратите!  
Для того ли и затем ли  
Здравый смысл у нас во взорах?  
Так к чему и разговоры  
О каких-то метеорах?  
Метеоры, метеоры...

## Чары

Мне под гипнозом не бывать!

Когда б ты стала колдовать,  
Медведь пошел бы колесом,  
На удочку попал бы сом,  
Под дудочку плясал бы змей...

А я б тебе сказал:  
«Не смей!»

Допустим, что от колдовства  
Летела бы с дерев листва

И от такого колдовства  
Посеребрилась голова  
Не у меня, а у него...

А я б не чуял ничего  
И хохотал бы оттого,  
Что мне безвредно колдовство.

Любую нить могу я рвать.  
Не буду этого скрывать.

Я сам умею колдовать!





вопросы задают журналюшки Насментау-4, которые простые вопросы: что любишь, чем дорожишь, какой пример залусков? и отдают Попович на эти вопросы так же просто, как коротко, каково и как даны задания. Но какой минимой, какой чудесный человек! Насментау образ становится ярким, как в сказке. Кажется, что жюри конкурса здесь почти и нет: жюри насментау действует, жюри насментау эти вопросы, оставляя, как бы только записать их. А мынду там в этом журнале, продемонстрировав жюри, что журнал, который мастер-насментау.

«Интервью передать в таком виде, как есть, занимать больше страниц, чем большая книга В. Пескова «Шаги по росе» (изд-во «Молодая гвардия», М., 1983). Я остановился на нем потому, что надо было выбрать из этой на редкость многообразной, многожанровой, многоплановой книги, что того, на чем можно было бы продемонстрировать талант ее автора. Можно было бы выбрать и любой другой материал, в чем же этот талант? Мне кажется, прежде всего

Из всего, что написано на советских космо-  
наических сувенирах,  
можно составить са-  
мую полную картину  
теку. Лучшим среди них  
является книга и статья  
считая маленький ста-  
тьи, но все же, как ни  
было бы, что на канни-  
чен. Он был палачом  
«Комсомольской прав-  
ды», назывался «Интер-  
де», перла стартом и  
принимал перла Васи-  
лин Песова.  
Надо создать критиче-  
ское исследование, которое  
состоит из нескольких то-  
мов и исследований то-  
чечный, чем же он так  
подкупает. Всего восемь

[illegible]

Всеголов Ревич

ренный и смертной казни теми же, кто и заставил его «заниматься разбоем» и «бродяжничеством», и трижды чудом спасшийся от смерти, потерпевший в тюрьме свое

здоровье и затем изгнанный из родной страны и сгинувший без вести, после смерти, времени и места которой никто не знает, Байрон стал самым популярным поэтом Франции.

Сопереживания нашла поэт содержание, которое не соответствовало традициям и духу времени. Принимая его, лишь поэты-юношеры, они прощали его историческую ошибку и заставляли выслушивать и читать наизусть его остроумные, ласковые и блестящие каламбурные даже перед лицом смерти.



ность лучших стихов поэта, тем более очевидным становится местный реализм его калымбуров.

От жаңды умирав над  
ручьем,  
Смеюсь сквозь слезы и  
тужусь играя.  
Куда бы ни пошел, везде  
моет дом.

Чужбина мне — страна  
Моя родная.

[illegible]

В лучших стихах Вай-  
лонг на протяжении  
всего творчества  
отражена напряженность  
его мироощуще-  
ния, и это закономерно  
— через трагическое у  
Вайлонга выражается дух  
эпохи. И в этом  
и причина посто-  
янного интереса к насле-  
дию гениального фран-  
цузского поэта. Не слу-  
чайно Вайлонг был одним  
любимых поэтов Ма-  
яковского.

Недавно вышедшая книга Ф. Вайона (переводы Ф. Мендельсона и Н. Зренбург, предисловие Л. Пинского, Гослитиздат, М., 1963) — первое после революции отделение издание поэта на русском языке и почти полное собрание его стихотворений.

Владимир КИРЗОВ

Веры Пановой сразу же после войны стало достоянием современников, не подозревавших, что за плечами титанические двадцатипятилетний путь литературной работы...

Труд В. Горбачевского — хороший подарок всем любителям нини, всем поклонникам и поклонницам бобинотен. И, наконец, нини обогатил. И, наконец, нини обогатил. И, наконец, нини обогатил.

Ю. ОВСЯННИКОВ

**В** тяжелый, военный год издательство Веру попросило Панову написать брошюру о работе санитарного посла. Вернувшись после задания, она предложила: «Давайте я напишу вам книжку «Из устных рассказов», голоса говорящих, их живые интонации. Напечатать фото. Затем нужна брошюра?»

...Посылая журналу статью Панову в образцовый сборник № 312, Пермское отделение Союза писателей объяснило, что оно не располагало документально точного, методически полученного. Ожидания не оправдались. Произшла досадная ошибка в выборе корреспондента. Эта ошибка обогатила литературу «Спутниками» (1946). Имя

Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ

**XVII века стараниями «купеческого человека» московской Издательской компании Василия Кирпичева?** Подробно об истории этих библиотек и других крупнейших книгохрани-

Б. Горбачевский в своих очерках «Люди, книги, библиотеки» (изд-во Всесоюзной книжной палаты. М., 1963).

ЛЮДИ,  
КНИГИ,  
БИБЛИО-  
ТЕКИ

Б. Горбачевский знает «путешествие» в мир книг и библиотек Древнего Египта и Месопотамии и заканчивает его нашим близким будущим, когда благодаря достижениям науки и техники тысячи томов смогут храниться в одном из листов писемного стола.

С особой любовью рассказывает он о роли книги и библиотек в жизни Маркса, Ленина, Пушкина, Л. Толстого и Горького.

И чувствую, что солёно где-то здесь...  
Под тонкой талой, точно  
крош под кожей...

Предчувствие счастья, надежда, надежды окрашивают стихи сборника, и они светятся, как протянутая солнцу ладонь.

Матвеева  
Нюелла

Почувствует по-своему сказать о знакомом, и в ее стихах рождается мир неожиданных идей и жемчуг;

Листья под лаборами.  
На осинах пороны —  
Осени блюетители,  
Листьев заместители...

Но не чудакватый меле-  
тель предант «морали-  
зм» — наш молодой  
современник, защищающий  
жизнь, в которой  
место песни и поди-  
вности драматиче-  
ски дышит в книге сти-  
хов. То некто, то генио-  
совращение о великой цен-  
ности человеческого зем-  
ного бытия, над которым  
маленький XX века пы-  
тается занести меч всеоб-  
щей победности...

Раздумья о жизни, о природе, об искусстве, о глупости и своеобразии, о маленьком корабле и о мире в большой мир, и приставать для него — первые читатели.

Алла КИРееВА.

**З**наете ли вы, что первая известная учебная библиотечка существовала уже три с половиной тысячи лет назад?

Знаете ли вы, что пер-  
вая «Всенародная публич-  
ная библиотека» откры-  
лась в России в начале

«Коррида», Но-  
вельи Матвеев  
и ро-  
ман-эпопея. Он  
заключает «Советский  
писателя» в конце мину-  
ты, став второй  
среди авторов по числу  
изданных произве-  
дений. Были приме-  
нены еще несколько  
лет назад, когда «Коме-  
диант» был приме-  
нен Н. Матвеевой. Как  
и в романе, но  
«Коррида», по  
своему «Коррида»,  
написанному метром  
доброй и познать.  
И читатель, заключен  
в роман, и Матвеева,  
и роман, и Матвеева.

...дома без крыши  
словно куда-то шли,  
плыли,  
как будто были  
не дома, а корабли...

—туда, где, «как накра-  
данные» египетские па-  
пиры, стоят пингвины —  
как будто ружья развили: где,  
«как будто лютник от ка-  
вал», лодочка «отпа-  
ывает» от корабля.  
Потом же ведет нас в  
даль, где растет мачва

СРЕДИ КНИГ • СРЕДИ КНИГ • СРЕДИ КНИГ



С. ЕЗЕРСКИЙ.



## ВЕЧЕРНИХ КОСТРОВ

**С**амая лучшая пора в школьных походах — вечера...

Отшагав за день двадцать — двадцать пять километров, мы выбираем место для ночлега и разбиваем лагерь. Через несколько минут уже горит костер, и пламя его лежит бока прокопченных ведер. Суетятся дежурные, готовя ужин. Новое место, еще подчас вазада худшее, теперь полно жизни.

Когда все хлопоты заканчиваются, ребята, поужинав, собираются у костра. Но это уже не тот костер, на котором готовили ужин. Это костер особый. Для него ребята подыскивают сухостойные сосны или ели. Такие деревья сухи до того, что звенят под ударами топора, а брошенные в огонь, схватываются мгновенно и горят так жарко, словно огонь исходит из самого дерева. Пламя такого костра светлое, бездымное. Это костер для бесед, для разговоров. И ребята устраиваются вокруг него основательно, как люди, собравшиеся посидеть не час и не два.

Я очень люблю разговоры ребят у вечернего костра. Люблю за естественность, с какой они возникают, за непринужденность, с какой они ведутся, за прихотливость, с какой они развиваются, за неожиданные отступления и повороты. Но, конечно, прежде и больше всего я люблю их за открытость, доверительность и искренность.

Отблески пламени, ярко вспыхивающего, когда в костер подбрасывают сухую плаху, высвечивают из темноты то одно, то другое лицо, каждое из которых я давно знаю, но сейчас как будто вижу заново — так неожиданно незнакомо выглядят они в трепетном свете костра, преображенные то азартном споре, то поэтической искренностью беседы.

Во время этих разговоров мое место среди ребят. И слева и справа, касаясь моего плеча, ребячьи плечи. Но я только слушатель и редко-редко судья. О, на это счет не существует никаких условий, а уж тем более ограничений или запретов. Просто так повелось. Но я и сам не хочу большего. Зачем? Я не вижу ничего обидного в том, что ребята как будто забывают о моем присутствии, не замечают его. Я воспринимаю это как доверие. И дорожу им, потому что оно дает мне счастливую возможность слушать их разговоры у вечернего костра.

1

**Н**е знаю почему, но в походе ребята обычно избегают разговоров о школьных делах. Они не любят даже упоминаний об уроках, учителях, отметках. Поэтому я удивился, когда Юра вдруг заговорил о двойке за сочинение. Видимо, история этой двойки известна ребятам, потому что они понимающе и сочувственно улыбаются.

— Так тебе и надо, — беззлобно говорит Игорь. — Не лезь критиковать Горького!

Юра не обижается.

— Разве я возражаю против двойки? Пусть двойка! Дело не в отметке. Но Варвара Аполлоновна сказала, что я ингилист, что я отрицаю героическую сущность образа Данко. Какой же я ингилист? Я просто взял другую сторону вопроса. Имею я такое право, скажи?

Юра смотрит на Игоря с надеждой встретить поддержку. Но, кажется, Игорь не склонен к этому. Непосредственность Юры вызывает у него явно скептическую улыбку.

— Я согласен, что Данко — герой, — торопится пойти на уступку Юра. — Но народ!.. Люди идут за Данко слепо, как овцы за пастухом. А когда встречаются трудности, сразу выпадают в панку, трусливо кричат: «Нас обманули! Как нам быть!..» Это неправильно. Так не бывает, чтобы все растерялись. А как ведет себя Данко? Говорит он с народом, объясняет, в чем дело, почему так получилось? Нет! Он вырывает из груди свое сердце, чтобы осветить путь. Это героично, я не отрицаю. Но я уверен, что, поговори он с людьми, дахин в них мужество, и они нашли бы выход. Непременно нашли!..

И снова, надеясь на поддержку, Юра спрашивает: — Ты не согласишься?

Игорь отвечает уклончиво:

— Я думаю, что Горький был не глупее тебя.

Юра не обижается и теперь. Он вообще добродушен, а сейчас так заинтересован в существе спора, что просто не замечает насмешки.

— Да разве я спорю с Горьким? Я Горького уважаю. Но мог ведь и Горький ошибаться? Мог!

Все с той же обидной сплоскательностью Игорь пско говорит:

— Я думаю, что ошибаешься ты, а не Горький. Горький в образе Данко воспевает героическую личность, а ты своими рассуждениями о народе уничтожаешь самую основу героизма.

— Почему? — искренне удивляется Юра. — Я же не отрицаю героизма. Конечно, Данко — герой! Но понимаешь, что-то мне не нравится в нем. Как будто он вырвал сердце не ради любви к людям, а только ради самого подвига. По-моему, когда человек совершает подвиг, он об этом совсем не думает, даже не понимает, что это подвиг. Просто он делает то, что ему подсказывает совесть, велит долг... Мне кажется, что вообще подвиги могут совершать и самые обыкновенные люди...

— Вот видишь... Для тебя подвиг — только исполнение долга. По-моему, каждый способен на подвиг. Но кто же тогда герой?

— Но разве совершать подвиги — это привилегия только героев? Разве есть такая специальность — герой?

Последние слова Юры вызывают у ребят одобрительные улыбки. Юрина искренность подкупает их. И вообще их симпатии явно на стороне Юры. Может быть, тут естественное ученическое сочувствие «пострадавшему», может быть, и смутное согласие с Юриными доводами, а может быть, и некоторая пристрастность: Юру любят, а к Игорю относятся настороженно.

Игорь чувствует настроение ребят. Это его больно задает. Сдерживая раздражение, тоном учителя, вынужденного объяснять очевидное не очень способному ученику, он говорит:

— Хорошо. Возьму другой пример. Ты признаешь, что Александр Матросов — герой?

— Конечно, — соглашается Юра.

— А почему ты считаешь его героем?

— Ну, это понятно. Матросов закрыл собственной грудью амбразуру вражеского дота.

— А ведь он, по существу, сделал то же, что и Данко: пожертвовал собой, чтобы открыть путь товарищам.

Логика Игоря в первую минуту сбивает Юру с толку. Он не сразу находит возражение.

— Подожди. Вот ты говоришь, что Матросов, как Данко, пожертвовал собой. Это правда. Но ведь ты происходишь в бою. Понимаешь, в бою. И может быть, Матросов просто первым из солдат сделал то, что готовы были сделать и другие...

— Ну нет, — решительно возражает Игорь. — Он не первый, а единственный, кто бросился на дот. В этом все и дело!

— Но ведь если он был единственным, то что же тогда получается? Ведь это даже страшно сказать... Это значит, что все его товарищи были трусами?

— Этого я не говорю. Важен самый факт, а факт тот, что закрыл амбразуру именно Матросов. Поэтому он герой. Герои потому и герои, что совершают то, на что не способны обычные люди.

На лице Игоря удовлетворенная улыбка. У него вид человека, нанесшего последний, неотвратимый удар противнику.

Судя по растерянности Юры, он, кажется, действительно страшен.

Володя, обрадовавшись паузе, миролюбиво говорит:

— И охота вам спорить! В будущей войне, по-моему, такие ситуации вообще будут невозможны. Ша-раханут по доту ракетой — и дело с концом.

— Будущей войны не будет, — авторитетно заявляет Толя.

— Ну, это еще как сказать, — сомневается Володя. — А тебе как будто хочется воевать?

— Дурак! — беззлобно отвергает это подозрение Володя. — Кому же хочется войны? — Но тут же невозможно изнывающим голосом Володя добавляет: — Конечно, если бы без атомной бомбы... Как в Испании в 1936 году... Скажем, если бы американцы напали на Кубу, я бы пошел добровольцем. А что? Железно! Никто не покажет, конечно, что войны не будет. А все-таки, когда читаешь про гражданскую войну или Отечественную, обидно, что все это произошло без нас.

— Для подвиги всегда есть место в жизни, — наставительно говорит Игорь.

— Знаю, писал сочинение, — отчужденно отвечает Володя и, явно бравируя, добавляет: — Получил тройку.

— Да что вы сегодня все об отметках? — ворчит Толя. — Неужели нет тем интересней? Ребята, а говорят, Вадим ушел на завод...

Новость, сообщенная Толей, вызывает общий интерес. Вадима знают все. Он бывший секретарь комсомольской организации. Ребят, конечно, удивляет не самый факт ухода на завод — тут ничего особенного для них нет. Все дело в том, что Вадим окончил школу с золотой медалью, и никто не сомневался, что он пойдет в институт.

— Зря, — с явным сожалением говорит Володя. — На завод никогда не поздно. Уж попробовал бы сначала свои силы...

— А ты думаешь, он конкурса испугался?

— А тогда почему же? — невольно спрашивает Володя.

— Просто считает, что его место на заводе.

— Ну да, такой способный... — все еще сомневается Володя.

— А что же, на завод, по-моему, только неспособные идут?

— Я не говорю. Но все-таки...

Судя по лицам ребят, сомнения Володи не чужды и им. А может быть, они просто хотят понять внутренних смысл поступка Вадима, а что он, этот смысл, есть, все чувствуют.

— Чужак он все-таки, — не то осуждая, не то недоумевая, говорит Игорь. — Имел все шансы поступить в университет...

— А я понимаю Вадима, — с неожиданной запальчивостью вступает в разговор Юра. И добавляет с явным вызовом: — Молодец!

Не требуется объяснений, кому его вызов направлен. Игорь немедленно откланивается:

— И что же тут ты видишь молодецкого?

— А то, что Вадим не изворачивается, не хитрит. Бывает ведь так: не удалось в вуз, ну, тогда идут на завод.

— А это, по-моему, плохо!

— Не плохо, а нечестно.

— Что же, инженеры менее полезны, чем рабочие?

— Все не могут быть инженерами...

— Ну вот те, которые не могут, и идут на завод.

— По-моему, рабочие — это неудавшиеся инженеры! Так, что ли? Чепуха! Настоящий рабочий — это совсем другое. Вадим пошел на завод не потому, что не мог стать инженером. Мне кажется, Вадим просто хочет стать рабочим.

— Мне это непонятно: как это так — просто рабочим?

— Ну, а мне понятно... Может быть, и я пойду на завод...

— Это, конечно, твое дело. Но это не объяснение. Каждому человеку в нашей стране открыты все пути.

И глупо не пользоваться этим. В конце концов не зря говорится, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом!..

Юра морщится, слышая слова Игоря.

— Глупая поговорка!

— Не я ее выдумал. Поговорки, как известно, складывает народ.

— Эту поговорку сложил не народ, а выдумали генералы.

— Ну, знаешь, ты сегодня делаешь открытие за открытием.

— А какое тут открытие! Поговорка глупая, это каждый скажет, если подумает. Не всякий солдат может стать генералом, — говорит Юра. — Да это и не нужно, — добавляет он.

— Но армия не может существовать без генералов!

— Но не бывает армии и без солдат.

— Но у солдат должна быть цель...

— Цель солдата не в том, чтобы стать генералом, а в том, чтобы победить врага.

— Но это цель общая. А должна быть еще и своя, личная.

— Так ты считаешь, что личная цель солдата — стать генералом?

— Да.

— Да? И тот солдат, который не стремится стать генералом, плохой солдат?

— Да.

Юра смотрит на Игоря. Кажется, что он не верит серьезности Игоря. Не хочет верить...

— Ты помнишь Тушина?

— Из «Войны и мира»? Конечно...

— Скажи, можешь ты представить себе Тушина, который стремился бы стать генералом? Можешь?

Юра смотрит на Игоря, секунду ждет и отвечает за него:

— Не можешь. И я не могу. И никто не может. Потому что это невозможно.

Игорь осторожно вставляет:

— Геронзма Тушина никто и не отрицает.

Юра с огорчением говорит:

— Вот и Варвара Аполлоновна все толковала о героизме Тушина... А дело не в одном героизме. Дело в другом. Тушин — капитан, но великий солдат. Понимаешь, великий!.. Солдат, исполнивший свой долг, не ниже генерала. И не только солдат, а вообще каждый человек, какое бы он маленькое дело ни делал... И ведь не зря, наверно, каждый боевой генерал сам себя именует солдатом!

Игорь не сдается:

— Что бы ты ни говорил, а без генералов армии не побеждают. Наполеон сказал, что лучше стадо баранов под командой льва, чем стадо львов под командой барана.

Юра пристально смотрит на Игоря. Так удивленно, как будто видит его в первый раз. Во взгляде его последовательно сменяются возмущение, гнев, недоумение.

Потом, со вздохом сожаления, как человек, вынужденный сделать такое заключение, он спокойно, без тени запальчивости говорит:

— А ведь ты, Игорь, глупый человек!

И, считая разговор законченным, Юра поднимается, берет снежную плху и подкладывает ее в костер. Сухое дерево схватывается сразу.

Светлые огненные языки поднимаются вверх, и, так как Юра и Игорь стоят по разные стороны костра, пламя разделяет их своими трепещущими, обжигающими языками.



Рисунок М. Галгалюка.

## 2

**В** тот вечер в лагере остались одни девочки. Мальчики ушли за продуктами, и мы ждали их только к ночи.

Сначала девочки даже обрадовались своему одиночеству. Они вышли на берег озера и на узкой прибрежной полосе, где песок был укатан волнами, танцевали, водили хороводы, бежали взапуски. Но вскоре веселье стало гаснуть. Никто из девочек, конечно, не признался бы, что в их веселье чувствовалось что-то подчеркнутое, нарочитое, словно они убеждали себя, что без мальчиков им сподобней и лучше.

Когда стемнело, девочки перешли к костру. Услышав, завели песню. Пели девочки всегда хорошо, дружно. Но в этот вечер особенно проникновенно. Не знаю, обдуманно ли, но почему-то выбирали песни лирические, грустные, от которых становилось тревожно и неспокойно на сердце. А потом как-то сразу оборвали песню, умолкли. И сидели молча.

Лена, не выдержав гнетущей тишины, предложила:

— Девочки, давайте поговорим!

Никто не отозвался. Видимо, никому не хотелось нарушать покоя, расставаться с неясными, смутными мыслями, которые навеяны песнями.

— Поговорим, девочки, — не отступала Лена. — Ну что же сидеть так, молча?

— О чем говорить-то? — лениво отозвался кто-то.

— Поговорим о странностях любви... — сказала Люда.



— Давайте о любви,— согласилась Лена.

— В самом деле,— оживилась Наташа.— Давайте поговорим о любви!

Люда бросила насмешливый взгляд на Наташину сторону.

— Ты-то что знаешь о любви?

Наташа вспыхнула от обиды.

Люда старше Наташи. Правда, разница не так велика — всего полгода. Но Люда считает себя взрослой и на Наташу глядит свысока. Первою в классе Люда остригла косы, носит прическу. Люда красива, и она знает это. Подруги называют ее Кармен. И действительно, она чем-то напоминает Кармен, какую девочки представляют ее себе по оперному спектаклю.

Наташа, удержав готовые пролиться слезы, говорит:

— Не маленькая, слава богу, и о любви знаю не меньше тебя.

И, словно подтверждая свою взрослость, Наташа придает своему еще по-детски пухлому и румянному личику, выражение, долженствующее убедить всех в ее опытности и искушенности в вопросах любви. Это выглядит так забавно, что девочки смеются.

— Смешно, но когда речь заходит о любви, я чувствую себя совсем беспомощной,— сказала Лена.— Что я знаю о любви? Что Татьяна Ларина любила Евгения Онегина...

— Почему это так, девочки? Вот когда мы проходили Пушкина, Лермонтова, мы много говорили о

любви, а как перешли к советской литературе — о любви ни слова,— говорит Наташа.

— Битвы революции посерьезнее «Полтавы», а любовь погранично-нее онегинской любви,— полушутливо замечает Люда.

— Я это понимаю,— соглашается Лена.— Но вот я тоже часто думаю, почему в жизни героев советской литературы любовь занимает так мало места. Взять хоть Давыдова...

— Успокойся,— говорит Люда,— по второй части «Поднятой целины» Давыдов влюбляется в Варю.

— Не Давыдов влюбляется в Варю, а Варя в Давыдова. Давыдов даже не замечает ее любви, пока Варя сама не признается ему,— с явным удовольствием поправляет Люду Наташа.

Люда вспыхивает:

— Ну и что это меняет?

— Меняет или не меняет, это — дело другое. Но в книге так.

Леничка предупреждает готовую вспыхнуть ссору:

— Я очень уважаю Павла Корчагина и Семена Давыдова. Для них главное в жизни — борьба, работа. Но, по-моему, человек не может быть счастливым без любви.

Девочки, видимо, согласны с Леной. Но несколько абстрактный характер разговора неожиданно нарушает Таня, задав вопрос:

— Девочки, а за что любят?

Вопрос кажется настолько простым, даже наивным, что девочки снисходительно смотрят на Таню. И та торопится оправдаться:

— Конечно, я понимаю, что такое любовь. Я это себе ясно представляю. Мне только непонятно: за что любят? Почему человек вдруг полюбил одну, а не другую? Почему именно ее? Что надо, чтобы тебя полюбили?

— Любят за красоту! — решительно говорит Люда. Наташа возражает:

— За красоту только влюбляются.

— А почему тогда все героини в книгах, в кино — красавицы? Татьяна Ларина, Анна Каренина, Симона Синьоре...

— Пьер Безухов влюбился в Элен, а потом разлюбил ее, даже возненавидел...

— Так ведь у Элен была животная красота. Об этом и Толстой писал.

— А как тогда книжка Мария? Она ведь была совсем некрасивая, а Николай Ростов все-таки полюбил ее.

— Так ведь у квяжны Марьи какие были красивые глаза! Забыла?

Леничка миролюбиво говорит:

— Я согласна, что красота играет большую роль в любви. Но, по-моему, дело не в одной красоте. Для того, чтобы полюбить человека, этого мало. Нужно еще что-то другое.

— Ну, а что? Что другое?

— В том-то и дело, что я не могу определить этого точно. Может быть, ум, душа, характер... Но какое-то основание должно быть, иначе это несправедливо.

— Какое же может быть основание в любви? Сердцу не прикажешь!

— Что же, любовь — совсем стихийное чувство? Полюбли — и все! Так, что ли?

— А по-твоemu, любовь — это расчет: в одну сторону плюсы, в другую минусы, сюда достоинства, туда недостатки?

— Ну, может быть, и не так. Я не спорю. Но ведь и не совсем уж безотчетно и бездумно. Ведь это же очень обидно — думать, что полюбишь тебя или не полюбишь, это зависит только от того, какие у тебя черты лица или какого цвета глаза. Это даже оскорбительно. Мне лично такая любовь не нужна.

— Ну и останешься старой девой.

— Пусты! Но уж если меня кто-нибудь полюбит, так не за цвет глаз.

Лицо Леночки сурово и строго, оно выражает такую непреклонность, словно речь идет о решении, которое ей надо принять сейчас, немедленно.

Таня, упорно думая о своем, говорит:

— Почему это принято считать, что говорить о любви нехорошо, стыдно? Варвара Аполлоновна даже сказала, что мечтать о любви — это мешанство и недостойно советской девушки. А я часто мечтаю о любви... Мне очень хотелось бы, чтобы меня полюбили.

Таня сидит, поджав ноги к подбородку, охватив их руками. Голова ее лежит на коленях. Глаза устремлены в костер. Пламя освещает ее худенькую фигурку, еще по-девически угловатую и неопределенную. Немытые Танины волосы заплетены в две тугие косички, стянутые белыми бантиками, и, как рожки, смешно торчат над ушами. В лице Тани нет ничего особенного. Черты его просты и обыкновенны. Но в эту минуту они выражают такое глубокое внутреннее одаушение, что кажутся необычайно привлекающими.

— Вот мы часто говорим о будущем. Даже сочинение писал, как я представляю себе свое счастье... Я очень уважаю девочек, которые хотят стать учеными, или врачами, или инженерами. Но сама я почему-то не думаю, кем стану. Мне это, конечно, не все равно. Но это для меня не главное.

— Как ты можешь так говорить? — вступает Наташа. — Для человека самое главное — профессия, специальность.

Таня улыбается:

— Разве я говорю, что отказываюсь от работы? Я не представляю себе свою жизнь без труда. Может быть, я тоже стану врачом. А иногда мне кажется, что мне все равно, что делать. Я могла бы быть поваром, портнихой, няней в детском саду. Ведь это тоже нужно. Но когда я думаю о счастье, я думаю о любви.

— Как это удивительно! — говорит Леночка. — Вот живет человек, живет. Делает свое дело. И вдруг его постигает любовь... И никто не может предугадать, когда это случится.

— Наверно, это очень страшно, когда полюбишь, — говорит Наташа.

— Мне страшно только одно: вдруг я полюблю, а он меня не полюбит, — говорит Люда.

— А я боюсь другого: вдруг тот, кого я полюблю, окажется не таким.

Девочки теперь не спорят. И хотя они одни, почему-то теперь говорят тише, порой даже переходят на шепот.

— А я я боюсь любви, — говорит Таня. — Когда я полюблю, мне ничего не будет страшно. Иногда я представляю себе: вот он подойдет ко мне, положит руки на плечи, посмотрит в глаза и скажет:

«Пойдем, Таня! Я встану и пойду. Не стану колебаться, не буду раздумывать. Пойду, куда поведет... в тайгу, в пустыню, в горы... Хотя бы край света. Какая резница! Лишь бы вместе, только бы рядом...

Таня смеется. Молчат и девочки. Костер прогорел. В нем уже не вспыхивают веселые огоньки, а только багрово светятся угли. Темнота сгущается, и лица девочек становятся неразличимыми.

Где-то вдалеке слышится шум. Он приближается, становится явственней. Вот уже можно различить голоса.

— Малышники возвращаются, — говорит Люда.

### 3

Обычно ребята никогда не улаивались заранее о теме своей вечерней беседы у костра. Тема определялась сама собой, ее никто не мог предугадать. Но в этот вечер было по-другому. И скорее всего потому, что костер был прощальным: утром мы возвращались в город, заканчивая наш поход. От неизбежности расставания рождалась грусть. Все пережитое за это время сблизило ребят. И походная жизнь теперь, когда осталось позади столько трудного, но волнующего, памятного, казалась, особенно приятной: всем было жалько, что она кончается. И, словно подчеркивая эту торжественность, Андрей предложил: пусть каждый расскажет о своем самом большом, сокровенном, заветном желании. Все согласился. Условились, что говорить будут искренне и откровенно. Всю правду.

Но Сева запротестовал:

— Нештительно. Что это за такие заветные желания? Зачем ими делиться? Что это даст?

Андрей предложил поставить вопрос на голосование и как решит большинство, так и поступит.

— Мы не на собрании, где большинство должно подчиняться большинству, — возразил Сева. — Разговор — дело добровольное. И тут никакого насилья быть не должно.

— Хорошо, — сказала тогда Галя. — Голосовать не будем. Уговоримся так: кто хочет принять участие — пожалуйста. Кто не хочет — пусть просто слушает. Это устраивало всех. Договорились, что начнет тот, на кого выпадет счет, а потом будут говорить по кругу, по часовой стрелке.

Первой говорить выпало Ирине. Она встала и громко, отчетливо, как на уроке, сказала:

— Мое заветное желание — поступить в институт!

Андрей недовольно поморщился:

— Какое же это заветное желание? Поступить в институт — простое дело.

— Да? — возмущенно сказала Ирина. — А конкурс? Ты забыла про конкурс?

— А что такое конкурс? Подготовившись получишь — и счастье!

Ребята зашумели: им не понравилось, что Андрей дает оценки желаниям. Было решено, что каждый говорит, как понимает. И никакой критики с чей бы то ни было стороны не должно быть.

Андрей нехотя подчинился.

Следующая очередь была Валерки. Никто не удивился, когда он сказал:

— Хочу стать инженером-конструктором.

Всем было известно, что Валерка интересуется техникой, читает научную литературу.

Тоня призналась, что ее заветное желание — стать певицей. Это всех поразило. Только девочки знали, что Тоня учится петь.

Скромнейшая и тихишшая Нилочка сказала, что ее мечта — поехать на Кубу. Призналась она в этом

так робко и смущенно, что Андрей опять не удержался от замечания:

— И чего ты смущаешься? Ты говоришь об этом так, словно это какая-то недостижимая мечта. На Кубу сейчас посылают сотни людей. Это очень просто.

Ирина обиженно сказала:

— Послушайшь тебя, так все просто. Хочешь в институт — пожалуйста! Хочешь на Кубу — пожалуйста! Тебе скажи: «Хочу полететь на Луну», — ты и тут скажешь: «Пожалуйста! Что тут особенного?» Андрей улыбнулся.

— А что? Разве это не так?

— Но если все желания исполними, то какое желание ты считаешь заветным?

— Заветное желание — это совсем другое. Заветное желание — это вовсе не то, что тебе больше всего хочется.

— Непонятно! Почему одно желание — просто желание, а другое — заветное?

— Но ведь это не просто, — сказал Андрей. — Почему я не считаю, что поступать в вуз — это заветное желание? Потому что само по себе оно еще ничего не значит.

— От специальности зависит будущее человека, — возразила Ирина.

— Будущее человека определяется не его специальностью. От специальности зависит только, что человек будет делать.

— Не спорить! — снова запротестовали ребята.

Сергея сказал, что никаких особенных желаний у него нет. Есть, конечно, желания, но не такие, чтобы о них стоило говорить.

Витя сказал, что его самое большое желание — выиграть по лотерейному билету мотоцикл. Когда все засмеялись, он стал горячо доказывать:

— Вот вы смеетесь!. А если бы у меня был мотоцикл, я бы всю страну объехал. Разве это не интересно?

Гая сказала, что ее заветное желание — стать капитаном дальнего плавания.

— Девушек в мореходные училища не принимают, — дал справку Сева.

— Вообще женщины капитанами не бывают, — сказал Витя.

Но Галю это не смутило. Она спокойно обвела всех взглядом своих синих глаз и сказала:

— А женщины-космонавты бывают? Бывают и женщины-капитаны.

Об этом бы еще спорили, но девочки взяли Галю под свою защиту, напоминая про уговор.

Подожла очередь Севы.

— Ты будешь говорить? — спросил Андрей.

Сева сказал, что ему смешна эта игра.

— Это не игра! — возмутился Андрей.

Сева, снова уклоняясь от ответа Андрею, сказал:

— А я говорю, игра. Ну какое значение имеют наши желания? Мне просто смешно это слушать. Все зависит от жизни. В детстве все хотят стать учеными, путешественниками, писателями, артистами. А потом становятся кем придется.

— Неправда! — запротестовала Гая. — Каждый человек имеет возможность стать кем хочет.

— Неужели ты всерьез веришь, что станешь капитаном?

— Верю, — твердо сказала Гая.

Но это не смутило Севу. Он сказал, что ребята рассуждают так только потому, что не знают жизни.

— А ты знаешь жизнь? Знаешь? — спросила Ирина.

— Почему ты нас пугаешь жизнью?

— Потому что я смотрю более трезво, чем вы.

Поднялся шум. Большинство ребят явно не соглашалось с Севой.

— Но у тебя-то есть заветное желание?

— У меня нет заветного желания. У меня есть планы, а не желания.

— Планы? — удивленно переспросил Андрей. — Я этого не понимаю.

— Ну, а я не понимаю, что такое желания, а уж тем более, что такое заветные желания.

— Но ведь это понятно. У каждого человека много желаний. Но, понимаешь, есть такие желания, которые, когда их удовлетворишь, пропадают. Они кончаются, исчерпываются. А заветное желание — оно одно. Оно не исчезает. Оно живет постоянно.

— Слова, слова, слова! Ты лучше сам расскажи свое заветное желание. Если это не секрет, конечно.

— Я могу сказать. Какой это секрет? Но разве дело именно в моем желании? Я ведь говорю о заветном желании вообще...

— Вообще говорить легко.

— Хорошо. Я хочу стать геологом, — ответил Андрей. — Это всем известно. Но это желание я не считаю заветным. Почему? Потому что оно целиком зависит от меня. Я геологом буду. Это факт. Что мне может помешать? Не пройду по конкурсу? Буду поступать во второй раз. Не пройду опять — буду поступать в третий раз. Что тут невозможного? Нет, хоть я и хочу стать геологом, но не это мое заветное желание. Мое заветное желание — сделать что-то особенное, большое, быть там, где очень трудно!

Андрей встал. Пламя костра, раздуваемого ветром, то освещает его лицо так ярко, что видны даже веснушки на носу и на щеках, то отклоняется, и тогда лицо Андрея скрывается в темноте и голос его звучит как будто издали. Штурмовка, накинута на плечи, придает ему мужественный вид. Всегда не то что застенчивый или робкий, а скорее сдержанный и деликатный, он сейчас говорит необычно горячо и откровенно:

— Вот я иногда представляю себе... Я геолог. Меня посылают в экспедицию. В самое трудное место. В тайгу. Или в горы... Словом, туда, куда не ступала нога человеческая. Работать там очень трудно, даже опасно. Бывает так, что всякая связь обрывается. Продукты на исходе. Но мы не сдаемся. Мы продолжаем поиски. Мы упорно ходим в маршруты. И вот...

— И вот вы открываете богатейшее месторождение...

Еще увлеченный рассказом, Андрей скорее удивленно, чем обеспокоенно, говорит:

— Ну да, находим. Откуда ты знаешь? Я разве уже сказал? Или ты догадался?

Сева торжествующе улыбается:

— А я все это видел в кино!

Андрей все еще не понимает, почему у Севы такой торжествующий вид.

— Но я такого в кино не видел.

Сева безжалостно добивает его:

— То, о чем ты рассказываешь, ты можешь прочитать в любом романе о геологах...

Только сейчас Андрей осознает, что произошло. Его лицо искажается гримасой боли. Он круто поворачивается и, не разбирая дороги, бежит в лес.

Гая аскаивает с места. Она окликает Севу гневным и презрительным взглядом. С губ ее готово сорваться злое, резкое слово.

— А что я такое сказал? Я ничего такого не говорил... — оправдывается Сева.

Но Гая не слушает его. Она бежит за Андреем. Темнота скрывает ее. Слышно, как хрустит под ее ногами хворост. И долго доносится ее зов:

— Андрей! Андрей!





# ВЛАДИ

## ОТ БОЛЬШИХ ДОРОГ

Рисунки В. Грибова.

**В** прошлогодишнюю страдную пору я выезжал по заданию редакции в один из отдаленных районов Кубани, в его тихие станицы и хутора. С рассвета до вечерних сумерек колеса по колхозным полям и животноводческим фермам, встречался и подружился с работающими там людьми. Как известно, кубанцы в 1963 году вырастили богатый урожай, организованно убрали его и с большим превышением своих обязательств продали государству 200 с лишним миллионов пудов хлеба.

Мне хочется рассказать читателям «Юности» хоть немногое из того, что я увидел в своих поездках и узнал о замечательных людях Кубани.

### ПОДРУГИ

**-Б**удете в третьей бригаде, — сказала мне Вера, «хозяинка» Дома крестьянина в станице Фарской, — обязательно загляните к нашим девочкам. Звено Тони Молчанкиной. Загляните? И вот, справив свои дела в третьей полеводческой бригаде колхоза имени Ленина, я вспомнил просьбу Веры и спросил у бригадира, как пройти в девичье звено Тони Молчанкиной.

— Оно у нас на отшибе. На опытном участке гибридной кукурузы. — Бригадир помолчал немного и, точно оправдываясь, продолжал: — Машин там не даем: невыгодно в такую даль на маленький участок... Комплексной механизации там не увидите. А так девочки стараются...

Я понял, почему «их все обходят».

Часа через полтора бригадирская двуколка «под-

бросила» меня на отдаленный опытный участок, и я встретился с «девчонками».

— Все наши девочки работают одинаково, и я не могу сказать, кто из них лучше, кто хуже, — сказала мне звеньевая, худощавая девушка в простеньком сером пиджачке. — У нас нет плохих. Все трудятся — во!

По-мальчишески Тоня подняла кверху большой палец свое: руки, огрубевшие от солнца, степного ветра и работы, и улыбнулась.

Их было шестеро. Самой старшей немногим больше двадцати. Поначалу подруги горячо взялись за новое для них дело — выращивать гибридную кукурузу. Наиболее быстрой в работе оказалась самая юная и маленькая из них — Лида Харланова. Бывало, не разогнет спины и не сбавит темпа, пока не сделает всего. Лишь потом медленно выпрямится, смхнет рукавом зеленой спортивной куртки пот с лица и, звонко похохатывая, пожалуется:

— Ой, девочки, спина колом... не разгибается. Не моя, да и только. Наверно, подменили. И как это я не заметила? Ха-ха-ха...

Самой медлительной была Валя Сивякина. Высокая, степенная, молчаливая, она, в полную противоположность Харлановой, делала все неторопливо, точно боясь повредить свои длинные недовские руки. Она отставала от подруг не только в работе, но и в еде и во всякого рода сборах. Ее всегда приходилось ждать. Это порою раздражало подруг. Сивякину недолюбливали, особенно неистовая в делах и языкая Лида Харланова.

— Ха, наша пава, как всегда, в хвосте. Смотрите, едва шевелит руками. Как рак злешей.

Сивякина, присев на корточки, невозмутимо выдергивала в гнездах лишние слабые ростки кукурузы,

точно слова Харлановой относились не к ней. Лишь иногда на внешне спокойном лице ее медленно разгорался румянец.

— Да ты проснись и пожмее дынкой клешнями, — не унималась маленькая насмешница.

— Не бойся, тебя в помощники не позову. Свое сама сделала, — отвечала Синякина, продолжая все так же выдергивать лишние растения из гряд.

— Ха, в помощники не позовет! А я так и побегу. Она будет спать на работе, а я... Как бы не так!

— Лидя! — кричала звеньевая. — Перестань. И язык же у тебя!

Позже, когда кукуруза пошла в рост и настала важная пора ухода за ней, звеньевая сказала как-то за обедом:

— Девочки, давайте разобьем участок на шесть паек и закрепим их за каждой. А чтобы контроль был, пусть соседка у соседки принимает работу.

— Правильно! Давайте! Это будет очень хорошо, — первой громко закричала Лидя Харланова. Она скосила озорные глаза на Синякину. — Тогда уж посоревнуемся! Тогда увидим, кто как работает!

После обеда звено с помощью деревянных колышков разбило на равные пайки участок, окруженный низкорослым дубовым лесом. Метнула жребий.

— Чур, первая! — сказала Харланова, бросаясь к звеньевой, которая уже потягивала мешочком с нозмерками. Лидя долго выбирала самый счастливый и, вынув скрученную в трубку бумажку, внимательно подбежала в сторону и осторожно, чтобы никто не подсмотрел, развернула ее. Вдруг улыбка потянула на ее лице, и голосом, полным досады, она сообщила:

— Первый... Крайняя... Самая сорная пайка... Вот не повезло!

Когда выяснилось, что вторая пайка досталась Синякиной и она с Харлановой — напарницы, девушки прислули со смеху, а Харланова расстроилась совершенно.

— Ха, мало, что пайка крайняя, еще и пава в придачу. Несчастная!.. Девочки, может, поменяемся с кем?

Меняться никто не захотел.

— Ну ладно, — сверкнула глазами Харланова. — Что-то, а уж наве спуску не будет.

С тех пор неприязнь Лиды к флегматичной и молчаливой напарнице достигла наибольшей остроты. Звеньевая и остальные девушки видели, в каком столкновении пришли два этих характера. Но, так же недолюбливая Синякину, подруги не одергивали Харланову. А Валя безропотно списала все грубости Лиды, точно они ее не касались или были ей непонятны. И, что особенно бесило всех, Валя оставалась спокойной. Трудно сказать, как далеко зашла бы в своем недружелюбии неутомимая Харланова и где таилась предел терпению Синякиной, не случись...

Однако расказу все по порядку. После серии летних дождей на участке молодежного звена вновь появились сорняки. И хотя к тому времени кукуруза поднималась и стояла трехметровой зеленой стеной, девушки решили прополоть ее, чтобы ни одной капле влаги, ни одного миллиграмма питательных веществ не досталось сорным травам. Еще на рассвете по дороге к участку они заметили, что их любимца Лидя Харланова невесела и против обыкновения говорит мало. На участке, когда каждая из девушек побежала к своей пайке, она с грустью говорила о чем-то с Молчанкиной.

— И, как назло, у меня сильнее всех заросла, — с горечью сказала она, подойдя наконец к своей пайке. Бранясь себе под нос, она принялась с ожесточением выдергивать сорную траву.

В этот день Харланова спешила больше обычного. В поддев, обматываясь потом, она позвала напарницу принять работу. Синякина, как всегда, медленно перешла на ее пайку и внимательно осмотрела кукурузу. Она увидела, что Лидя сорвала лишь высокую траву, оставив низкорослую нетронутой, и что сорная трава валялась там, где росла.

— Лидя, — позвала Синякина, выходя из кукурузного «леса».

Харланова уже умылась и приводила в порядок свою когда-то зеленую спортивную куртку.

— Что тебе?

— Твоя пайка сорная. И траву не убрала. Пройдись еще.

Харланова с презрением взглянула на напарницу; скуластое лицо ее стало бледным.

— «Пройдись еще!» — передразнила она Синяки-





пу.— Нашла три травинки — велика беда! Тоже мне инструктор. Ха, не тебе учить! Иди вон к себе, ковырайся, а то и к полуночи не закончишь. Понятно?

Она резко повернулась и ушла в направлении станицы. Синякина долго смотрела ей вслед, потом недоуменно покачала плечами и скрылась в зашелевшей лиственной кукурузе.

Через час к пайке Синякиной пришли девушки: закончив прополку, они собрались домой.

— Валя! — с раздражением в голосе позвала звеньевая.

Синякина медленно выплыла из кукурузных дебрей.

— Мы домой, — едва сдерживая негодование, сообщила Молчанкина.

— Да? Ну идите. А я еще часок-другой...

Кто-то из девушек хихикнула сквозь зубы.

— Да ты что? Неужели не прополола?

— Свою прополола, — спокойно ответила Синякина. — Но Лидка сегодня... столько сорняков оставила. И сорняки не убрала. Я ей сказала, а она хвост дудкой, обругала и бежать.

Молчанкина смотрела на Синякину во все глаза, и ее лицо медленно заливалось краской. Девушки уставились друг на друга широко открытыми глазами. После короткой паузы Синякина все тем же извиняющимся тоном продолжала:

— А пайку как оставить такой? Она крайняя. Кукуруза на ней не очень... Пройдусь разок. Ведь мы-то с Лидой сорвемся! Так что не обижайтесь, идите сегодня без меня.

Она повернулась и, высокая, прямая и какая-то величавая, исчезла в кукурузе.

Девушки стояли молча. Молчанкина, вспоминая, как утром Харланова говорила ей о болезни матери и просилась уйти раньше, с пылающим от стыда лицом обернулась к смущенным подругам:

— А ну-ка, девочки, поможем Вале!..

«Кажется, ничего особенного не произошло — звене. Но с того дня девушки иными глазами смотрели на Валу Синякину. Что касается Лиды Харлановой — она старалась непременно чем-нибудь помочь Синякиной, и скоро напарницы подружались. А звеньевая, когда ее спрашивают о девушках, по-маленьки поднимает большой палец и уверенно говорит:

— Все наши девочки работают одинаково. У нас нет плохих. Все трудятся — в!»

## МОСТ

С тех пор, как колхозных овец стали гонять на летние выпасы за речку, старого чабана Харитона Яковлевича Бутко точно подменили. Возвращаясь поздно вечером со своей отарой племенных маток на ферму, он, усталый и запыленный, не спешит, как бывало, присесть на покрытую бархатистым мхом колоду, чтобы отдохнуть немного, поаппетититься гирляндами электрических огней над станицей, рассказать, если окажутся слушатели, обо всем, что видел и передумал за день. Нет! Опираясь на палку, он перню расхаживает у фермы и недовольно ворчит себе под нос. А то из-за сучьего пустяка ни с того, ни с сего обругает кого-нибудь из работников фермы и уйдет.

В первый день, пернувшись из-за речки, чабан сразу ушел с фермы. Через два часа явилась жена: где ее старик, почему до сих пор не идет ужинать? Только утром узнали, что Бутко до полуночи спорил о чем-то с животноводом.

По настроению чабана было видно: недоволен он результатом спора.

Следующий вечер Бутко просидел у председателя колхоза. И хотя после этого он стал несколько спокойнее, все равно каждый на ферме видел, что и председатель не разрешил вопроса, волнующего старика.

Два дня Бутко, мрачный, ужинал дома. А на третий опять не явился домой к ужину.

На этот раз Харитон Яковлевич зашел в маленькую комнатку комитета колхозной комсомольской организации. Секретарь ее Андрей Ткаченко, заметив необычного посетителя, сизого от степной пыли, усталого опирающегося на палку, прервал разговор с опустившими его комсомольцами.

— Харитон Яковлевич, вы никак прямо с поля? Поди, поужинать не успел? Дело, видать, важное? Может, повспомни ребят, пусть дадут нам побеседовать?

— Они не осерчают? — осведомился чабан.

— Нет!

Ребята вышли. Ткаченко встал из-за стола, усадил старого чабана на стул.

— Так что же случилось, Харитон Яковлевич?

Бутко вздохнул, потрогал усы рукой, немного помолчал.

— Изболел душой, Андриуша, — наконец сказал он. — Колхоз ежедневно килограммы шерсти теряет! И овец портит. Маток! Тонкорунных! Вот как...

Часто моргал, он отвернулся и смолк.

— Как так, Харитон Яковлевич?

— Фермы-то здесь, а выпасы за речкой! А мост в паводок смыло. Один столбик торчат. — Старик сердито продолжал: — Овец туда и обратно вброд гоняем. Река у нас хоть и маленькая, да бешеная. Шерсть вымывается, жиротоп — то же самое, матки просто-живаются! Вот как...

— Вы председателю говорили, Харитон Яковлевич?  
— Как же! И председателю и животноводу. Говорят: сейчас не до моста им, новые скотные дворы строят. Говорят: не построим их вовремя — больше потеряем.

— Мост тоже нужен, — перебил Ткаченко. — Разве председатель этого не понимает?

— Понимать будто понимает, да лесу, говорит, сейчас ни щепки. Весь истратили. Кроме скотных дворов, говорит, строим школу-десятилетку. Дом сельскохозяйственной культуры. А лес в распутицу не подвезан...

— Лесу, верно, нет сейчас.

— Вот и говорит: лес подвезут, тогда о мосте думать будем. Недельки через три прийти велит. Вот как! Шутка дело — недельки три! А шерсти сколько потеряем! А какую шерсть потом стричь будем? Щетину? А сколько маток застудим! Ты посмотрел бы, Андриуша, как они, бедные, не хотят в воду-то. Душа надывается. Овца — умное животное, нежное. Вот как! А мы ее в воду... Недельки три! Нельзя, нельзя, Андриуша!

Бутко тяжело вздохнул.

— Сколько там лесу для моста потребуется? Зайдем, Харитон Яковлевич, к секретарю партийной организации посоветоваться...

Чабан замаха л рукой.

— Зачем, зачем, Андриуша! И Иван Иванович леса не даст, коли его нет. — Он подался всем корпусом к ничему не понимающему Ткаченко. — Помогите мне, Андриуша, мост настала. Поговорите с комсомольцами — пусть придут пособить. Выручат.

— А лес? — спросил Ткаченко.

— Сколько там лесу того? Столбы прежние гожки, на перекладные коновязи разберем у старого переизда. Животновод разрешил. Ну, а горбылей для настила я нашел. Дома есть у меня. Я и с подводой уадила — будет... Вы бы пособили...

Бутко с надеждой смотрел в глаза Ткаченко. Тот подумал немного, потом встрепенулся.

— Пособим, Харитон Яковлевич. Сколько тебе человек привести?

— Сколько можно, Андриуша.

— Двадцать хватит?

— Хватит.

— Когда?

— На зорьке. К утру чтоб закончить...

— На зорьке? — переспросил Ткаченко, и лицо стало вновь озабоченным. — Дали вы мне задачу, Харитон Яковлевич... Счастье ваше, что группирги здесь... Придем на зорьке!

— Спасибо, Андриуша, спасибо! — встав со стула и кланяясь, поблагодарил чабан и вдруг засуетился: — А что ж ребята? Зови! Жаждались! Ругают, поди, старика... Завтра прямо ко мне. До свидания, Андриуша.

Он вышел, и в ту же минуту в комнату один за другим вернулись группирги.

...На исходе ночи, едва на востоке обозначилась светлая полоска, к дому чабана Бутко явилась группа комсомольцев с топорами и пилами в руках. Ткаченко осторожно постучал в крайнее окошко.

— Тут я, — довелся голос из-за угла, и к комсомольцам вышел Бутко.

Он был в тех же сапогах и старом пиджаке, в каких приходил вечером в комитет, и Ткаченко показалось, что старик еще не ложился спать.

— Пришли! С добрым утром, сынки...

— С добрым утром, Харитон Яковлевич, — за всех ответил Ткаченко. — Вы, никак, и спать не ложились?

— Поспал маленько, да вот встал уже, за лошадью ходил.



— А мы-то думали: придется Харитона Яковлевича с печки тащить, — сказал кто-то из комсомольцев.

— Коллективно, — пошутил другой, — с печки — и на улицу.

По непрерывному циклу...

Посыпался дружный смех. Из дома вышла жена Бутко. Покрывая голову платком, она холодно поздоровалась с комсомольцами и, вздохнув, заворчала:

— Сколько народу избулгачил, старый! Совсем из ума выжили! Сам не спит и другим не дает...

— Не сердитесь, бабушка, — весело крикнул кто-то из комсомольцев, — нам так и этак не спать: дела нет — с девушками прогуляем!

— Ишь, что придумал, старый! — продолжала она. — Три года горбыли на забор собирали, а он на мост их...

— На какой забор? — настороженно спросил Ткаченко.

Старуха показала на неогороженную усадьбу.

— Это правда, Харитон Яковлевич? — спросил Ткаченко.

Бутко сердито махнул рукой и стал убеждать Ткаченко, что изгородь ему ни к чему: обходился без нее много лет, обойдется еще.

Комсомольцы запрудели:

— Незачем свой лес тратить на мост! Лес для изгороди? Не будем брать. Потерпи, Харитон Яковлевич, скоро лес в колхоз подвезут.

Бутко сердито сверкнул глазами в сторону жены.

— Нагружай, старая! — приказал он и позвал: — Зина!

Из-за хаты выбежала девушка — дочь Бутко.

— Привязала коня?

— Привязала, папа.

— Помогай матери нагружать горбыли!

Жена нехотя принялась грузить горбыли, приговаривая:

— Вы, хлопцы, не подумайте чего — не к тому я, что горбылей жалко. Старик у меня... Нет на него покоя! А горбыли, раз для дела, чего жалеть? Без них обойдемся...

Ткаченко все стоял на одном месте и, глядя в землю, что-то обдумывал. Стояли, не зная, как быть, и комсомольцы. Наконец секретарь поднял голову, окинул взглядом товарищей и крикнул:

— Нагурай, ребята!

Работа мигом закипела. Не прошло и десяти минут, как первая подвода с горбылями отправилась к речке.

К утру мост через речку был восстановлен, и отары колхозных овец прощан на пастбище уже посуху.

С этого дня к старому чабану Харитону Яковлевичу Бутко вернулось обычное добродушие и веселость. Пригнав поздно вечером отару на ферму, он, усталый и запыхавшийся, садится на покрытую бархатистым мхом колоду близ кошары. По телу разливается приятная усталость. Хорошо сидеть здесь, прислушиваясь к топоту и тихому блеянию сытых овец, любуясь ярким электрическим заревом над станцией! В такие минуты старику хочется поговорить, и он

охотно рассказывает работникам фермы обо всем, что произошло в отаре за минувший день.

Жена знает, что старик любит посидеть возле кошары, и обычно не беспокоится. Но сегодня она, возбужденная, ждала его у ворот. И когда он подошел к отару к скотному двору, старуха крикнула:

— Пойдем-ка, домой, Харитоны!

— Что случилось?

— Пойдем, увидишь!

Подойдя к своему дому, Бутко остановился в изумлении: вокруг усадьбы тянулся новый забор — ровный, из острутанных досок, с калиткой.

— Что это? — удивленно спросил чабан.

— Андрюшка! — объяснила, улыбаясь, жена. — Пришел утром с хлопцами, доски привез. «По поручению правления возвращаю», — говорит, — Харитону Яковлевичу должок». Свалили доски и начали изгородь городить. Да так живо!..

— Вот оно что... — только и смог сказать старый чабан.





# АВТОР

## „Скучных“ писем

Из записок журналиста

Рисунки Е. Вачурина.

С куку я начинал чувствовать уже при одном виде этого почерка: буквы лепились друг к другу, как маленькие ласточкины гнезда. Внутри этих крохотных гнезд можно было отличить при известном усилии «к» от «н», «а» от «я». А иногда и нельзя было. Я читал через лупу.

С редким упорством этот человек писал в редакцию о том, что вблизи маленького старинного села Чудинка залегают бело-голубые глины: по мнению сельских стариков, они отменно хороши; столетний дед, по фамилии Трубецкой, помнит даже, что в небольшом монастыре по соседству делали из них чудную посуду; сейчас эти глины лежат в земле без пользы. А хорошо бы разведать их и то ли фабрику открыть, то ли артель создать...

Первое письмо я читал с интересом: название села Чудинка, фамилия столетнего деда, будто сошедшая со страниц исторического романа, упоминание о небольшом

старинном монастыре, даже бело-голубой цвет глины — все это трогало немного. Но в сотый раз — увы! — вызывало одну лишь безысходную скуку, несмотря на то, что в письмах появлялись новые подробности: увлечение гончарным искусством, оказывается, отозвалось в старину на местном фольклоре (автор не поленился даже написать четверостишие из двух песен); рассказывал он и о том, что в одной избе «открыл» нечаянно кувшин и чашу из бело-голубой глины и пил с наслаждением воду из этого обожженного двести лет назад кувшина... О себе же не писал ничего; подписывался: «Работник лесничества Д. Саянов».

Письма эти я посылал в различные областные инстанции, и они опять возвращались ко мне. Из обкомкооперации сообщали, что сырьем они обеспечены лет на пятьдесят; из совнархоза писали не без ехидства, что район Чудинки был недавно обследован и ничего, в чем бы совет испытывал

острую потребность, не было обнаружено. Нужны же сейчас крупнозернистые пески для заводов тяжелого машиностроения — пусть, мол, автор письма, видимо, хороший краевед, и пошлет их с помощью редакции...

Письма Саянова я посылал даже в управление, занимающееся игрушками, но и там они не вызвали энтузиазма. Мне, а заодно и автору объяснили, что современный ребенок игрушку любит синтетическую, а не из глины, пусть даже бело-голубой; ничего, мол, не поделаешь, двадцать первый век на носу. Посылал я письма Саянова и в строитель в слабой надежде, что тому нужно сырье для керамики. Но мне ответили, что дома все больше собирают из панелей; кирпич и черепица отходят в небытие.

Рядом с «синтетической игрушкой» или «железобетонными полнотелыми панелями» само название села «Чудинка» выглядело странно и беззащитно, будто бы строку из старинного толково-

го словаря Даля завершали по небрежности типографии в ультра-современный том, где «синхрофазотрон» соседствует с «кибернетикой» и «полимерами».

И вот не осталось уже ни одной областной организации, имеющей хотя бы отдаленное отношение к бело-голубым залежкам близ Чудинки, куда бы не посылали эти письма. А «работник эстетства Д. Саянова» не унимался. И письма пошли по второму туру — по старым адресам.

А он между тем сообщал, что глина эта необыкновенно хороша: красива, разнообразна по оттенкам, упруга; что местные художники-самоучки лепят из нее забавные фигуры людей и животных и издали, при соответствующем освещении, кажется, что это камни, даже металл. (Письмо это я направила в художественную мастерскую, откуда его переслали в ту же обаломкооперацию, обеспечивающую художников «скрыем», а обаломкооперация наконец неопределенно пообещала «рассмотреть вопрос о возможности использования глины, о котором пишет гр. Саянов».)

Через несколько месяцев после первого письма он тем же неразборчивым мелко-округлым почерком написал, что начал с помощью кузнеца Трубецкого, тоже краеведа-любителя, внука столетнего старика, обследовать, на собственный страх и риск, залежи глины и радостно удивлен тем, что на известную глубину она поет, как колокол. Может быть, алюминий?

У меня ни разу не явилось желания поехать к нему в Чудинку: как-то я не сумел увидеть в его письмах «темы для выступления в печати». Бюрократическая карусель? Но «инстанции» отвечали быстро и будто бы убедительно, они ближе меня к народному хозяйству, им виднее, что нужно их отраслям, что нет... Хорошо скрываемое раздражение в ответах? Пожалуй... Но ведь и надоед нестерпимо! Можно понять людей. Я и сам уже начинал испытывать недобрые чувства, когда сотрудница отдела писем, стоя передо мной с мелко исписанными листками, усмехалась:

— Поздравляю, еще одно из Чудинки.

Но пакет Саянова в отделе писем рос и рос, висел на мне тяжким камнем. Надо было что-то делать, что-то решать. И вот я собрал все его письма и все ответы на них и поехал посоветоваться в управление геологии.

Там меня познакомили с любо-

пытной статистикой: из ста заявок первооткрывателей оправдывается в лучшем случае одна, самая маловажная. Около двух тысяч этих заявок покоится в архивах последних лет. А что открыто по ним? Сухая безделушка.

Расказывала мне об этом женщина лет сорока, с увядющим тонким и нервным лицом, перебирая на столе красивыми пальцами отлито оточенные разноцветные карандаши. На нее и была возложена работа с первооткрывателями. Видно было, что ей нравилось само это слово. Она повторяла его чаще, чем надо, мягко, удивительно нежно.

— У нас один первооткрыватель, и вы замучились с ним,— говорила она, улыбаясь лукаво-сочувственно,— а у меня сотни первооткрывателей, тысяч даже. Первооткрыватели не отражены в нашей художественной литературе. А жалеть искренне. Тут, если хотите, настоящая драма. Человеку кажется, что он открыл новую Курскую аномалию, и пошла писать губерния, как говорили наши деды, а на самом деле это старая каменоломня. Бывали иногда случаи и более сложные, требующие исследований, экспертизы, и мы выматывали, тратим силы. Разумеется, если речь идет о хорошо изученном районе, достаточно посоветоваться с геологической картой. Как раз по соседству с Чудинкой работал доктор геологических наук... Она назвала известную в нашем городе фамилию...— Не думаю, чтобы он не заметил слова. К тому же вы литератор и в этом, конечно, не разбираетесь, но нам-то хорошо известно: подобные глины соседствуют с бокситами чрезвычайно редко. Для этого миллионы лет назад, когда формировалась наша планета, в недрах ее должно было совершиться... ну, нечто напоминающее военное «ЧП». Вы оставьте письма, мы все обсудим... Первооткрывателям кажется, что они ходят по золоту, серебру и тому подобным редким металлам. Они, как дети, часто даже больше их разочаровывают.

Я остался в управлении старые письма Саянова и начал получать новые. В первом он выражал пожелание, чтобы геолог, если наконец его пошлют в Чудинку, остановился и жил у него: дом хороший, места много; во втором рассказывал, что выписал из города нелегальным платежом книги по геологии, хочет на старости лет хотя бы постоять на пороге новой науки.

Эти я уже никому не посылал, а с каким-то неопределенным чув-

ством усталости, скуки, горечи отправлял в ящик письменного стола.

Я любил письма «человеческие», насыщенные раздумьями о жизни, письма, вызванные душевными потрясениями, открытыми и бурные или тихие, как стои мужественного человека. Очертя голову я летел навстречу требующей моего вмешательства жизненной драме...

Такое письмо и легло на мой стол однажды утром, в мае. Молодая женщина писала, что жить ей больше нечем, она обманулась в любимом человеке, не верит теперь ни в добро, ни в любовь, она уйдет из жизни без сожаления, и пусть это послужит горьким уроком тем, кто доверял. Особенно ударил меня слова: «Я пишу вам потому, что нет у меня никого, я чужая в этом поселке, это его дом, это его родина, я чужая и совсем одна...»

Ехать было мучительно трудно даже на велосипеде — все развело,— и добрался мы только в майские сумерки.

С обниравшим сердцем я позвонил у одного из коттеджей... Вошел в небольшую, наполненную сумерками комнату с накрытым к ужину столом. Сидели за столом, не зажигая огня, двое: он в молочно-белой рубашке с небрежно повязанным темным галстуком и лицом, как после бессонницы, утомленным, несчастным, и она — тонкая, угловатая, с худыми, обвисшими выше локтя руками, с растерянной улыбкой на странно оживленном маленьком лице. Посмотрела на меня диковато, весело.

Я поклонился:

— Добрый вечер. Из редакции...

— Уже не нужно,— сказала она, смеясь,— мы уже помирились, уже все хорошо.

Он, опустив еще ниже большую, темную, лохматую голову, обронил:

— Отужинайте...

— Да! — оживилась она еще больше и зачем-то потрогала ладонями щеки, едва касаясь их, точно боясь обжечься.— Вы садитесь. У нас теперь все хорошо, но вы садитесь...

По-истине надо было, конечно, сесть, поужинать, наблюдать, слушать — и, может быть, может быть... родилась бы статья, оригинальная, острая! Но во мне бушевали шестьдесят километров весеннего бездорожья. Они, видимо, вытрясли последние крохи журналистской выдержки. Задохнувшись от бешенства, я резко повернулся, вышел.

Она выбежала за мной, горячо выдохнула мне в спину:

— Вы уже мне помогли, помогите!

Я не ответил, чтобы не оборачиваться, не видеть лишний раз это маленькое, странно оживленное, с растерянной улыбкой, очень податливое лицо...

— Поедем назад Покровским шоссе, — хмуро, понимая все без слов, сказал шофер. — Там, думаю, посуше. — Он зажжет фары, осветит мокрую лоснящуюся дорогу, и мы тронемся.

Через полчаса огни нашего внедорожника выхватили указатель на Покровском шоссе: «Чудинка, 2,5 км».

— Слушай! — вырвалось у меня неожиданно. — Повернем!

«Надо же увидеть наконец этого человека», — убеждал я себя. — Он пишет и будет писать. А я? Посылать его письма по третьему, по четвертому туру в те же «инстанции»? А потом? И кто они? Что делает в эти минуты? Пишет перед сном мне письмо?

Сторож в конторе колхоза объяснил, что Сайнов живет в лесу. «Он лесной у нас, лесной...» — добродушно усмехнулся, дымя махоркой. И дорогу показал.

Ночной смешанный лес был беспокоен, дышал в лицо вином — старая листва — и хвой. Фары, касаясь, то и дело выхватывали мокрую, с червоточным отблеском землю, медные стволы старых сосен, низкую, густую дочерня еловую лапу, березы, обалженные, блестящие.

Я устал и уже задремывал блаженно, но машина ухнула, осела, застучала тоскливо по корягам. Мы устанавливали домкрат и меняли колесо...

Ехали потом недолго. На опушке я увидел в неровном, мигающем от облаков месячным освещением голубые ели — они меркали и озарились, оставаясь отчетливо голубыми. Я никогда раньше не видел голубых деревьев (может быть, только на картинах Гогена или Ренка) и решил, что это все же оптический обман, шутка ночного веселья леса. За елями желтело окно, это и был, по рассказу колхозного сторожа, дом Саянова. Мы остановились, задев еловую лапу.

— Заблудились! — услышала я почти над ухом, обернувшись и увидев старика в старой солдатской ушанке.

— Нам к Саянову...

Я Саянов, Дмитрий Павлович. Вышел погулять перед сном, вижу, кто-то бегом моих фарам пугает. Время-то по-лесному не раннее, отдыхают белки... Он помогал выжидательно.

Я объяснил: из редакции.

— А? — посмотрел он на меня

растерянно. — Зайдемте в дом, пожалуйста. А я подумал: уж не за песнями ли? Тут у нас сейчас большая охота идет за старой песней: понаехали студенты, учителя, ищут днем и ночью. Да я уж наговорил им все, что помнил. Она, песня, охоты не любит. Она, как дитя лесное: ты бескорыстно войди в лес, и белка сама на плечо тебе сядет.

Пока мы шли к дому, он говорил все время. «Словоохотлив», — отметил я про себя почти неприязненно, — а беседовать не с кем — пишет письма...

Первое, что я увидел в маленьком доме, было перо, чернильница, бумага на столе. Я, видимо, не ошибся: он действительно писал мне сегодня очередное письмо. Невольно я наклонился: тот же ласточкин раздражающий почерк — «Дорогая редакция»!

— Вот что, Дмитрий Павлович, — сказал я, делая вид, что сосредоточенно рассматриваю чернильные пятна на столе. — Нам с вами стоит поговорить о том, имеет ли смысл наша дальнейшая переписка. Вы сами понимаете...

— Да, да! — обрадовался он почему-то. — Я и сам об этом хотел. Написано было много! Действовать надо сейчас, делать что-то...

— Что делать? — Невольно я повысил голос. — Ну что?

— У меня ужасный почерк, — сказал он тихо, — вам досталось, наверное...

«В удивительном этом голубом лесу тратить жизнь на чернила! — думал я. — Графоман!»

С обостренной наблюдательностью я рассматривал его низкую, коренастую фигуру, руки, похожие на корявые ветви, нелепые на этих ветвях-руках чернильные пятна, лицо, ширококостное, курносое, губостроевое — действительно ястребиной лешей! — лоб пижиковый, неровный, грубый, как вековая кора, седые редкие волосы, сложенные, видимо, нечаянно под шапкой в вихор, почти мальчишеский, — рассматривал сосредоточенно, напряженно, как сквозь лапу.

Он достал из шкафа большой ком бело-голубой глины, положила на стол.

— Вот она, виновница...

Я посмотрел, потрогал, — маслянистая, с тающими пятнами голубизны и тусклым блеском, упругая, как резина, она в самом деле была хороша. Но ведь глина не золото!

— Лежит наверху, — рассказывал он. — Мы ходим по ней, топчем. А захочешь: вылепи, обожги кушину — зазвонит. И если песни наши послушать местные, что по-

старше, и в них эта странность отозвалась. — И нараспев: — «Зазвонили гончарные чаши на том самом пессолом пиру...» — Оборвал, посмотрел торжествующе, по-детски удивленно. — Почему зазвонит? Надо бы — застучал, если гончарные. А?

Он говорил все это мягко, медлительно, немного устало, но с охотой и с радостью.

— А теперь взгляните... — Он положил рядом с бело-голубым комом кусок металлической полбескивающей породы, сероватой с желтыми крупными искрами, и улыбнулся доверительно: — Думаю, алюминий. По-научному — боксит. Это желато, как мед, аллофан...

— Аллофан? — удивился я незнакомому слову.

— Ну да, минерал такой, — смутился он. — Я не геолог, деревья мне ближе. Чего я хочу? Я хочу, чтобы развелили, чтобы в уме держали. Может, сейчас и не нужно, а через десять лет, даже через сто... И если через двести — тоже ничего. Породы, одна доживает, она стареет медленнее даже деревья.

Я посмотрел в окно.

— Они действительно голубые?

Он убрал в шкаф «теологично», тоже сел за стол, пытливо, с еле видной усмешкой посмотрел мне в лицо, точно читая на нем, насколько искренне и глубоко мое удивление, и заговорил совсем иначе — увереннее, горше:

— Я хотел, чтобы они были ярко-голубыми — вот, как небо летнее. Чисто голубыми. Но для этого нужна не одна, а две жизни. Их делают голубыми мороз. И время, конечно. Да... Это нетрудно, нужно только терпение. Надо посеять елочки почти на открытом месте — чем беззащитнее, тем лучше. Ударит мороз — уцелеют из ста десять. Хорошо... Семена от этих десяти надо посеять опять. Снова из ста выживает десять. То же хорошо... И повторять, повторять. Год от году они голубеют все больше. Те десять, что выжили и собирают в себе всю голубизну. Терпение — и время... Опять... Опять...

— Ну, а потом?

— Что потом? — пожал плечами, низко наклонив голову и рассердился: — Не единым хлебом жив человек! И лес — тоже... — Помолчал. Самшню было, как шумят за открытым окном ночные деревья. — Помню, — заговорил он снова, не поднимая головы, — был в Чудинке у нас давно, лет тридцать — сорок назад, оркестр ложечников. Теперь это редкость — игра на ложках. А мы любил. Инструмент послушный, нежный.



Дерево. И роаял из дерева и виолончель. Наигрыши народные исполняли, бесхитростные мелодии. А мне все хотелось: Глинка, даже Баха, хотя он, Бах, для ложки и не писал. Попытались, сыграли... Однако в Москву на смотр нас не допустили. Один товарищ из жюри даже осердился. «Что,— говорит,— нет у нас органа в консерватории?!» — Саянов посмотрел на меня со слабой улыбкой. — Ну и что же? Вот есть цветок орхидея в тропиках, богатейший, яркий, и растут у нас в русском лесу кукушкины слезы, невзрачные, а из того же семейства. Также орхидеи. Что кому ближе? А ложки, если интересуетесь, могу показать.

Он опять подошел к шкафу, достал две легкие, изящные, янтарно-смолистые ложки, с чуть удлиненными ложками, состыковал их слабо,— тихое, певучее эхо задрожало, замерло в окутаных сумерками утлах маленькой комнаты.

— Сосна,— сказал старик,— слышите...

Он положил их в шкаф, и я, следя за исчезающим тихим, янтарно-смолистым чудом, увидел над наклоненной головой Саянова что-то разноцветное, мерцающее, красное и золотое. Не выдержал,

подошел вплотную к шкафу и замер: передо мной были расписные деревянные чаши, гончарная посуда, лакированные шкатулки...

— Собираю! — радостно вспыхнул он, увидев мой интерес. — Все, чем богат наш край. Почти все отдал в музей, крохи остались, для души. Да вы смотрите без стеснения, я засвечу поярче. — Он зажег верхнюю сильную лампу, и внутри шкафа заговорило всеми красками Хохломы и Палеха. На этом фоне, нестром, как табачный ларек, и заметил что-то невзрачное, бесформенное, два инородных тела и узнал в них ком глины и кусок глиняной породы.

А когда, закрыв шкаф, я обернулся к хозяину, то увидел, за ним, на стене, большую зеленую ветку, похожую на перо исполнинской птицы. И он, чуть улыбаясь на моем лице удивления, посмотрел на нее тоже, улыбаясь.

— Из тропиков, от дочери. Внеси письма...

Я подошел, осторожно коснулся чуть тронутых желтизной острых листьев, зачарованный магическим словом «тропики». Из этого мгновенного волшебного состояния вернул меня к действительности голос хозяйки:

— Вы послушайте, что пишут из совнархоза.

— Читай. Эта ветка...

— А из обкомкооперации?

— Тоже. Она не из Африки?..

— Из управленца игрушек?

— Да...

— Из стройтреста! — Он усмехнулся, шаря по столу, по раскинутым бумагам большими руками. — Настоящий листопад. Будто клен осыпался...

Бумаги, в самом деле, издали напоминали крупные, в мужскую ладонь, плотные клееновые листы. И я увидел, что самые старые уже пожелтели. Мне захотелось уйти, даже бежать от этой желтизны.

Мы выпили; я сел в «газик». Автор «скучных» писем стоял перед домом, удивительно махонький рядом с большими ночными деревьями.

По дороге я думал: почему он один? Что делает в таинственных тропиках его дочь? И что делает он сам в этом лесу долгими вечерами? Как он живет без музыки? Жена умерла? Учился ли он? Эта солдатская ушанка... Воевал?... Я задавал себе все новые и новые вопросы, но мог на них, разумеется, ответить и подумал, что только сейчас он стал для меня загадкой.

А через день я поехал к главному геологу экономического района.

— Существует разный масштаб изученности местности,— сказал мне этот немолодой художавый человек, обладающий тем несколько уловлятым изыщством, той порывистой легкостью походки и жестов, которые отличают геологов и географов, людей, умеющих и любящих без устан ходить по земле. — Это как в литературе у вас... — Улыбнулся обаятельно-молото. — Лев Толстой или Максим Горький — один масштаб изученности человека. Скажем, если перевести на язык карты, — одна стометровая, то есть в одном сантиметре один километр. А у некоторых нынешних молодых — одна миллионная. Миллионный масштаб изученности явно недостаточен и в геологии и в литературе. Но он, увы, удовлетворяет многих. Соглашай? Район, о котором вы говорите, изучен далеко не основательно. Как и многие районы... Открытия возможны. Но это все теория. Что же касается вашего частного случая... — Он закурил, оттолкнув по-мальчишески кресло от письменного стола, задумался.

И тут я совершенно неожиданно для себя стал рассказывать ему о вещах, не относящихся к делу: о голубых елях, о ложках, о паль-

мовой ветке. Он слушал вдумчиво, серьезно, не перебивая, сначала сидя, потом меряя кабинет большими легкими шагами от карты на стене до окна.

Я кивал; он сел, облокотился на стол, посмотрел мне в лицо, улыбаясь по-нашему, но с оттенком иронии.

— Убедил. Людей у меня мало, но пошлем, разведем. Добьемся хороших масштабов...— И поднялся, отошел к карте.

Карта эта геологическая писала в тени; она была разделена странными, фантастически неправильной формы фигурами, не имеющими ничего общего с геометрией, похожими на обрывки облаков и туманностей: они желтели, зеленели и белели,— и все это немного напоминало большой снимок ночного неба, будто бы галактики клубились у нас под ногами.

Главный геолог выполнил обещание: послал в район Чудинки полую разведку. Я получила от Саянова письмо, вернее, записку. Два слова: «Начали бурить».

Больше писем из Чудинки не было. Я написал ему, он не ответил. Послал и второе письмо. Он молчал. И я решил, что геологи не нашли ничего интересного и ему по-человечески неловко.

Летели дни, недели. Я уезжал, возвращался, опять уезжал... Газета, как большая волна, накрывала меня с головой. Между двумя командировками, по настоянию работников отдела писем, объемистый пакет Саянова я отправил в архив, начертав на нем размашисто: «Вопрос решается в геологическом управлении; автор извещен письменно и устно».

...Однажды, уже весной, и нас, мне позвонил вечером главный геолог. Голос его молодо вибрировал, можно было подумать: говорит юноша.

— Ну, поздравляю, — сказал он. — Вы одержали победу.

Я растерялся, ответил неопределенно — междометиями.

— На днях зашел на карту района новое месторождение бокситов с высоким содержанием алюминия. Разрабатывать его сейчас не будет, но... в геологическом активе страны...

— Вы говорите о Чудинке? — выдохнул я непонятные слова.

— Разумеется, — удивился он. — Вы что же, забыли?

— Не ожидал сейчас. Писал Саянову, он не ответил...

— Он умер, — сказал геолог. — Второй инфаркт. М-да... Видел его голубые ели. А вы, что же... Мне показалось, он перешел на шепот,



но шепот этот оглушал. — Вы... что же, ни разу не были потом в Чудинке?

— Не был, — ответила я тоже почему-то шепотом.

— Месторождение хорошее, — сказал он. — Поздравляю вас все-таки...

Наутро, сидя в вагоне поезда, я думал: «Зачем я еду? Увидеть еще раз голубые ели, игрушечный домик за ними?»

В перестуке колес самшалося мне одно и то же: «все-таки», «все-таки»... И под это металлически отчетливое слово я думал о том, что вот мы запоминаем на десятилетия строки стихов, чужие мысли и то, что нужно нам для работы, и если почью меня разбудить, я назову без труда десять самых любимых мною городов, и в них — мои самые любимые улицы. Почему же мы забываем людей, с которыми сталкивает нас жизнь? Нет, мы помним, конечно, их имена и черты лица, но ведь

это не стихи и не города, а люди, и помнить их надо иначе.

Как буднично все это началось, думал я, восстанавливая в памяти «скудный» почерк, и как небуднично обернулось. Наш редактор любит говорить с чувством: «За любым письмом, товарищи, стоит живой человек». И нелегко было, слушающая его, не улыбаясь при слове «живой». Какой же еще может «стоять»? И вот стоит мертвый.

От станции я шел лесом и думал все резче: зачем иду? А потом вопрос этот и вовсе исчез, растворился в шуме частых, высоких сосен.

Но перед домиком лесника я остановился в растерянности.

Войта? Я попытался.

Он был закрыт наглухо, как бы-вают закрыты дома, в которых никто не живет и, наверное, не скоро будет жить.

Долго сидел я на его ступеньках, и шумела надо мной неправдоподобные ели...

# ДОБРОЕ

**Б**ольшое красивое село Хомутиц. Люди здесь живут трудолюбивые, дружные, заслужить их уважение не так просто. Катя Резницкая его заслужила, заслужила так же, как и ее старшие подруги из этого же села, славные на всю Украину звеньевые Катя Гулий и Надя Костенко.

Катя Резницкая родилась в Хомутице, тут выросла, в школу пошла. Сейчас ей шестнадцать лет.

Ранней осенью 1962 года в школу пришел председатель колхоза Гаврила Петрович Скаляр и с ним званевая Катя Гулий. Говорили о работе школьной производственной бригады, о том, что решено расширить школьный участок и приблизить его к селу (до той осени он был в 5 километрах от школы). А потом заговорили о новом бригадире: прежний окончил школу и ушел на работу в колхоз.

Тихина стояла в классе. И тут поднялась Толя Желток — комсорг школы.

— У меня думка есть... — Помогала, подумала, словно еще раз взвешивая свое предложение, и сказала: — Давайте Катю выберем... Она справится.

Кто-то крикнул с последних парт:

— Которую?

В классе было несколько Катерин, но уже все поняла, какую Катю имел в виду Толя: Катю Резницкую, ученицу десятого класса, верную подругу, серьезную в деле, хохотунку на досуге. Она сидела в третьем ряду возле окна и смущенно отводила глаза, румянец похлывал во всю щеку. Она поняла: товарищи из обоих классов — десятого и одиннадцатого — ей доверяют.

И началась для Кати новая жизнь... Каждый день осенью и в зимние месяцы, весной и летом учебническая бригада трудилась, как один человек, на своем участке. Осенью надо было сеять озимую пшеницу, а весной — куку-

рузу и просо. Участок разбили на восемь делянок, о каждой надо позаботиться. Больше всего беспокоились о кукурузе. И поле, в которое ребята вложили труд свой, хорошо отплатило им. Урожай пшеницы и проса собрали хороший, но наиболее высокий урожай дала кукуруза. До последнего зернышка съели ребята урожай в колхозные каморы.

А ведь всего было...

Зима прошлогодняя выдалась лютой, давно такой не помнили в Хомутице. Поземка неслась с утра до ночи. От мороза ветки в садах секлись, падали, устилали землю.

В те дни возили навоз из Довгалевки — соседнего села. Школьный трактор с прицепом работал почти целый день. Его водили «свои трактористы» — Микола Калининченко и Володя Кривонос.

Бригада поставила перед собой задачу: вывезти по 22 тонны навоза на гектар, а гектаров надо кукурузой должно быть 15. Работали по пятницам и субботам — в дни производственной практики. Класс разделили на группы, по 10—12 человек в каждой. Одна работала до обеда, вторая — после. Наберут прицеп — и в поле. Мороз свирепеет. Чтоб не замерзнуть, бежали вследа за трактором, грелись, в снежки играли. Раскраснеются, как помидоры, жарко станет.

Семенная кукуруза хранилась в колхозной каморе, в бригаде, на хуторе Решитки. В течение зимы пять раз проверяли ее на всхожесть. Делали это в кабинете биологии под руководством учительницы Екатерины Тихоновны Демьяненко. Проверка показывала: семена не портятся, сохраняются хорошо.

А весной, как только пригрело солнце, Катя с подругами получила для посева по 30 килограммов кукурузы на гектар — всего 450 килограммов — и привезла в школу. На хозяйственном дворе разостлали брезент, высыпали семена — пусть греются, набираются

сил. От птиц кукурузу берегли по очереди свои сторожа — ученики младших классов, и надо сказать, ребятами стерегли на совесть: ни одно зернышко не пропало. Вывезли перед севом по тонне на гектар калийной соли и аммиачной селитры, а заодно и собранный зимой куриный помет. Его тоже получилось почти по тонне.

В дни сева Катя почти не уходила с поля. Прибежит домой на полчаса, перекусит — и снова в сенокос. Засмущалась, нос обалупился, руки огрубели. И то сказать, надо везде успеть: и семена обдурить ядохимикатами, и засыпать их вместе с удобрениями в сенокос, а удобрения надо растолочь, чтоб не было комьев, надо проверить и глубину посева, а то, чего доброго, севальчики Микола Калининченко или Налья Кисель, хотя и свои, школьные, могут и ошибиться, не ту глубину взять.

Отсеялись — и тогда началось: а взойдет ли? А чего ж так долго не зеленеет? Начало всходить — почему не все сразу?

Учительнице Екатерине Тихоновне пришлось в те дни отвечать на множество вопросов и делить с воспитанниками все их горести и тревоги. Ее предмет — растениеводство — оказался одним из самых интересных, теснейшим образом связанным с настоящей жизнью, с непосредственной работой в поле.

В школе нет такого человека, кто бы не хотел помочь своей бригаде. От директора и до ученика первого класса — все болеет за ее успехи и неудачи.

Однажды ранней весной — снег только-только сошел, отшумели ручьи по улицам — Катю нашла школьный библиотечкарь Мария Семеновна Дорошенко.

— Вот почитай! — Мария Семеновна развернула газету.

О чем говорилось в газете? Бакинский ученый Д. М. Гусевлов создал новый препарат из вытжек отхода нефти, названный ус-

# ПОЛЕ

довно НРВ, который стимулирует рост растений.

— Вот написать ему, — размечталась Катя, — и все рассказать...

— Так и сделаем, — поддержала Катю учительница. Ей тоже было интересно проверить НРВ на их поле.

В тот же день письмо было написано. Но откликнется ли ученик? Может быть, письмо и не найдет его, потеряется?

Шли дни, почта молчала. И некоторые члены бригады — они тоже, конечно, знали о статье и письме к Гусейнову — стали думать, что напрасно его тревожили, человек он занятый, забот у него и своих немало.

Но вскоре и адрес пришел, на имя Кати Резницкой, пришла увесистая посылка. Открыла — в ней оказалась долгожданный НРВ, препарат для стимулирования роста растений. А спустя несколько дней была получена еще одна такая же посылка. В ней письмо. Ученик просил не обижаться, что посылает мало этого самого НРВ, «всем понемногу», у него же единственная просьба: осенью написать ему, какие будут результаты, и он желает всем успеха и по-большее энергии.

Препарат НРВ использовали для части семян — всего на нескольких гектарах.

И пот отсыпались.

А потом наступила самая горячая пора — уход за посевами. Провешив день — не догонишь. Надо сорвать сажку, пока она не испортила молоденьких растений кукурузы. С этим справились — началось первое рыхление. Сколько волнений было, когда тракторист Юрченко по недосмотру порезал гектар посевов!

Юрченко был наказан, но потерянного не вернуть — кое-где пришлось подсаживать растения взамен погибших.

Вскоре и прополка подоспела. Подсчитали, что каждому члену бригады полагается прополоть по-

чти треть гектара, если разделить 15 гектаров на 50 — количество членов бригады. За каждым членом бригады закрепили его рядки — это предложение Кати прошло единогласно. Определили сроки прополки.

В поле выходили рано — в пять утра. Поработать на холоде приятней, чем днем в жару.

Кончили прополку — приступили к прорывке, тоже очень ответственной работе: надо оставить в грядке не больше одного-двух растений, и наиболее сильных.

В поле и обедали. Колхозный кашевар Мефодий Струц был в те дни доволен работниками: почти каждый просил добавки. Значит, ценят и его труд.

Затем начали вторую прополку и заодно пасынкование. С ним особенно много повозились: пока оторвешь пасынок, руки заемеют.

— Хай оно пропадет! — не выдерживали слабодухие.

— Отдохни трошки, — советовала Катя, — потом догонишь.

А сама, глядя, и поможет, закончит рядок. Катя не знала устали, своим примером увлекала многих.

Лето было тревожное, но кукуруза на школьном участке поднималась, как на дрожжах: стояла рослая, крепкая, початки один в один. Смотрели на дело рук своих хомутецкие школьники, и сердца наполнялись гордостью, уверенностью в своих силах. Значит, они тоже могут работать, как их матери и отцы, как лучшие звеньевые колхоза.

Наконец пришло время уборки. Сколько же они собрали! Горы початков растут и растут.

По рядам идут и идут с мешками озабоченные искатели оставшихся початков. В кофточках, платочках, картузиках, загорелые, обветренные — вся школьная пионерия вышла помочь старшим товарищам собрать урожай. И доброе поле ласково открывает перед ними свои дары — берите, дорогие мои, набирайте полные мешки, вы



Катя Резницкая.

Фото Л. Куликова.

заслужили мою любовь к себе своим трудом, своей заботой.

Ровно, тяжело рокочет трактор, тащит доверху нагруженный прицеп. А в кабине трактора веселые глаза и улыбка молодого тракториста. Да и можно ли не радоваться: 76 центнеров сухого зерна с каждого гектара, а на опытных участках — намного больше. Так и надо написать ученому в Баку — спасибо ему большое! Катя уже, наверно, написала. Вот она, в козынке, веселая, смуглая, с подружками перебрасывает последние початки в одно место.

Вся школьная кукуруза пошла в семенной фонд — так решил правление колхоза.

— Спасибо вам, дорогие! — говорят в колхозе ребятишкам.

И это самая большая награда для них.

Имя Кати Резницкой заслуженно занесено на областную Доску славы. Рядом с Героем Социалистического Труда Степаном Гусаком — имя хомутецкой школьницы...

А время идет. И впереди заботы о будущем урожае.

Борис ЛЕВИН

с. Хомутец,  
Миргородского района,  
Полтавской области

# ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА



Фото Н. Гиевашева.

Четыреста лет назад — 1 марта 1564 года — Иван Федоров закончил печатание первой датированной русской типографской книги. Все культурное человечество отмечает этот знаменательный юбилей. Невиданный путь прошла за минувшие четыре века книга в нашей стране: если со времен Ивана Федорова до 1917 года в России были изданы книги 600 тысяч названий, то за 46 лет Советской власти их выпущено 1 800 000. Сегодня люди в самых отдаленных уголках нашей страны, где в прошлом население было почти поголовно неграмотным, не представляют себе жизнь без книги, ибо она, по высказыванию А. И. Герцена, «...не одно прошедшее, она составляет документ, по которому мы, вводимся во владение настоящим, во владение всей суммой истин... Она — программа будущего».

**В** течение веков имя и облик первого русского издателя, глубоко преданного своему делу, были мало кому известны. Только в конце 60-х годов минувшего века в культурных кругах России возникла мысль об увековечении образа первого русского книгопечатника.

Практический шаг был сделан в 1870 году: на заседании Московского археологического общества граф А. С. Уваров внес предложение об открытии подписки на памятник Ивану Федорову. Получив разрешение начать такую подписку, Уваров обратился к самому известному в России ваятелю М. М. Антокольскому. Эскиз, подготовленный скульптором (первоначальный был представлен в виде рабочего, стоящего у типографского станка с засученными рукавами), не удовлетворил инициаторов, так как модель не соответствовала облику древнерусского печатника.

Дело затянулось на многие годы. Подписка шла медленно. Собрать нужную сумму — около 30 тысяч рублей — было не так уж просто. Правительство же не оказывало в этом деле никакой помощи.

В 1901 году был объявлен закрытый конкурс на проект памятника. Избранный Археологическим обще-

ством комиссия для присуждения премий, в которую вошли скульптор М. А. Чижов, живописец В. М. Васнецов, архитектор К. М. Быковский, историк В. О. Ключевский, анатом А. И. Кирпичников и другие деятели культуры, выработала условия конкурса и выпустила их в том же году отдельной книжкой. К брошюре был приложен план и вид избранной для постановки памятника местности. Учитывая, что ни один портрет Ивана Федорова не сохранился, что нет даже подробного описания его внешности, комиссия сопроводила «Условная» статью о русском костюме середины XVI века.

К марту 1902 года было представлено 27 проектов. Откакинулись не только русские художники. В конкурсе приняли участие скульпторы из Болгарии, Сербии, Австрии, Франции (к сожалению, не удалось установить имена иностранных ваятелей и ознакомиться с их проектами).

Лучшим был признан проект под девизом «Плес». Автором модели оказался преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества С. М. Волнухин, которому и поручили сооружение памятника. Бельмоозднее, наблюдение

за его постройкой принял на себя архитектор И. П. Машков. 21 сентября 1907 года состоялась закладка памятника в маленьком сквере у Китайгородской стены, близ того места, где стоял построенный по указу Ивана IV печатный двор.

На открытие памятника 27 сентября 1909 года пригласили лишь избранных. Опасаясь крамольных выступлений, устроители оговаривали в билетах, что приглашенные могут присутствовать без права произносить речи.

Незвизира на запреты царских властей, у памятника собралась огромная толпа. Люди устраивались где кто мог: на балконах, на зубцах крепостной стены и даже на крыше гостиницы «Метрополь». Тысячи людей по достоинству оценили замечательный памятник Ивану Федорову. Корреспондент тогдашней газеты «Голос Москвы» писал в день открытия: «Чувство полного удовлетворения пробежало по многотысячной толпе. Все любят памятник... все его хвалят. Кто-то крикнул: «Вот и он, Волнухин, скульптор! Это он со-здал!» Толпа обступила художника. Раздались аплодисменты. «Браво! Молодчина Волнухин!» Сняв шляпу, скульптор раскисая и скрылся в толпе».

Среди многих венков, возложенных к подножию памятника, выделялся один, с надписью: «Первому мученику русской печати». Надпись эта напоминала присутствующим о трагической участи борцов за передовую русскую печать, из-за долгу которых выпали жестокие гонения и преследования.

А. Р.



тпукс дается человеку только раз в год...» Этими словами начал свою заметку в стенигазету Борис Черноусов, любитель ранних зорь на реке, ночных костров в лесу, осенних грибных походов, энергичный человек, юморист, энтузиаст, увлеченный жизнью. Можно перечислить многие его качества, но лучше сказать коротко: член Обнинского клуба туристов. И этим будет сказано все.

Что такое этот клуб?

О, это! множество увлекательных вещей! Во-первых, это походы с ночами в палатках, утренней гимнастикой на росной траве и кашей на завтрак, чуть горьковатой и пахнущей дымом. Это клубные «среды», когда маленький дом по улице Шацкого полон людей и далеко за полночь звучит гитара Александра Генташа: туристы поют песни. Это серьезная и кропотливая работа, которую проводит маршрутные комиссии: лыжная, водная и пешеходная, — секторы: агитация и пропаганда туризма, кадров, спортизаций. Это ежегодный туристский «огонек» в честь дня рождения клуба (правда, клубу только год, но праздник будет ежегодным, это уж точно). Это, наконец, основатель и общественный директор клуба Евгений Федорович Ворожейкин.

У англичан есть хорошее словечко: «хобби». Если вы коллекционируете марки, или собираете картины, или душой и телом преданы шахматам, — значит, у вас есть «хобби», или, иными словами, страсть. Таких людей часто называют чудаками. Но разве не и мы — люди, преданными идее, сохраняющими до седых волос драгоценное умение удивляться, умеющими извлекать прекрасное из обыденного, — красна жизнь?!

Страсть Ворожейкина — туризм. Вообще-то этот большой, уже начавший сидеть человек с несколькими выпитыми от солнца, но достаточно голубыми и произвольными глазами, с прокаланными, опять же от солнца, лицом и шеей, своеобразно сочетающий во всем облике живость, подтянутость и в то же время неторопливую какую-то зоркость и пристальное внимание ко всему, — этот человек преподаёт математику. Но при любой возможности (а не только раз в год, в отпуск) он: надевает рюкзаки, берет спаль-

ный мешок, палатку и отправляется пешком в Спасское-Аутовиново, или на байдарке по Селигеру, или на плотах по Угре, или на лыжах в Брянские леса...

Он из той породы людей, что не могут не обращаться в свою «веру» других. Однако, когда начинаешь с ним величайший «интервьюерский» разговор, поначалу даже разочаровываешься. Лениво, словно бы нехотя, словно бы о мелком, неважном, говорит он и о своем дитяе — клубе, и о его людях, и о туризме собственно. Но вот будто случайно роняет он интересное, необычное слово, и в ваших глазах вспыхивает крохотный огонек — уже не вежливого, а настоящего любопытства. Он

прямым образом спазывает это с туризмом.

Как-то он сказал мне:

— Один скучный человек спросил меня: ну что дает вам туризм? Ах, рыба породала.

В самом деле, что дает человеку туризм?

Идут люди по земле и прислушиваются к ее запахам, к ее шорохам. Проходят сквозь торжественный чернотельный сосновый лес и через светлые, как колонны в храмах, березы. Видят свисающие прямо с неба солнечные нити либо нити водяные. В общем-то, просто лес, просто солнце и просто дождик. Но является даром необыкновенное чувство, высокое и чистое, чувство удивления и благоговения перед этими простыми вещами. И постигаешь тогда, что нежно, до боли любимы все это: леса и перелески, низины с белым, матовым туманом, озера, потому что это Родина.

Счастливыми могут считать себя те, кому открылось такое. Счастли-

выми считают себя Саша Карпов, Саша Генташ, сам Ворожейкин.

Ворожейкин и его друзья сознательно соединяют «чистый» туризм с узнаванием всяких исторических и литературных сведений. Поэтому выбирают такие точки маршрутов: Мелихово — Чехов, орловские земли — Фет, тульские — Полное, места, связанные с событиями 1812 года, — гордость и слава России.

Непремное качество членов клуба — юмор. И коллективизм. Ведь туристу так часто требуется подлинное мужество, и стойкость, и спокойствие, и тут без юмора и без чувства юмора — а они почти всегда рядом — не обойтись. Вот как описывает Юрий Александров один из зимних походов обнинцев:

«Хибины — отдаленный район для подготовки инструкторов зимнего туризма... Инструктор должен быть готов к любой погоде. Хибины пошлы нам навстречу и выдали на-гора целый ворох различных погод: и мороз, и оттепель, и буря и т. д. Нас сдувало с перевалов, шлифовало физиономии поземкой, донаедал мороз. В общем, мы не скучали... Но, главное, мы были вместе...»

В один из моих приездов в Обнинск я нашла знакомый домик на улице Шацкого слегка обтаившим. Вокруг что-то выносили, что-то пилили, чем-то стучали ре-

## Посвященные В ТУРИЗМ

улавливает этот огонек, и тогда все меняется, как по волшебству. Интересное слово было пробным камнем, рыболовным крючком. Если клюнуло, — значит, можно и нужно открыться. И тут слова его льются совсем иначе: легко, кругло, вкусно, и говорят величественные вещи, и вы уже очарованы, и хочется узнать как можно больше, и надо обязательно пойти с ним в поход, а может быть, и в другой.

Вот так стали питомцами и товарищами Ворожейкина, отчаянными и пожизненными туристами Борис Черноусов, Александр Генташ, Александр Карпов, Николай Колосков, Владимир Лабузов и многие-многие другие молодые ученые и инженеры.

Мы говорили с Ворожейкиным вот о чем. Иногда слышешь фразу: «Не знаем, как убить время». Если задуматься, это страшное дело — убивать время. Минуты, часы и дни человеческой жизни — необратимы. Но сидят по вечерам приятели во дворе, «забывают козла» и каждый ударом костяшки, как тяжелым молотком, убивают в себе любопытство к жизни, тягу к новым людям, новым знаниям, новым впечатлениям — все то, что только и имеет ценность. Как отвлечь людей от тупого, бесцельного времяпрепровождения, пробудить в них любознательность, интерес к настоящей жизни? Ворожейкин самым

бята-школьники. Оказалось, что случился небольшой пожар и клуб обгорел. Но откуда мальчишки? До сих пор я была знакома только со взрослыми туристами.

И вот выяснилось, что это даже не доблесть, а обычное правило каждого обнинского туриста: идешь в поход — возьми с собой двух-трех мальчишек со двора, приобщи и их к туризму. А еще лучше — создай дворовую туристскую команду. Одна из записей в «Дневнике клуба» рассказывает: «Созданы дворовые коллективы по улице Пушкина, Менделеева, Школьной улице, проспекту Ленина». Ребята с охотой отвлекаются от ничегонеделания и озорства, а взамен этого всей душой принимают романтику мужской дружбы, трудностей пути и туристского быта.

Однажды было так. Шестерых

ребят решили исключить из школы: науки их перестали интересовать, дерзости и шалости переросли в настоящее хулиганство. Араки. И вдруг кто-то вспомнил, что ребята видели в туристском клубе. Тогда директор школы написал записку Ворожейкину (Ворожейкин — человек в городе знаменитый).

Три часа длилось заседание совета клуба, на котором шел серьезный мужской разговор. Мальчишкам сказали, что мужество не в бессмысленных проделках, а в «делании» себя, своего характера, в умной, упорной подготовке себя к настоящему делу в жизни. Только таким людям место в клубе.

Мальчишки с тех пор сильно переменились...

Почти всех своих друзей научил Ворожейкин чудесному качеству:

заражать своей «страстью» других. Потому каждый обнинский турист увлекает туризмом все новых и новых людей. Между прочим, в «Дневнике клуба» есть и такая запись: «Вчера чета Черединченко, Володя и Нея, пришли в клуб со своей дочерью Марфой. Девочке 57 дней. Посвятили и ее в наш орден. Будет теперь Марфой-туристкой...» Смех смехом, а какое это благородное и благодарное дело — делиться с людьми радостью, которую познал сам!

...Таких, как Ворожейкин, да теперь, пожалуй, и Саша Карпов, председатель совета клуба, и даже многие школьники, зовут чужаками. Побольше бы таких чудачков на земле!

О. КУЧКИНА

Обнинск.

## ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Они считались настолько невероятными, настолько фантастическими, что стали обозначать словом: «неосуществимые мечтания», «иллюзии». В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля так и растолковано: «Воздушные замки — несбыточные грезы»... А между тем...

☆

В 1888 году английский врач Дж. Денлоп, наблюдая, как утомляется его сынчик от тряски при езде на велосипеде со сплошными резиновыми шинами, попробовал

заменить их резиновыми трубками, наполненными водой. Новые шины оказались эластичными, но очень тяжелыми. Тогда он решил накачать в трубки воздух. Ход велосипеда стал мягок, педали крутились легко, и ребенок теперь весь день не слезал с велосипеда.

О Денлопе пошла слава как об изобретателе пневматических шин. Но в действительности он только повторил изобретение англичанина Роберта Уильяма Томсона, получившего 10 декабря 1845 года патент на резиновые шины, наполненные воздухом.

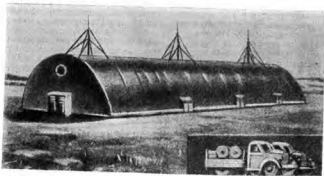
Разрежем камеру велосипедной

шины пополам на две дуги, заделаем герметически концы дуг и, приклеив их к земле, накачаем воздухом. Дуги поднимутся и станут арками. Если дуги покрыть тканью, то при подъеме они образуют закрытое помещение. Ничего принципиально не изменится, если вместо велосипедных камер будут применены специальные арки, сделанные из прочной воздухопроницаемой ткани, перекрывающей пролеты в 10—15—100 и более метров. Такая арка может быть сделана цельной или составной, из нескольких вставленных в общий чехол камер. Таким образом, оказывается, что из воздуха можно строить не только волшебные замки, но и реальные сооружения: ангары, склады, теплицы, павильоны и тому подобное. Такие сооружения называются пневматическими, они достаточно прочны, легки и transportable. Для перевозки, например, зерносклада площадью 1 000 квадратных метров требуется только одна автомашина, а собрать и разорвать его может в течение нескольких часов один человек без подъемных механизмов.

☆

Бескрайняя степь, уходящие за горизонт созревшие хлеба, ветер да небо. Пусто, не видать ни ду-

На фото слева: наддувной зерносклад площадью свыше 1 000 квадратных метров. На грузовике — тот же склад в разобранном виде.



ши. Но вот на дороге появились бульдозер и тщательно разровнял площадку на обочине. Затем пришла автомашина. Водитель вынул из кузова свернутые в бунты арки и в определенном порядке раскатал их на площадке. Концы арок он привинтил к земле металлическими штопорами. Накрыв арки тканью, сначала соединил их между собой, а потом — с компрессором автомашины. Включил компрессор, арки стали наполняться воздухом и подниматься вместе с покрытием. Через несколько минут в безлюдной степи, как в сказке, выросло огромное, красивое сооружение серебристого, оранжевого, голубого или иного заметного издалека цвета. Осталось только настелить в нем пол, установить транспортеры — и зерносклад на тысячи тонн готов. Пройдет несколько часов — и побегут к нему автомашины с урожаем ближних полей.

Поздняя осень. Хлеб уже вывели из глубины степей в железнодорожные и портовые элеваторы, увезли и оборудование. Зерносклад опустел. К нему подошла автомашина. Водитель вынул из арок воздух, и они мягко опустились на землю, с них сняли и свернули в рулоны покрытие, отвинтили штопоры-фундаменты, скатали арки, погрузили все в автомашину и увезли на склад центральной усадьбы совхоза...

Сколько сбережено труда, материалов и денег! А ведь таких временных складов и других подобных сооружений будет строиться по всей стране сотни и тысячи. Первые опыты прошли успешно...

Пневматические сооружения можно строить и без арок, в виде огромного шатра с покрытием и полом из воздухо непроницаемой ткани. Сфера шатра образуется и поддерживается чуть повышенным внутренним давлением воздуха. В собранном виде такое сооружение — например, зерносклад емкостью на 500 тонн — займет не более полутора кубометров, и его легко можно доставить автомашиной или вертолетом на самое отдаленное поле или ток. Подъем и поддержание шатра производится воздушными насосами. И уже создается аппарат, который, используя энергию степного ветра, будет приводить насос в движение.

Пневматические сооружения можно широко использовать при строительстве декораций. Представим себе пустую съемочную

площадку. И вдруг на глазах изумленных актеров появляется красивая 10-метровая ракета серебристого цвета. Ее принес и установил один человек; весит она без основания 3 килограмма, сделана из прорезиненной ткани, надута воздухом и предназначена для съемок фильма «Выше небеса». Раньше на строительство подобной ракеты понадобилось бы много дорогостоящей фанеры, из цеха ракеты везли бы частями на автомашинах и устанавливали бы подъемными механизмами. Теперь, на киностудиях массивные стены и башни замков, дворцовые колонны, ракеты, заводские газгольдеры, каркасы домов и фабричные трубы могут изготавливать с помощью дешевых надувных декораций.

Влажность и повышенная температура воздуха в теплицах и плавательных бассейнах вызывают быстрое загнивание деревянных конструкций, а железобетонные и металлические конструкции стоят очень дорого. Поиски нижеперечисленных показали, что в этих случаях выгоднее всего использовать пневматические арки, заменив стекло прозрачной пластмассовой пленкой. При этом прозрачное покрытие и поддерживающие его арки будут легки, дешевы и просты в устройстве. Кроме того, пленка лучше стекла пропускает ультрафиолетовые и особенно инфракрасные лучи солнечного спектра, наиболее способствующие урожайности растений и здоровью людей. Во всех областях народного хозяйства имеется много объектов, которые выгоднее всего строить из воздуха и пластмассовых пленок. Известно, что чем легче сооружение, тем оно экономичнее. Пневматические сооружения в 30—40 раз легче, а стоимостью в 8—10 раз дешевле обычных помещений такого же объема.

Пройдет немного лет, и в наших парках, на туристских базах, на стадионах, полях совхозов и колхозов, на курортах, побережьях южных морей и снежных просторах Севера появятся красивые, легкие павильоны, летние палатки, жилые помещения, ангары, гаражи, склады, юрты и другие воздушные сооружения необычного вида и расцветок. Возникнут новые формы «воздушной» архитектуры и сказочные архитектурные ансамбли.



Внутренний вид зерносклада с пневматическими арками.

✱

Итак, доказано, что воздух может быть хорошим строительным материалом. Ну, а как обстояло дело с использованием воздуха в производстве? И здесь перед ним открыта широкая дорога.

Посмотрите на современную высоко механизированную мельницу. Она достигает высоты 7—8-этажного дома, оснащена сложными оборудованием. Мукa в ней получается после 15—30-кратного прогона массы зерна через все 8 этажей. И всю эту грохочущую машину может заменить разрабатанная успешно советскими учеными небольшая установка по размолу зерна сжатым воздухом. В камере этой установки стремится друг к другу навстречу со скоростью звука два потока сжатого воздуха, несущего зерна. Встречный удар зерен измельчает их в муку. При этом можно молоть зерно высокой влажности без предварительной его просушки. При столкновении зерен влага буквально «вылетает» из них и уносится стремительным потоком воздуха. Эта установка почти в шесть раз легче валковых станков механических мельниц, а помол зерна производит в четыре-пять раз быстрее.

Воздух, конечно, и сейчас применяется во многих отраслях промышленности. Но возможности его более широкого использования поистине безграничны.

✱

Вот и оказывается, что даже воздушные замки могут стать реальностью.

П. СТУДЕНЦОВ



# ПРОЧИТАНЫ ДРЕВНЕЙШИЕ ПИСЬМЕНА



к концу 4 — началу 3 тысячелетия до нашей эры.

Неужели было найдено древнейшее письмо, предшествовавшее клинописи? Тщательное изучение текстов помогло установить, что их отдельные знаки встречаются на более поздних текстах; мало того, они с течением времени эволюционируют, превращаясь в клинопись!

Постепенно удалось определить значение только нескольких из обнаруженных новых знаков, да и то не всегда правильно. Ученые проникли в тайну отдельных знаков, но значение слов расшифровать не могли. Понимались отдельные места реестров: «столько-то быков и коров», «столько-то хлеба и пива». Понимались, потому что некоторые цифры оказались более «долговечными», чем пиктограммы, и не менялись почти тысячу лет. Но ни один документ полностью прочитан не был. И какую роль играли упомянутые быки и коровы, тоже не было известно, потому что исследователи даже не знали, на каком языке написаны эти документы.

Когда А. А. Вайман, старший научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа, приступил в конце 1961 года к работе над пиктографическими табличками, его интересовала математическая сторона вопроса. Большинство значков, обозначающих цифры, было известно, и оставалось только проследить развитие математических знаний в Двуречье с древнейших времен. Но уже первое знакомство с материалом показало ученому, что все не так просто. Англичанин С. Леягдон, опубликовавший табличку из Ажемдет-Насра, считал, что на ней записана площадь земли, принадлежащей разным лицам, тем более что знак площади был уже известен историкам. Но он был только на третьей строчке документа. А две первых?

Перед вами — лицевая и оборотная стороны таблички с протошумерскими письменами. А на рисунке слева вы видите, как постепенно из рисуночного письма родилась клинопись.

Как историк Древневосточной математики (его книга «Шумеро-вавилонская математика» уже стала библиографической редкостью), А. А. Вайман предположил, что в первых двух строках лицевой стороны таблички обозначены линейные размеры тех полей, площадь которых указана в третьей строке. Действительно, переменный соответствует числу, он получил произведение, совпадающее с площадью. И к тому же оказались расшифрованными два новых знака, обозначающих длину и ширину.

Но это было только начало. Кому принадлежали земли, о которых повествует документ? На каком языке все это написано?

После нескольких месяцев напряженных лингвистических исследований наконец-то было доказано, что язык пиктограмм шумерский. Но первая половина задачи по-прежнему казалась неразрешимой. Все исследователи шумерской пиктографии единодушно считали, что на глиняных табличках вслед за цифрой площади земли обозначены имена ее владельцев, ариде: «10 га—Ивану», «8 га—Николаю» и так далее.

«А может быть, это не имена? — думал А. А. Вайман. — В каких сочетаниях встречаются еще эти знаки? Невероятно, чтобы имена одних и тех же людей повторялись так часто!»

Слова и снова сравнивал ученые рисунки знаков — и вдруг...

Но тут необходимо сделать ма-

**В** февральском номере «Юности» вы могли прочесть заметку о книге Э. Добльхфера «Знаки и чудеса». В одной из глав этой книги автор рассказывает о научных подвигах Г. Гротенфенда и Г. Роулинсона, расшифровавших одну из древнейших систем письменности — клинопись.

К началу XX века, казалось, все в этой области было достаточно хорошо изучено и все основные трудности остались позади. Материалы грандиозных раскопок в долине Тигра и Евфрата — в Уруке, Лагаше, Уре, Ажемдет-Насре, Нишпуре и в других центрах древнего Двуречья — подверждали прочтенные тексты и приносили новые находки.

И вдруг случилось неожиданное. Уже давно различным музеям мира отдельные лица предлагали глиняные таблички, похожие на уже известные, но не с клинописью, а с какими-то странными рисунками. Подделка? Да, так думали многие ассириологи. Однако их ожидало еще большее удивление, когда точно такие же глиняные таблички стали поступать из раскопок древних памятников Месопотамии, относящихся

ленькое отступление в историю. Ключ к пониманию древнеегипетских иероглифов дал ученим в руки Розетский камень, где иероглифическая надпись повторялась греческим текстом. Это была тах называемая «бининга» — один и тот же текст на двух языках.

С другой стороны, Розетский камень был и «бискриптом»: иероглифический и демотический тексты были написаны на одном языке, хотя и разными системами письма. Но где искать подобные «бискрипты»? Если бы они имелись, проблема давно была бы решена...

И вот когда уже не было никаких надежд проникнуть в тайну пиктограмм, А. А. Вайман обратил внимание на так называемые «школьные тексты». Некоторые найденные таблички содержат списки слов и понятий, учебные упражнения, которые должны были копировать ученики, изучая клинопись. Поэтому никто не удивлялся, что в этих текстах стоят знаки «пшута», «зерна», «молока», «шерсти» и т. д.

Каково же было удивление ученого, когда в первой графе древнейших «школьных» табличек он нашел знаки, подобные тем, что были на хозяйственных документах! Только перед ними неизменно повторялся еще один значок...

Что это? Неопределенный артефакт «сип»? Но какое отношение он может иметь к имени собственному? Скорее всего его можно отождествить с позднейшим знаком «ga», который истолковывается как «носящий одежду». «Носящий одежду»... Значит, были люди, не носившие одежды? А. А. Вайман обращается к памятникам шумерского искусства, и оказывается, что одеты были только военачальники, жрецы и должностные лица: носильщики, рабы, пленные — все изображены голыми!

Так вот в чем разгадка! «Носящий одежду шерсти» — не человек, одетый в шерстяную одежду, а «главный над пастухами». А «носящий одежду пшута» — начальник над земледелцами! И «школьные таблички» — не списки слов и понятий, а своеобразный реестр, «та-



А. А. Вайман. Это он расшифровал древнейшие письмены.

бель о рангах», который должен был знать каждый обучавшийся в школе. Примечательно, что во времени эти списки изменялись очень медленно. Правда, некоторые знаки исчезают, заменяются другими, иные трансформируются, превращаясь в клинопись, но веками копируется один и тот же текст, древнейший образец которого был найден в архаических слоях Урука...

В руках ученого оказалась своеобразная «бискрипта», которую только требовалось составить из различных табличек. Теперь А. А. Вайман мог приступить к чтению документа. В нем сообщалось о разделе земли между шестью главными лицами одного из центров древнего Шумера — теперешнего Джемдет-Насра.

В документе, если оперировать современными понятиями, учтено около 1500 гектаров земли. Причем характерно, что «главный жрец» получал в два раза больше, чем остальные пять лиц вместе.

А ведь все эти сведения чрезвычайно важны для понимания экономической и социальной истории Древнего Двуречья!

Возникает вопрос: почему же этот документ не был прочитан, скажем, лет 36 назад, когда он был впервые опубликован?

— Мне кажется, — говорит А. А. Вайман, — это произошло вот почему: никому и в голову не приходило, что в столь древнее время существовали документы, в которых указывалась длина и ширина полей — их площадь. Наиболее ранние документы такого типа на 600—700 лет моложе, чем этот. Кроме того, названные здесь лица позже или не фигурируют как столь важные персоны, или вообще не упоминаются... Существовали трудности и психологического порядка. Для расшифровки рисуночного письма, которое является древнейшим вариантом клинописи, мне ка-

жется, важным было не только учитывать все, что уже известно, но вместе с тем и забыть многое из того, что мы знаем о клинописи. Иначе невозможно было вырваться из плена установившихся положений, которые в ряде случаев просто ложны, если применять их к раннему этапу развития письма, то есть к пиктографии.

...У каждого большого открытия есть свое начало и продолжение. А. А. Вайману удалось прочесть более ста текстов, разобраться в календарных записях, установить различные системы счета в зависимости от объекта измерения.

Пройдет еще немного времени — и книга «Хозяйственные тексты древнего Шумера» выйдет из печати.

Каждая работа А. А. Ваймана — это глубокий, интересный фундаментальный анализ доселе неизвестного.

А. НИКИТИН





Юнна МОРИЦ

ДЛЯ МЛАДШИХ  
БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

## РАЗГОВАРИВАЛИ ВЕЩИ

Рисунок Н. Оффенгендена.



На полке стояли,  
На полке сияли  
Кастрюля-чистюля,  
Кофейник и таз.  
Они об одном  
Говорили, понятно:  
— Ах, это чудесно!  
Ах, это приятно,  
Когда тебя кто-нибудь  
Ставит на газ!  
Как можно без этого  
жить,

Непонятно!

И ложка, и вилка,  
И хлебная пилка  
Сказали:  
— Кастрюля-чистюля  
Не врет.  
И синяя чашка  
На полке опрятной  
Сказала:  
— Ах, это ужасно приятно,  
Когда тебя кто-нибудь  
В руки берет!  
Как можно без этого жить,  
Непонятно!

Веселая книжка  
С портретом жирафа  
Сказала соседкам  
Из книжного шкафа:  
— Обложкой клянусь  
И картинкой клянусь!  
Ах, это чудесно,

Из будущей книжки «Счастливый  
жук».

Ах, это приятно,  
Когда тебя хочется  
Знать наизусть!  
Как можно без этого  
жить,

Непонятно!

И старая вешалка,  
Стоя в прихожей,  
Сказала дивану  
С коричневой кожей:  
— Ах, милый,

мне попросту

Хочется петь!  
Ведь это чудесно,  
Ведь это приятно,  
Когда на тебе  
Захотят повисеть!  
Как можно без этого  
жить,

Непонятно!

В прихожей и в кухне,  
В шкафу и в буфете,  
На стойке, на полке  
Шумели, как дети,  
И книжка, и вилка,  
И хлебная пилка,  
Кастрюля и вешалка,  
Ложка и таз:  
— Ах, это чудесно,  
Ах, это приятно,  
Что лучшие люди  
Нуждаются в нас!  
Как можно без этого

жить,

Непонятно!

## ПОНИ

Пони девочек катает,  
Пони мальчиков катает,  
Пони бегает по кругу  
И в уме круги считает.

А на площадь вышли кони,  
Вышли кони на парад.  
Конь по имени Пират  
Вышел в огненной полове.  
И заржал печальный пони:

— Разве, разве я  
не лошадка?  
Разве мне нельзя  
на площадь?



Разве я вожу детей  
Хуже взрослых лошадей?

Я лететь могу, как птица!  
Я с врагом могу сразиться  
На болоте, на снегу!  
Я могу, могу, могу!

Приходите, генералы,  
В воскресенье в зоопарк.  
Я съедаю очень мало,  
Меньше кошек и собак.  
Я выносливее многих —  
И верблюда и коня.  
Подогните ваши ноги  
И садитесь на меня.

## У КОТЕНКА РАБОТЕНКА

У котенка работенка —  
Ловят серого мышонка,  
Ловят серого чертенка  
Три котенка, три кота.  
А мышонки удирают,  
Он от смеха умирает.

Серым хвостиком играет  
Перед носом у кота,  
Напевает: «Тра-та-та,  
Это что за суета?

Ловят бедного мышонка  
Три котенка, три кота,  
Но никто поймать

не может,  
И никто понять

не может,  
Что такое быстрота!  
Уважаемые кошки,  
Не болят ли ваши ножки?  
Вы не умерли от страха?  
Все же я не черепаха!  
Уважаемые кошки,

Вам лежать бы на окошке,  
Вам бы лучше,

так сказать,  
Суп из блюбочка лизать.  
Уважаемые кошки,  
Вы назойливы, как мошки,  
Вы ленивее моржей  
И противнее ушей!»  
У котенка работенка —  
Он сидит и ждет

мышонка.  
Он решил к приходу  
мыши  
Прыгать дальше всех  
и выше!

Он устроил тренировку,  
Пробегаёт стометровку.  
Приучил себя к порядку —  
Утром делает зарядку.  
Получается прекрасно.  
Мышь пропала —  
это ясно!



# ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

Это очень интересно,  
Почему зеленый лес.  
Это очень интересно,  
Почему среди небес  
Плавают серые тучи.  
Я думаю, что  
разноцветные тучи,  
Наверное, были бы лучше.

Это очень интересно,  
От кого река бежит.  
Это очень интересно,



Всех он меньше, муравей.

Это очень интересно,  
Где ночует стрекоза.  
Это очень интересно,  
Почему молчит коза.  
Это очень интересно,  
В барабан ли бьет гроза.  
Это, это же чудесно,  
Что у всех, у всех детей  
И у всех, у всех людей  
На лице живут глаза!



Что в трамвае дребезжит.  
Почему скворец поет?  
Почему медведь ревет?  
Почему один в берлоге,  
А другой в гнезде живет?

Это очень интересно,  
Кто деревья посадил.  
Кто придумал крокодилу  
Это имя Крокодил?  
Кто назвал слоном Слона?  
Это очень интересно,  
Кто Сазану и Фазану  
Дал такие имена.

Это очень интересно,  
Поглядеть на муравья.  
Это очень интересно,  
Как живет его семья.  
Нелегко живется ей,  
Потому что меньше кошки,  
Меньше мухи, меньше  
мошки,



## ЛЕТО

На лугу стоят овечки,  
Шерсть закручена  
в колечки,  
И играет для овечек  
На свирели человек.  
Это Ванечка, пастух.



У него хороший слух.  
Он и волка ненавидит,  
И ягненка не обидит,  
Не обидит ничем.  
Быть Ванюше скрипачом!

## В ГОСТЯХ

Чисто в домике у Белки,  
Дети вымыли тарелки,  
Мусор вымели во двор,  
Палкой выбили ковер.

Постучался почтальон —  
Благородный

старый Слон,  
Вытер ноги о подстилку:

— Распишитесь  
за «Мурзилку».

Протягивает веточку,  
Показывает клеточку:



— Напишите мелко:  
«Получила Белка».  
Кто еще стучится в двери?  
Это мошки, птицы, звери.  
Выбирайте ножки,  
Дорогие крошки!  
Заходите и садитесь.  
Поросята, не стыдитесь.  
Ведь бывают,  
между прочим,  
Свиньи вежливые очень.  
Все не от питания,  
А от воспитания.

## ЧТО НА ЧТО ПОХОЖЕ

На горе шумит ветла,  
На ветле шумит пчела  
Полосатая, как зебра.

В нашу лодку иногда  
Набирается вода,  
В глубине плавает звезда  
Серебристая, как рыба.

В роще клены и дубы,  
А под ними есть грибы,  
Каждый гриб похож  
на зонтик.



Овцам, уткам и стрекозам:  
— На кого же я похож?

Белый козлик повернулся,  
По-козлячьи улыбнулся  
И сказал по-человечьи:  
— Разве ты не видишь  
сам?

Ты добрее, чем теленок,  
Веселее, чем козленок.  
Ты совсем еще ребенок,  
Но похож на человека!

Вышел месяц молодой,  
Небо кажется водой,  
Туча кажется волной,  
Месяц — лодкой  
деревянной.

До чего же все похоже!  
Значит, я, наверно, тоже  
На кого-нибудь похож?

Я пошел и крикнул козам,





Ю. МАШИН

Председатель Центрального  
совета Союза спортивных  
обществ и организаций СССР



# ВПЕРЕДИ- ТОКИО

Когда этот номер журнала ляжет перед тобой на стол, дорогой читатель, IX зимние Олимпийские игры станут уже достоянием истории. Выступление каждого спортсмена в Инсбруке будут внимательно изучать и анализировать тренеры и специалисты. Пройдут годы. Исправив все недочеты и ошибки, спортсмены мира добьются новых успехов, покажут более высокие результаты. Но навсегда в памяти любителей спорта останется триумф советской команды в феврале 1964 года. Впервые за всю сорокалетнюю историю зимних Олимпийских игр спортсмены одной страны завоевали 25 из 63 возможных медалей. Наши конькобежцы, лыжники, хоккеисты увезли домой 11 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей, набрав в неофициальном командном зачете 162 очка. Исключительный рекорд, впервые за всю историю олимпиад, установила молодая конькобежка Лидия Скобликова — она одна завоевала четыре золотых приза. И самой лучшей наградой для нее и для всех советских спортсменов стало сердечное письмо Н. С. Хрущева, высоко оценившего достижения наших спортсменов и сообщившего о приеме комсомолки Л. Скобликовой в члены партии.

**П**ять переплетенных колец разного цвета — эмблема современных Олимпийских игр. Кольца символизируют Единство и Дружбу спортсменов пяти обитаемых континентов земного шара.

Пять континентов... Однако до 1956 года Олимпийские игры проводились только в Европе и Америке. Лишь на XVI играх олимпийский факел встухнул на далеком австралийском континенте. А в этом году форум спортсменов мира впервые будет проходить в Азии. Долгий и сложный путь проделает огонь, зажженный на земле легендарной Греции, прежде чем попадет в Японию — страну XVIII олимпиады. Здесь,

в Токио, с 10 по 24 октября будут проходить крупнейшие спортивные соревнования современности.

В нынешней сложной политической ситуации правящие круги Японии многого ждут от предстоящей Олимпиады в Токио и, разумеется, очень тщательно к ней готовятся.

По их мнению, официальная доктрина о том, что, «несмотря на древность происхождения, Япония имеет энергию юности и жизненную силу, стремящиеся искать постоянно новое», должна найти убедительное подтверждение на Олимпийских играх. Успех в проведении игр и достижения японских спортсменов

должны еще раз доказать право Японии называться лидером Азии — таковы планы руководителей внешней и внутренней политики Страны Восходящего Солнца. Именно поэтому для японцев крайне важно завоевать возможно больше призовых мест.

Опыта участия в Олимпийских играх у японских спортивных организаций накоплено достаточно. А упорства и настойчивости в подготовке к предстоящим состязаниям им тоже не занимать. В начале 1960 года, когда спортивный мир готовился к Олимпиадам в Скво Вэлан и Риме, в Токио уже начал функционировать «Центр подготовки Олимпийских чемпионов 1964 года».

Японские специалисты много заимствовали в советской системе спортивных тренировок. Не случайно у руководитель «Центра» Кенкичи Осима заявил: «Мы сторонники советской плановой системы подготовки спортсменов».

Следует заметить, что опыт тренировок широко изучался японцами и в Америке, и в Новой Зеландии, и в Эфиопии, и во многих других странах.

В 1960 году «Центр» отобрал 1 600 молодых спортсменов. Кандидаты в олимпийские борцы Японии начали подготовку по следующему плану:

1960—1961 годы — заложить основы физической подготовленности спортсменов;

1962—1963 годы — завершить программу физической подготовки и освоения теории и методики спортивной тренировки;

1964 год — окончательно отшлифовать мастерство олимпийцев.

К третьему этапу подошло около тысячи спортсменов. И когда Олимпийский комитет Японии запросил прогнозы своих спортивных федераций, то ответы были весьма обнадеживающие: 30 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Национальные федерации предлагают завоевать две золотые медали в легкой атлетике (марафонский бег и тройной прыжок), четыре в мужском плавании (1 500 м вольным стилем, 200 м брассом, эстафеты 4 × 200 м вольным стилем и 4 × 100 м комбинированным), восемь в мужской гимнастике, три в вольной борьбе (легчайший, полусредний и легкий вес), две в классической борьбе (легчайший и полусредний вес), четыре в дзю-до (легкий, средний и тяжелый вес — абсолютное первенство), две в боксе (наилегчайший и легкий вес), одну в тяжелой атлетике (полусредний вес), две в волейболе (мужчины и женщины), две в стрельбе (пистолет и произвольная винтовка)...

Естественно, что перед хозяевами Олимпиады стоят большие задачи и организационного характера. Как свидетельствует пресса, специалисты-руководители в Токио делают все необходимое для успешной подготовки города к Олимпийским играм. В ходе этой подготовки решаются довольно острые вопросы: например, выселение американских военнослужащих из района «Вашингтонских холмов», где размещалась олимпийская деревня.

13 лет американский военный персонал занимал здесь территорию в 90 га. В распоряжение олимпийцев поступило несколько пятиэтажных зданий и 233 дома различной величины. Здесь имеются театр, клуб, спортивный зал, бассейн, теннисные корты. Организационный комитет предполагает построить специальный дом для госпиталя, несколько дополнительных домов, оборудовать тренировочные места, построить баню и ряд подсобных помещений. На территории олимпийской деревни предполагается разместить до 8 тысяч человек.

Огромную работу предстоит провести по строительству и реконструкции спортивных баз. Сделать все необходимое далеко не просто. Вот, что пишет орга-

низационный комитет «Юманите»: «Огромный рост затрат по подготовке к Олимпийским играм может привести к инфляции. Миллиард иен — вот то что обойдется подготовка к играм: 14 миллиардов франков — это, по существу,  $\frac{1}{3}$  всего бюджета страны. Видный комментатор экономист Шигенану Оки перечисляет многочисленные виды работ, которые ведутся для подготовки к играм: дорожные работы, надземное метро, линия однопортового пути для скоростной доставки пассажиров из аэропорта в центр столицы, технические усовершенствования для радио и телевидения, строительство железнодорожной линии Токио — Осака, которая позволит пассажирам затрачивать всего лишь полтора часа вместо теперешних четырех, и т. д. Японские промышленники пропагандируют большой энтузиазм в реализации этих мероприятий, так как видят в них колоссальную рекламу промышленности Японии».

Часть затраченных средств будет возмещена продажей билетов. На олимпийские состязания, как сообщают японские газеты, будет продано 1 916 331 билет. В это число не входят билеты на церемонии открытия и закрытия игр. Из этого числа 1 716 331 билет будет продан японцам, а 180 тыс. — иностранным туристам.

Примерно половина билетов, предназначенных для японцев, поступит в свободную продажу, а другая половина будет распределена между различными спортивными и студенческими организациями Японии.

Стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр будет равна от 5 тыс. до 8 тыс. иен (примерно около 20 рублей). Билеты на соревнования будут стоить до 4 тыс. иен.

Организационные вопросы относятся не только к финансированию игр, размещению и транспортировке спортсменов и зрителей. Рядом с серьезным существует смешное. Как сообщает газета «Экхи», в Японии создан Комитет по проведению международного олимпийского «конкурса красоты», на котором будет избрана «Королева игр». «Представительницы 45 стран примут участие в этом соревновании... Празднества будут завершены демонстрацией международных мод, за которой последует парад более легко одетых представительниц и водный праздник в Эношима, центре олимпийских соревнований по парусному спорту, в 60 километрах от Токио».

С каким же багажом идет в Токио мировой спорт, кто претендует на призовые места?

Постараемся очень коротко ответить на этот вопрос. Это нелегко сделать. В играх примет участие более 6 тысяч человек, а кандидатов в олимпийские команды примерно в 5 раз больше. Попробуйте усесть за 30 тысячами спортсменами!

Впрочем, все сходится в одном: результаты будут очень высокими.

Достаточно вспомнить, как за последние годы резко выросли спортивные достижения. Так, если в Мельбурне Пауль Андерсон — олимпийский чемпион в тяжелом весе — показал результат 500 кг, то уже на Олимпийских играх в Риме Юрия Власов достиг 537,5 кг, а чтобы завоевать первое место в Токио, надо показать как минимум 560 кг. Рекорд Юрия Власова, показанный им на чемпионате мира 1963 года, равен 557,5 кг.

Если Эмиль Затопек на Олимпийских играх в Хельсинки был вне конкуренции в беге на длинные дистанции, то его результаты в настоящее время не позволяли бы ему занять даже 10-го места на олимпиаде.

Еще в Мельбурне с результатом 2 м 12 см было завоевано первое место в прыжках в высоту, а сейчас

мировой рекорд Валерия Брумеля равен 2 м 28 см. В плавании большим стилем на самой короткой дистанции — 100 м — лучший результат в 1960 году был 55, 2 сек., а в сезоне 1963 года он равен 54,0. На самой длинной дистанции — 1500 метров — результат 1960 года равен 17 мин. 19,6 сек., а в этом сезоне доведен до 17,05,6. Среднечасовая скорость победителя соревнований в шоссейных гонках 1956 года была 33 км, а в 1963 году она возросла до 46,4 км в час.

Давно известно, что прогнозы в спорте опаснее, чем предсказания погоды: изменений и колебаний не меньше, а ошибки спортивных специалистов и журналистов читатели помнят гораздо дольше. Но если от детальных прогнозов перейти к тому, чтобы проследить основные тенденции в предстоящей битве за медали XVIII олимпиады, то можно говорить с большей достоверностью.

В Токио спортсменам 100 стран предостоят разыграть между собой 499 медалей (по 163 золотых и серебряных и 173 бронзовых). Коллективы должны разделить 3520 очков.

И в официальном статуте награждения и в неофициальной системе подсчета очков достаточно несообразностей. Многие болельщики футбола, к примеру, не могут примириться с тем, что команда — победительница олимпийского турнира — получает одну золотую медаль, а один легкоатлет или гимнаст украшает себя тремя или четырьмя. Все команды баскетболистов в жарких схватках «разыгрывают» 22 очка, а легкоатлеты в 36 раз больше!

Да, несправедливостей хватает! Но коль скоро система действует, ее необходимо придерживаться.

Если исходить в оценке из итогов первенства мира, Европы и крупнейших международных состязаний 1962—1963 годов, можно сказать следующее: наибольшее количество медалей и наибольшая сумма очков, вероятно, будет завоевана командой Советского Союза.

Второе место, видимо, займет американская делегация, которой вряд ли удастся заметно сократить существующий ныне разрыв в очках. Конечно, борьба будет упорной. Однако мы можем в большинстве видов олимпийской программы, кроме плавания и прыжков в воду, успешно соревноваться с американцами и превзойти их.

Американцы сами утверждают, что спор на Олимпиаде будет вновь решен в пользу СССР. Известно, что после поражения на Римской Олимпиаде в США разрабатывались детальные меры по подъему спорта. Такой дальновидный человек, как покойный президент Кеннеди, прямо связывал выступления американцев на Олимпиаде с проблемой недостаточной физической подготовленности нации. Конечно, специальными мерами можно обеспечить успех отдельным спортсменам и командам, но прочный успех может быть достигнут лишь на базе массового спорта. А массовый спорт — завоевание социализма.

Интересно, что эта закономерность ныне призвается и твердолобыми апологетами империалистического общества. Некоторое время назад спортивная печать ФРГ, подводя итоги легкоатлетического сезона 1963 года, писала: «С большим удовольствием мы можем констатировать, что ФРГ наконец-то набрала в общей сложности свыше 200 тыс. очков, а именно 200 198. Но ГДР имеет несколько больше, а именно 201 386 очков. Многие зададут вопрос, как стало возможным, что ГДР, население которой почти на  $\frac{2}{3}$  меньше, добилась таких результатов. Ответ очень прост: государство, в котором у руководителей стоят коммунисты, имеет в спорте совершенно иную структуру, чем западные государства...» Далее следует еще одно интересное признание: «На наш взгляд, причина наших недостатков заключается не в руководстве немецкой легкой атлетикой, хотя в последнее время оно подвергалось значительным нападкам, а в структуре жизни в ФРГ. Союз легкой атлетики делает все, что в его силах, но если нет хорошего материала, то и самые лучшие тренеры и учебные сборы не помогут...»

За третье место ожесточенная борьба будет вестись между командой Японии и объединенной командой двух Германии. Спортсмены германской команды имеют сейчас больше успехов и соответственно больше шансов на получение медалей и очков (примерно 320—330 очков против 240—250 у японцев).

Конечно, за время, оставшееся до начала игр, японские спортсмены могут сделать многое. Лидеры мирового спорта уже ощущают их жаркое дыхание. Но просвет еще значителен.

Можно уже сейчас сказать, что эти четыре команды завоевуют более половины олимпийских очков и примерно 260—270 медалей.

В группу лидеров, видимо, войдут также команды Польши, Австралии, Венгрии, Италии, Франции, Англии, Чехословакии, Швеции, Румынии. Невысокие шансы у спортсменов Югославии и Болгарии.

Было бы ошибкой считать, что эти 15 стран распределят между собой весь запас олимпийских очков и медалей. Конечно, они завоевуют в Японии большую часть первых мест, но это отнюдь не исключает возможности успешных выступлений атлетов других стран, которые поднимутся на олимпийский пьедестал почета. Здесь прогнозы весьма обширны, но ошибку может допустить даже самое совершенное кибернетическое устройство. Кто, например, предсказал в 1960 году, что Эфиопия войдет в число стран — обладательниц золотых олимпийских медалей? А побед, подобных триумфу стайера Биклэма Абебе, в Японии будет немало: успех молодых государств на олимпийской дистанции — один из признаков их общего прогресса. Впрочем, надежнее всего дожидаться тех октябрьских дней 1964 года, когда специальные вычислительные машины подведут итоги, а голоса дикторов и экраны телевизоров расскажут нам о ходе борьбы.



Галка ГАЛКИНА

# МОИ МЫСЛИ НАКАНУНЕ 8 МАРТА

**М**не не спится...  
Я лежу, смотрю в потолок,  
и в голову лезут всякие  
мысли...

Завтра Восьмое марта... Меж-  
дународный женский день...

Значит, и мой праздник!  
Надо выспаться... Надо набрать-  
ся сил.

Почему же мне не спится?  
Если не высплюсь, встану с раз-  
битой головой...

Можно было бы встать попоз-  
же, но не дадут.

В семь часов позвонит Витька  
Витькин. Это наш профорг.

Он звонит каждый год. В семь  
утра. Самое время для проявле-  
ния чуткости.

— Алло! — скажет он. — Кто у  
телефона?

— Галя! — отвечу я.

— Фамилия? — спросит он.

— Галкина! — отвечу я.

Дальше наступит минутная пау-  
за. Это он ищет меня в списках.  
У него всегда составлены специ-  
альные списки для поздравляе-  
мых.

Потом он зачитает текст по-  
здравления. Текст я знаю на-  
изусть, ибо он обсуждался со все-  
ми заранее...



«Дорогой товарищ (фамилия, и., о.), поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем в вашем лице всем нашим слабым женщинам (девушкам) быть в первых рядах передовиков и смело шагать в ногу с нашими замечательными мужчинами (юношами)!»

— Спасибо, Витя! — скажу я.  
— Не стоить! — ответит он. — Ты рада?

— Очень!  
— Тогда я тебя вычеркиваю...  
— Ну вычеркивай! — скажу я. Он вычеркивает меня из списка и вешает трубку...

После этого звонка надо будет быстро встать, одеться и привести себя и комнату в порядок.

Сейчас начнется приход гостей и новые поздравления.

Первым придет Генка Генкин. Он принесет веточку мимозы.

Он поздравит меня. Он хочет доставить мне приятное и выпить со мной чашку чаю.

Я буду тронута. Я побегу на кухню, поставлю чайник, приготовлю посуду.

Когда я вернусь с чаем, то увижу, что вместе с Генкой сидят Саня Сашин и Саша Санин. Они очень внимательные ребята. Они тоже пришли меня поздравить и оказать внимание: выпить со мною чашку чаю. Можно с чем-нибудь... Например, с котлетами.

Я буду тронута. Я поблагодарю их и предложу заменить чай на полный завтрак... Котлеты с картофелем и чего-нибудь еще...

Они с трудом согласятся... Милые, добрые ребята... Ради меня они согласны есть котлеты с картофелем и даже еще яичницу.

Я буду тронута. Я быстренько сбегаю в магазин, куплю продукты: мясо, яички, хлеб. Улыбаясь от счастья, я буду нести полную авоську. Прокормить будут смотреть на меня добрыми глазами. Сегодня мой день!

Дома я скорехонько почищу картошку, мгновенно проверну мясо через мясорубку.

Будет уже что-нибудь около двух часов. Комната будет полна гостей. Все поздравляют. Все не хотят завтракать, чтобы лишний раз меня не утруждать.

Но, будучи людьми чуткими, все соглашаются пробождать.

Тронутая, я бегу снова в магазин.

Возвращаясь, готовлю обед, накрываю на стол.

Все весело усаживаются. Я бегу на кухню. Возвращаясь с супом.

Оказывается, все уже выпили за мое здоровье.

Я тронута. Бегу на кухню. Возвращаясь.

Радостная весть: оказывается, за мое счастье уже тоже выпили. Я смущена. Я прошу не уделять мне столько внимания.

С трудом все соглашаются. Пока я приношу компот, за меня не пьют. Зато меня ждет сюрприз. На стене кто-то мелом крупно написал: «Да здравствует Женский день!»

Тронутая, я чуть не плачу. Я бегу на кухню, мою посуду, быстренько готовлю кофе.

В комнате гремит радиола. Чуткие ребята завели ее на полную мощность, чтобы мне на кухне тоже было слышно.

Я возвращаюсь в комнату. Новый сюрприз! Нет мебели...

Ее всю вынесли на лестничную площадку.

Сегодня Женский день, и все хотят танцевать со мной.

Возникает спор, кому первому меня пригласить.

Спор с трудом удается урегулировать. Никто меня не приглашает. Я танцую одна. Для всех. Все сидят и смотрят на меня. Какие внимательные ребята! Какое мне оказывается внимание! Тронутая, я плачу!

Часы показывают одиннадцать. Никто и не думает уходить. Все хотят, чтобы я растянула удовольствие. Разойдутся примерно в час ночи.

Я быстренько перетаскую мебель в комнату, помою пол, вытру стены. Потом лягу спать. Усну не смогу.

Будут болеть руки и спина. Это от счастья. У меня всегда так. Однако почему я не сплю сейчас!

Ведь сегодня еще не Восьмое марта... Можно отдохнуть...

А вдруг завтра все будет не так?!

Для того, чтобы завтра не было так, нужно, чтобы сегодня ребята думали о том, как доставить приятное нам, женщинам...

Но они спят... Им не лезут в голову мысли. Какие они счастливые!!!

Мысли Галки Галкиной записал Г. ГОРИН.



## В здоровом теле

**И**х было четверо в одном дворе. Петька самый слабый.

Для поправки он пил по утрам рыбий жир.

Первым ушел Колька Смирнов. Ушел на Север и вернулся через три года с орденом и с серебрянкой на висках.

А Петька в это время занялся гантелями гимнастикой.

Вторым ушел Витя Степанов. Ушел на стройку и вернулся через пять лет проездом на новом месте.

А Петька перешел с трехкилограммовых гантелей на четыре килограмма.

Третьим ушел Сергей. Ушел и не вернулся. Летчики-испытатели возвращаются не всегда.

А Петька начал обливаться холодной водой.

Потом он приучился спать на полу, купаться в проруби, по полчаса лежать голым на снегу, есть сырое мясо и никогда не волноваться. Но когда другим понатощало его здоровье, Петька достал справку о нетрудоспособности. Ему было некогда: в это время он развивал брюшной пресс.

Дальнейший его путь ясен и прямолинейен: он будет гнуть подковы, ударом кулака валить лошадей, грызть зубами железо, перерезывать гвозди и с несокрушимым здоровьем выйдет на пенсию.

Петька доживет до ста двадцати лет, и на его могиле напишут: «Здесь лежит человек, который с детства готовил себя к преодолению трудностей. В жизни умел от них только увиливать».

Ф. КАМОВ

Рисунки И. Бронникова.



# «СКЛЕРОЗ»

(Неотправленное письмо)



«Дорогая моя, забывающая, единственная... (никак не могу вспомнить твое имя)!

Прости ради бога, что уехал я тогда, не попрощавшись, забрав все свои вещи и многое из того, что принадлежало тебе. В тот самый роковой день, когда я тебя покинул, что-то странное началось с моей памятью и продолжается до сих пор. Я все начал забывать... В то утро я забыл, что женат, забыл с тобой проститься, а также забыл, какие вещи твои, а какие мои, и поэтому, на всякий случай, забрал все... Кажется, у нас был ребенок (не то мальчик, не то девочка, точно не припомню)... Ребенка я тоже в тот день позабыл взять, и он остался у тебя.

Когда я приехал сюда, я хотел было отпрятить деньги на воспитание нашей крошки (по-моему, у нас был один ребенок...), но проклятая память!.. Я пришел на почту, но вспомнил, что забыл дома деньги... Взял деньги, вернулся на почту, но забыл, зачем пришел, окончательно забыл твой адрес...

Мне очень стыдно, но я не могу припомнить, отчего...

Вот уже шесть лет я хожу лечить свою память к этим людям в белых халатах (кажется, они называются врачами). Когда я окончательно все вспомню, я опять вернусь к тебе, и все будет по-старому... Но врачи го-

ворят, что нет никакой надежды на выздоровление... Живу я сейчас в казирте моей очань старой знакомой... Моя старая знакомая тоже страдала отсутствием памяти и не помнила, сколько ей лет... Она все время хотела, чтобы я с ней расписался, но я никак не мог запомнить этого слова...

Перед самой ее кончиной я наконец вспомнил, что не расписался, но, конечно, все перепутал, все забыл, и вместо того, чтобы расписаться, я... прописался... Вот какое невезение!..

Теперь я живу одинокой жизнью в двух комнатах... Один — в восьми стенах... Живу и плачу от горя... Впрочем, не помню, может быть, и не от горя...

Обнимаю тебя, моя незабываемая!.. Твой бывший муж... (не помню даже, как меня зовут).

Р. С. Чуть не забыл! Ты помнишь второй вечер нашего знакомства? Я тогда купил тебе платочек за 2 рубля 32 копейки (в старых деньгах). Это было в магазинчике, в котором вторая дверь со скрипом. Помнишь? Там еще работала толстая продавщица. Ей тогда было 34 года, но она говорила, что ей 28. Помнишь? У нее еще родинка была на правой щеке...

Так вот, моя единственная, верни мне, пожалуйста, эти 2 рубля 32 копейки!.. Это был платочек с розочками... а может быть, и с васильками... Все забываю... Боже! Что ж это происходит с моей памятью!..»

Рисунок С. Спасского.



# ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ



Все в учреждении давно считали, что Первый дружит со Вторым. Но это была довольно странная дружба: Второй всегда дрался со своим другом первым. Второй всегда первым старался оказать Первому какую-либо услугу: когда Первый наделал в своей работе ошибок, то Второй первым выступил на собрании в его защиту.

Второй знал дни рождения и Первого и его второй жены и всегда старался поздравить их первым. И более того: Второй был настоящим другом. Хотя Первый никогда не приглашал его к себе, он приглашал Первого на все торжества.

Когда Второй справлял свой день рождения, его первый тост был «за Первого». И Первому наливали первому, но, несмотря на это, Первый всегда уходил первым.

Второй был у Первого явно на втором плане. Но Второй был преданным другом. Он считал, что пальма первенства в их дружбе принадлежит Первому. В разговоре первым плечами: в первую очередь разговаривал на Первого и говорил, что тот действительно первый!

Но однажды все неожиданно переменялось. В учреждении недоуменно пожимали плечами: впервые Первый первым поздравился со Вторым и пригласил его на день рождения! Потом в разговоре с госслужащими Первый сказал о Втором, что он достоин быть первым.

А еще через день все выяснилось: Первый, который был первым в этом учреждении, принаказом главка переводился на должность Второго, а Второй занял место Первого.

Итак, на это место надо было назначить... третьего.

Ю. РИХТЕР

Рисунок В. Дрогалин.

|                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| К годовщине со дня встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства     | 2 |
| Кайсын КУЛИЕВ. Мои предки. «Кто может выгоде в угоду...»                                               |   |
| «Ты помнишь лето? Лес, трава кругом...» «Чужой бедоужа не все умеют...» (Перевод с балкарского). Стихи | 4 |
| Нина КОРОЛЕВА. Вступление в Сибирь. Художникам города Тобольска. «Елочку закидываю...». Стихи          | 5 |
| Юрий ПИЛЯР. Люди остаются людьми. Роман. Книга вторая                                                  | 6 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Рассказы молодых                                                              |    |
| Ирина МАРЧЕНКО. Весело-грустно                                                | 30 |
| Лариса ВАСИЛЬЕВА. «Я открыла весну и плачущую осень...»                       |    |
| Ожидание. Танки. Стихи                                                        | 34 |
| Екатерина СУВОРИНА. Ксана Муратова — фронтовая артистка. Повесть. (Окончание) | 35 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| К 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко |    |
| Иван ДРАЧ. Сын вольности                   | 65 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Поговорим о прочитанном                           |    |
| Станислав РАССАДИН. Юноше, обдумывающему житье... | 68 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Леонид МАРТЫНОВ. Все зависит от людей Природа. На берегу. Богомазы. Омут. Осколки. Чары. Стихи | 74 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|            |       |
|------------|-------|
| Среди книг | 76—77 |
|------------|-------|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| С. ЕЗЕРСКИЙ. У вечерних костров. Очерк | 78 |
|----------------------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Невыдуманные рассказы                                        |    |
| И. ЗАЙЦЕВ. Вдали от больших дорог                            | 84 |
| Евгений БОГАТ. Автор «скучных» писем (Из записок журналиста) | 89 |

|                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Заметки и корреспонденции                                                                                                                                                                                   |        |
| * Борис ЛЕВИН. Доброе поле. * А. Р. История памятника (К 400-летию русского книгопечатания). * О. КУЧКИНА. Посвященные в туристы. * П. СТУДЕНЦОВ. Воздушные замки. * А. НИКИТИН. Прочитанные древние письма | 94—101 |

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Для младших братьев и сестер                                                                                               |     |
| Юнна МОРИЦ. Разговаривали вещи. Пони. У котенка — работенка. Это очень интересно! Лето. В гостях. Что на что похоже. Стихи | 102 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Спорт                    |     |
| Ю. МАШИН. Вперед — Токио | 106 |

|                                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| «Пылесос» (Страницы сатиры и юмора)                                                                                                                  |         |
| * Галка ГАЛКИНА. Мои мысли накануне 8 Марта (записал Г. Горин). * Ф. КАМОВ. В здоровом теле. * Арк. АРКАНОВ «Склероз». * Ю. РИХТЕР. Первый и Второй. | 109—112 |

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунок Г. ПОНДОПУЛО.                                      |  |
| На 2-й странице обложки — линогравюра Н. ГАЕВА «Любовь» (из серии «Целина», Казахская ССР). |  |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Художественный редактор | Технический редактор |
| Ю. Циплевский.          | Л. Зябкина.          |

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. |  |
| Рукописи не возвращаются.                                            |  |

|                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| А 00636. Подп. и печ. 2911—1984 г. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № 530. Заказ № 161. Формат бумаги 84х108 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> . Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Орден Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, ул. «Правды», 24. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|





X Всесоюзная выставка дипломных работ  
студентов художественных вузов.

О. ГАДАЛОВ.

Геологн.

Ж. МОРОЗ.

Агроном.





Цена 40 коп.

2/6

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,  
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,  
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс  
71120